

Андре Моруа

ЖИЗНЬ
ДИЗРАЭЛИ





Исаак
и Сара Дизрэли.
1828 год.
*С портретов
Дэниэла Маклиза*



Дизрэли.
1834 год.
*С рисунка
графа д'Орсея*



Генриетта Сайкс.
1837 год.
С портрета
Дэниэла Маклиза



Мэри Энн —
жена Дизраэли.
С портрета
Дж. Мидлтона



Герцог Веллингтон.
С картины Т. Лоуренса



Джордж Каннинг.
С портрета Т. Лоуренса

Чарлз Грей.
С гравюры
Хеслохля

Джеймс Клей.
С портрета А. Уолсли



Дэниэл О'Коннел.
С гравюры Дж. Льюиса

Сэр Роберт Пиль.
С портрета Т. Лоуренса

Виконт Пальмерстон.
С портрета Портриджа





Принц Альберт.
С портрета Винтергальтера



Королева Виктория.
С портрета Винтергальтера



Карикатуры на Дизраэли.
«Панч», 28 марта 1868 года,
28 февраля 1874 года,
11 марта 1876 года



Карикатуры на Дизраэли.
«Панч», 11 декабря 1877 года,
10 августа 1878 года,
11 декабря 1875 года





Джордж Маннерс.
С портрета
сэра Фрэнсиса Гранта

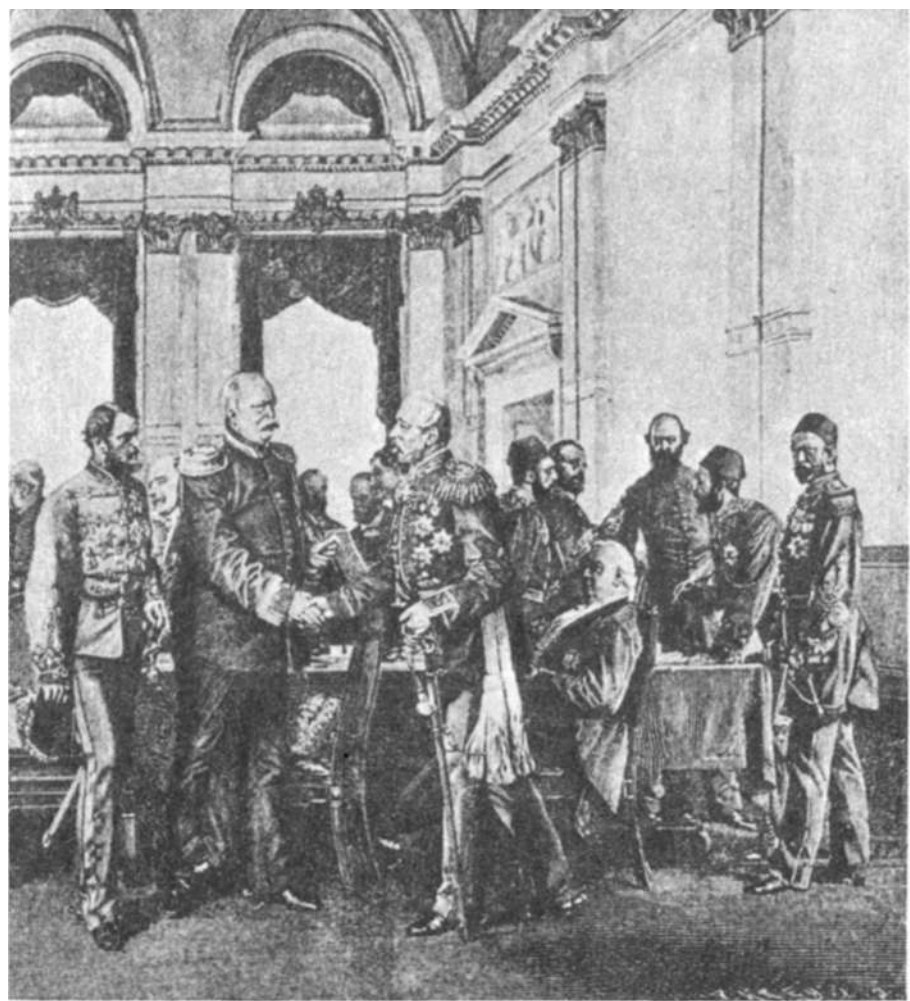


Граф Дерби.
С портрета
сэра Фрэнсиса Гранта





Берлинский конгресс. 1878 год.
С современной гравюры





Князь А. М. Горчаков.
С фотографии

Князь Отто фон Бисмарк.
С фотографии

Уильям Гладстон.
1884 год.
С фотографии





Дизраэли, граф Биконсфилд.
С фотографии



Хэггенден — поместье Дизраэли

Андре Моруа

ЖИЗНЬ ДИЗРАЭЛИ



Роман

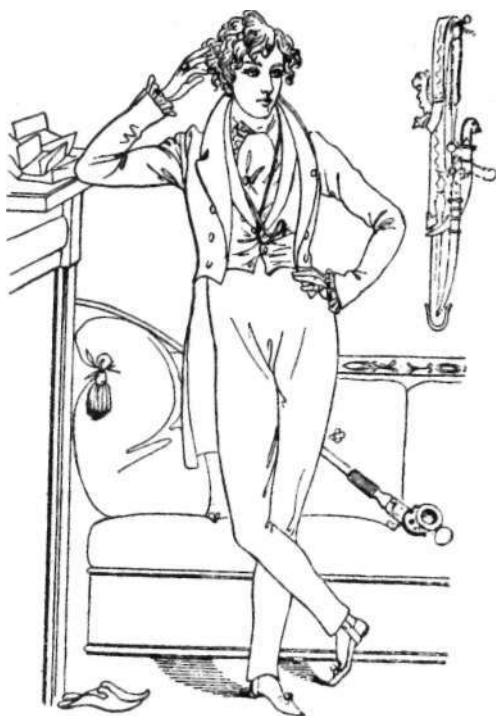
Москва
Издательство
политической
литературы
1991

ББК 84.4Фр
М 80

М $\frac{0503010000-104}{079(02)-91}$

ISBN 5—250—01474—7

© 1991 Комментарии В. Н. Поповой,
оформление Б. Г. Попова.



*Жизнь слишком коротка,
чтобы быть незначительной.*

Дизраэли

I

ДВА ПОКОЛЕНИЯ

В 1290 году, в день всех святых, король Эдуард I изгнал из Англии евреев, до тех пор живших здесь свободно. То было время крестовых походов; во всех селах монахи призывали к борьбе с неверными; народные массы требовали внутренних крестовых походов. Выселялось приблизительно шестнадцать тысяч евреев. Король хотел, чтобы они уехали с миром, не терпя никаких насилий. Почти так и было. Только один судовладелец, высадив своих пассажиров среди моря на отмели, заявил им: «Зовите Моисея» и поднял якорь. Несколько дюжин евреев утонуло, но судовладелец был повешен.

Изгнанники, которым посчастливилось спастись от моря и моряков, нашли приют во Франции. Впрочем, не надолго. В 1306 году король Филипп Красивый, испытывая нужду в деньгах, решил конфисковать их имущество, а самих их вытеснить в Испанию. Два века прожили они здесь в мире. Потом запылали костры инквизиции, и казалось, это несчастное племя, которому некуда дальше эмигрировать, наконец исчезнет с лица земли. Но гонения были не везде. В то время как Испания замкнулась для евреев, Венецианская республика, Амстердамская, а также Франция дали им приют. В самой Англии реформа, повлекшая за собой знакомство с Библией, вызвала к ним почти сочувственное любопытство. Пуритане охотно принимали еврейские имена и разыскивали исчезнувшие колена израильские. В 1649 году петиция о возвращении народа израилева была представлена лордом Ферфаксом. Кромвель отнесся к ней благосклонно; Карл II скрепил решение. Таким образом к концу XVII века восстановилась в Лондоне немногочисленная колония португальских и испанских евреев. Многие из этих семей, именно Вилла-Реаль, Медина, Лара, получили во времена сарацинского владычества дворянство. Они с презрением относи-

лись к польским и литовским евреям, которых казацкие погромы заставляли тогда массами двигаться на Запад, и отказывались даже допускать в свои синагоги этих неотесанных людей.

В 1748 году в лондонском еврейском обществе появился молодой итальянец Бенджамин Израэли, или д'Израэли. Будучи уроженцем Ченто в Ферраре, он искал сначала счастья в Венеции, а затем решил, что дело пойдет лучше в более молодой и более богатой стране. Первые шаги оказались для него очень трудными. Он спекулировал, терял, казалось, совсем разорился. Потом, женившись вторым браком на женщине из рода Вилла-Реаль, принесшей ему приличное приданое, он вступил в фондовую биржу и быстро нажил довольно крупное состояние.

Это был веселый и добродушный человек. В одном из лондонских кварталов он разбил сад на итальянский манер; гостям за его столом подавали макароны, а после обеда он брался за мандолину и пел канцонетту. Легкий венецианский акцент, врывающийся в английское бормотанье, придавал его речи живописное очарование. Когда он говорил, за желтыми туманами Сити вырисовывалось золото Святого Марка, розовые дворцы и разукрашенные столбы перед ними, к которым привязываются гондолы.

Вне дела мистер д'Израэли никогда не встречался с другими евреями. Это делалось не по расчету: он был прост, добр и больше всего боялся оскорбить кого-нибудь. Но его жена сторонилась их. Будь она христианкой, ее красота и крупное состояние создали бы ей в Лондоне самое лучшее положение в свете. Ее бесила мысль, что она родилась еврейкой и что фамилия ее мужа была почти символической. Тщетно муж старался задобрить ее подарками: она оставалась уязвленной, презирающей. Чтобы угодить ей (впрочем, также и по собственному индифферентизму), он никогда не ходил в синагогу, но числился членом португальской общины и, неизменно щедрый и осторожный, время от времени жертвовал в пользу бога израилева несколько гиней.

* * *

*

Единственный сын Бенджамина и Сары д'Израэли, Исаак, очень поражал их. Они мечтали о крупном дельце, а между тем их сын был бледен, робок, прогуливал-

ся вечно с книгой в руке и не скрывал поражающего отвращения ко всякого рода деятельности. Эта беспечность раздражала саркастическую миссис д'Израэли. Отец умиротворял ссоры, делая подарки матери и сыну. В его глазах несчастный ребенок был ребенком, которому хотелось игрушки. Когда его сын как-то убежал из дома и найден был лежащим на какой-то могиле, он поцеловал его и подарил ему пони.

В тринадцать лет молодой человек написал поэму. Несмотря на свое добродушие и оптимизм, мистер д'Израэли пришел в ужас. У него была гравюра Хогарта, изображающая поэта, умирающего с голоду на своем чердаке. Исаак с первым же пароходом был послан за границу, где провел четыре года в Голландии и во Франции под наблюдением наставника, оказавшегося свободомыслящим, последователем французских философов. Юный Исаак вернулся начиненным идеями Вольтера и страстным поклонником Руссо. Восемнадцатилетним юношей он, странно одетый и с длинными волосами, вошел в отчий дом и, следуя примеру Эмиля, бросился матери на грудь, обливая ее слезами, она же насмешливо засмеялась и с явным отвращением подставила ему щеку.

В течение некоторого времени Бенджамин д'Израэли еще сохранял небольшую надежду, но, когда он узнал сюжет большой поэмы, над которой работал его сын, — «О вреде коммерции, являющейся причиной порчи человека», — он отказался от мысли втянуть юношу в свои дела и решил дать ему жить сообразно с его склонностями.

Исаак д'Израэли установил тогда тот образ жизни, который не изменялся уже до самой его смерти. Он целые дни проводил в библиотеке Британского музея, чудесного места, где никогда в те времена не бывало больше пяти-шести посетителей. Там он заполнял выписками листы бумаги, которыми всегда были полны его карманы. Вначале задачей этой работы было написать историю английской литературы. Но очень скоро д'Израэли стал тонуть во все растущем море выписок и примирился со скромной, но интересной ролью компилятора. Он напечатал под названием «Курьезы литературы» сборник анекдотов, который имел большой успех и определил его карьеру. Тридцати пяти лет он женился на наивной, нежной женщине, принадлежавшей, как и он, к итальяно-еврейской семье. Он согласен был вер-

но любить ее, лишь бы она избавила его от всяких домашних хлопот и позволила ему посвятить жизнь чтению и заметкам. Вышло так, что такой порядок жизни подошел его избраннице, и с тех пор жизнь Исаака д'Израэли сложилась по непреклонно соблюдаемой программе. После утреннего завтрака он уходил в свою библиотеку и запирался там до ленча *, читая и делая выписки. После ленча он шел в Британский музей, читал и делал выписки. На обратном пути он останавливался около всех букинистов, попадавшихся ему по дороге, и возвращался нагруженный книгами. Он пил чай и запирался со своими покупками в кабинете, где до самого обеда читал и делал выписки. Если он шел в свой клуб, то опять-таки с тем, чтобы не выходить из библиотеки. Он любил книги так, как другие любят женщин, опиум, табак; они были для него сладким дурманом, несущим забвение жизни. Его очень уважали в литературных кругах, и у него были там друзья среди знаменитостей. Он нравился своей необычайной кротостью и полным отсутствием тщеславия. Байрон читал с удовольствием небольшие статьи д'Израэли: некоторые эпизоды из жизни великих людей, их несчастья, черты эгоизма в их характере успокаивали его сомнения. В доме д'Израэли имя Байрона было окружено необычайным поклонением. В религиозном отношении Исаак д'Израэли был вольтерьянцем, в политическом — консерватором, но всякий режим казался ему хорош, лишь бы он позволял человеку с средним достатком без помехи собирать литературные анекдоты.

II ШКОЛЫ

Старший сын Исаака д'Израэли был назван в честь деда Бенджамином. До него родилась дочь Сара. Самая большая близость с детства возникла между братом и сестрой. Роль отца для мистера д'Израэли свелась к тому, чтобы время от времени с неловкостью книжного человека потрепать сына за ухо. Миссис д'Израэли, особа от природы застенчивая и всему удивляющаяся, с почтительным трепетом выслушивала рассуждения, для нее непонятные, своих не по годам развитых детей.

* Ленч — второй завтрак, подаваемый в Англии около полудня. — *Прим. перев.*

Кроме того, она не без успеха завивала им кудри. Дети обожали ее, но никогда не говорили с ней о том, что их действительно задевало. Они очень восхищались отцом, которого считали великим писателем, часто любовались его прелестным лицом, но рано поняли, что бесполезно ожидать, чтобы он занялся их воспитанием. В часы обеда и завтрака они видели его с бархатной шапочкой на седеющих волосах, всегда молчаливого и рассеянного. Они знали, что его единственное желание — скорее вернуться к книгам. Когда его задерживали или мешали ему, он делался чрезвычайно вежлив, и заметно было, что он в отчаянии. Если он разговаривал с детьми, то это были не разговоры об ежедневных делах, а рассуждения о его работах и изысканиях. Он работал над «Жизнью Карла Стюарта» и охотно объяснял детям, что галантный красавец-король был скорее мучеником, чем тираном. Преклонение перед Стюартами и ненависть к пуританам были единственной религией семьи.

По воскресеньям вся семья пешком отправлялась к дедушке и бабушке д'Израэли. То была бесконечная и скучная прогулка. Желчная бабушка щипала щеки детей, кисло осуждала их манеры и никогда их ничем не угощала. Зато дедушка давал им денег, играл на мандолине и рассказывал об Италии. Маленький Бен обожал эти рассказы, особенно те, которые относились к Венеции. Он любил воображать этот город, где дома похожи на кружево из камня, а крыши убраны золотом. Дедушка говорил, что их предки долго жили в Италии, а еще раньше, во времена Фердинанда и Изабеллы, они обитали в Испании. К воспоминаниям об Италии примешивались воспоминания о турках, Испания напоминала о маврах. Когда Бен думал о мандолине и макаронах дедушки, в его воображении мелькали тюрбаны, ярко расшитые куртки, роскошные, залитые солнцем страны. Иногда он в итальянском саду ложился под дерево и мечтал. Он создавал блестящие и странные декорации. Он встречал идеально прекрасных людей — юного английского рыцаря, которого спасал от смерти, и принцессу, которой служил. Они все трое были затеряны в лесу, наступала ночь, и спутниками его овладевал страх. Тогда Бен брал на себя командование: во всех его мечтах он всегда руководил и побеждал.

Очень юным его отправили в школу, сначала к некоей мисс Ропер, затем к преподобному Потикани, в высокочтимую школу, где дочь духовного лица заботилась

о «нравственности и о белых учениках». Там Бен узнал нечто, его очень поразившее: он был другого вероисповедания и другой расы, чем его товарищи. Это как-то трудно было понять. Ведь дом Бена, этот дом из красного кирпича (греческий портик, три ступеньки, маленькая решетка вдоль тротуара), был бесспорно английский дом. Его отец со своей бархатной черной шапочкой, со своим розовым и тщательно выбритым лицом, с изысканной и шутливой речью, был английский писатель. Бен научился читать по английским книгам. Песенки, баюкавшие его в младенчестве, были английские песенки, но здесь, в школе, ему дали почувствовать, что он не ровня другим. Он был еврей, а его товарищи, за исключением одного, не были евреями. Как это было непонятно! Евреи — это народ, о котором рассказывает Библия, народ, который переходил через Красное море, жил в неволе в Вавилоне, строил Иерусалимский храм. Что общего было у него с этим народом? По утрам, когда весь класс преклонял колена для общей молитвы, Бен и другой маленький еврей, которого звали Сергей, должны были стоять в отдалении. Раз в неделю раввин приходил учить их древнееврейскому языку, этому непонятному языку, буквы которого, похожие на шляпки гвоздей, пишутся справа налево. Юный д'Израэли знал, что эти уроки отстраняют его от какого-то таинственного причащения и придают ему в глазах учителя и других учеников отпечаток чего-то смешного. Он страдал от этого. Он был очень горд. Он желал бы быть во всем предметом восхищения. Когда играли в лошадки, он никогда не хотел, чтобы его запрягали. Но особенно он страдал от того, что не любил Сергея. Было ужасно чувствовать себя связанным с существом, которое он считал несравненно ниже себя. Мальчики, к которым влекло Бена, были белокуры и с голубыми глазами. Они были менее сообразительны, чем он сам, но он любил их всем сердцем. С ними он был изумительно терпелив. Был в школе маленький Джонс, сын врача, которому Бен во время перемен рассказывал истории о разбойниках, о пещерах, иллюстрируя их быстрыми карандашными набросками. Когда у Бена была новая книга, маленький Джонс садился рядом с ним, и они читали вместе. Но Джонс едва доходил до середины страницы, когда Бен, пробежавши ее сразу, готов был перевернуть ее. Он столько читал, столько слышал о книгах от отца, что запас слов у него был необъятен

и трудные тексты его не останавливали. Маленький Джонс вздыхал, торопился. Тогда Бенджамин д'Израэли, понимая смущение приятеля, слегка улыбался и очень мило говорил: «Я подожду».

Вечерами в своей классной комнате Сара и Бен часто разговаривали о странной проблеме — о христианстве и иудаизме. Почему им ставили точно в упрек происхождение, которого они не выбирали и отказаться от которого было не в их власти? Когда они спрашивали объяснений у отца, Исаак д'Израэли, философ-вольтерьянец, пожимал плечами. Все это ничего не значило. Предрассудки. Он лично несколько не стыдился своего еврейства. Наоборот, он всегда с гордостью говорил о древности своей расы. Но он считал совершенно бессмысленным в век рационализма придерживаться обычаев и верований, которые соответствовали несколько тысяч лет тому назад потребностям и умственному уровню арабского кочевого племени. Как его отец, так и он, в угоду ему, был приписан к местной синагоге и уплачивал налоги. Он даже разрешил, во избежание споров, которые могли бы отнять у него несколько часов, чтобы раввин приходил обучать его сына древнееврейскому языку. Но он не верил ни в какие догматы и не соблюдал никаких обрядов.

Несмотря на такую позицию, а может быть, благодаря ей, он узнал однажды в 1813 году, что лондонские евреи, гордясь его литературной репутацией, избрали его председателем своей общины. Он был возмущен и тотчас же написал резкое письмо: «Человек, который жил всегда вдали от вашей среды, который ведет уединенную жизнь и не может участвовать в ваших суждениях, так как в современных своих формах они убивают, а не вызывают религиозные эмоции, такой человек, склонный к большим уступкам в вопросах, для него безразличных, ограничивается тем, что допускает некоторые из ваших обрядов, но если он не лишен чести и разума, то ни в коем случае не может брать на себя каких-либо официальных обязанностей среди вас».

Консistorия приговорила председателя поневоле к сорока фунтам штрафа. Исаак д'Израэли отказался платить. Его оставили в покое в течение трех лет, по истечении которых еврейская община потребовала уплаты. За это время умер дедушка д'Израэли, сумевший, несмотря на отвратительную жену и не оправдавшего его ожиданий сына, сохранить до девяноста лет свою

солнечную жизнерадостность. С ним исчезала и единственная нить, правда очень тонкая, связывающая семью с современным иудаизмом. Мистер д'Израэли ответил консистории просьбой об исключении его из списка верующих. Этот очень покладистый человек мог делаться свирепым, когда посягали на его спокойствие.

Переставши быть евреем, он тем не менее не стал и христианином и прекрасно примирился с этим промежуточным состоянием. Один из его друзей, историк Шэрон Тернер, обратил однако его внимание на то, что детям было бы выгодно принять господствующее в Англии вероисповедание. Для сыновей особенно, если они не будут крещены, многие карьеры будут закрыты, так как евреи, как, впрочем, и католики, были лишены гражданских прав. Мистер д'Израэли очень уважал этого Тернера, который первым занялся исследованием англо-саксонских рукописей Британского музея. К тому же прекрасная и черствая бабушка, верная антипатиям своей юности, убеждала его освободить ее внуков от общества, которое заставило ее столько страдать. Исаак д'Израэли дал себя убедить. Катехизис, и молитвенник появились в доме, и один за другим дети были крещены в церкви Святого Андрея.

Бенджамину было тогда тринадцать лет. Было желательно вместе с переменой религии переменить и школу. Куда же его послать? Отец подумывал об Итоне *, мать же боялась, что он там будет несчастен. Было очевидно, что прием, который будет оказан юному, только что крещеному еврею, не сулит ничего хорошего. Бен готов был попытать счастья, но осторожность заставила его последовать советам матери. Случилось, что мистер д'Израэли часто встречал у букинистов некоего преподобного Когана, который покупал редкие издания и слыл единственным пастором-нонконформистом, знающим греческий язык. Человек, который столько читал, не мог не быть совершенством. Было решено, что Бен будет поручен ему.

* *
*

Школа доктора Когана помещалась в старом, покрытом плетнем доме. По стенам пустых классных комнат, окруженных дубовыми скамьями, большие плакаты

* Итон — знаменитое среднее учебное заведение в Англии. — *Прим. ред.*

возвещали: «Аз есмь путь, истина и жизнь». Семьдесят учеников, критикующая и любопытная толпа, окружили новичка. Он был как-то вызывающе хорошо одет. Прекрасный костюм, матовый оливковый цвет красивого, но чуждого лица поразили их. Новые товарищи смотрели на него с несколько насмешливым интересом. Он смотрел дерзко и отвечал взглядом на взгляд. Он решил бороться на всех фронтах и на презрение отвечать дерзостью. «Это пустяки, — говорил он себе, когда волнение слишком усиливалось, — это такие же мальчишки, как и я, которых я должен покорить».

С первых же уроков стали ясны недостатки и достоинства его воспитания. Ученики школы были очень сильны в латинском и греческом, гораздо сильнее, чем Бен. Но как только дело дошло до сочинений, многие ученики убедились, что он открывает им целый мир новых мыслей и чувств. Повторяли его словечки, его фразы. Товарищи переписывали его стихи, чтобы показать их сестрам, кузинам. Около него образовалось нечто вроде модернистского сообщества. Хотя он ненавидел резкие движения, самолюбие взяло верх над темпераментом, и он методически заставлял себя делать успехи в физических играх. Его популярность была велика, и он быстро занял опьянявшее его положение вожака. Когда он прогуливался один, он воображал себя в будущем премьер-министром или командующим армией. Как это должно быть чудесно!

Чтобы утвердить свою власть, он вопреки регламенту школы, организовал театральные представления. Он обожал театр. Когда родители в первый раз повели его на спектакль, когда он услышал эти законченные фразы, мастерски произносимые диалоги, увидел разыгрывающиеся перед ним захватывающие авантюры, он пришел в восторг. Наконец-то он обрел мир, населенный существами, созданными по его вкусу, существами, совершающими подвиги и говорящими точь-в-точь как герои его сновидений.

Образовалась целая труппа. Д'Израэли был директором, режиссером, первым актером. Проходили недели; он наслаждался этой новой жизнью, своим могуществом и был вполне счастлив.

Он был так упоен своим счастьем, что не видел, как надвигается гроза. Успех давал ему радости, которые, думал он наивно, разделяют все. Он слишком давал чувствовать свое презрение к отсутствию сообразительности.

Самыми яростными врагами его были школьные надзиратели из старших учеников, которые до появления этого чернокудрого мальчика царили безраздельно. Его нечестивая власть, основанная на развлечениях и нараставшая рядом с их властью, раздражала их. Они донесли преподобному Когану о тайных репетициях и разоблачили директора театральной труппы.

Его преподобие Коган, возмущенный, явился в класс и произнес речь по поводу этих скандальных новшеств.

— Никогда, — говорил он, — в семье, которую мы здесь составляем, я не видел ничего подобного. Бесспорно, эти новшества исходят от какого-то чуждого нам существа, бунтаря, неспособного усвоить дух нашей школы.

Враги д'Израэли с радостью ухватились за эту фразу. В следующую перемену в группе учеников, проходивших мимо д'Израэли, раздалось хихиканье. Кто-то свистнул. Он обернулся и спросил спокойно:

— Кто свистел?

Самый взрослый из надзирателей выступил вперед и сказал:

— Довольно нам плестись в хвосте за чужестранцем!

Д'Израэли ударил его прямо в лицо. Около боксеров образовался круг. Д'Израэли был меньше, менее силен, но очень быстр и подвижен. Он дрался с большим умением и свирепым мужеством. Скоро противник был весь в крови. Оторопелые ученики молча смотрели на то, как их законный руководитель терял сознание. Наконец он свалился. Испуганное молчание встретило это падение режима. Может быть, ученики его преподобия Когана были бы менее поражены, если бы они знали, что победитель в течение трех лет втихомолку брал уроки бокса.

III

БРЕММЕЛЬ И СВЯТОЙ ИГНАТИЙ

Доктор Коган попросил мистера Исаака д'Израэли как можно скорее взять своего сына из школы. Бен вернулся домой, в свою комнату, к привычной снисходительности своих семейных. Никогда ребенок не чувствовал себя таким одиноким и в такой степени хозяином собственной жизни. Отец был еще благожелательнее, но еще отвлеченнее, чем прежде. Мать, чувствуя пре-

восходство сына, любовалась на него издали, почти с благоговением. Только с одной Сарой он мог говорить о будущем.

Ему было пятнадцать лет. Опыт показал, что посещение школы для него опасно; в университете, если он поступит туда, он встретит те же предрассудки и ту же ненависть. Что делать? И прежде всего, чего он хотел? По мере того как волнения маленького школьного мирка, воспоминания об интригах, успехах и войнах в миниатюре рассеивались подобно тучкам и позволяли рассмотреть ярко окрашенные и четкие горизонты, он прозревал вдаль, в своем далеком будущем, прежде всего необъятное честолюбие. Ему казалось, что жизнь будет невыносима, если он не сумеет стать самым великим из людей. Не одним из самых великих, но именно самым великим. Однажды уязвленная душа находит утешение только в полном торжестве. Он должен был взять реванш. Он чувствовал себя способным его взять. Но кто прояснит ему жизнь? На какой путь ему вступить? Писать? Он видел страстное поклонение, окружавшее Байрона. Но сколько великих поэтов, и самых великих, стали знаменитыми только после смерти! Бен мало заботился о посмертных успехах. Он хотел сам ощущать свою славу. «Быть Гомером или Александром — можно ли так колебаться?» У него было два младших брата, для которых мать часто собирала их ровесников. Будущий Александр прогуливался среди них, заложив руки в карманы очень узких брюк, бледный, грустный, с мрачным видом, похожий на Гулливера среди лилипутов.

* *
*

Несколько недель, последовавших за его возвращением из школы, были подвергнуты им беспощадному анализу самого себя. Верный, сделанный им вывод был таков: он был абсолютно невежественен. Он понял, что если он хочет развить свои умственные способности, то ему надо заложить сначала прочный фундамент. Он наметил огромный план работ и решил жить год уединенно, посвятив его весь чтению.

С нежностью, но слегка скептически смотрел отец на то, как он каждое утро заходил в библиотеку и уходил нагруженный книгами. По вечерам он заполнял заметками свою рабочую тетрадь:

«Пятница, 2 июня. Лукиан, Теренций, «Адельфы» — которые обещают быть интересными; «Генриада», Вергилий, 2-я книга «Георгики», начинающаяся великолепным воззванием к Бахусу, потом, увы, сходит на усыпляющие рассуждения о прививке деревьев; приготовить греческий, грамматику».

И в другой раз:

«Я не люблю Демосфена, хотя его речи пестрят всегда словами «добродетель», «патриотизм», «мужество». История говорит, что он был негодяй, человек узко партийный и трус».

По всему дому слонялся этот высокий юноша в туфлях, перетаскивавший из комнаты в комнату кипы словарей. Методичный мистер д'Израэли тщетно упрашивал его избрать себе определенное место для работы:

— Умоляю тебя, мой дорогой мальчик, приведи твои бумаги в какой-нибудь порядок!

Что очень не нравилось автору «Курьезов литературы», так это то, что сын его с такой страстью изучал истории заговоров в Венеции и истории крупных религиозных орденов. Он выискивал все новые подробности о тайных обществах, о святых тайных судилищах, о Совете десяти, об иезуитах. Он читал и перечитывал жизнь святого Игнатия Лойолы, мужество которого приводило его в восхищение. Вопрос, который ставил себе Игнатий: «Как поступишь ты, если будешь святым, чтобы превзойти в святости и Доминика и Франциска?» — это ведь был тот же самый вопрос, который ставил себе Бен в отношении Демосфена, Цицерона, Питета. Он любил изречение: «Работай над собой не для наслаждения, а для действия».

Он особенно тщательно изучал, как святой Игнатий вербовал своих учеников и как он привязывал их к себе. Организация католической церкви приводила его в восхищение:

Ах, одновременно быть духовной властью и властью мирской! Быть Альберони или Ришелье... Чудесная участь!..

Такие рассуждения огорчали мистера Исаака д'Израэли. Как? Вот к чему приходит ученик, которого он вскармливал своим любимым Вольтером! Эрудит-скептик породил эрудита-мистика! Странного, впрочем, мистика. У него не было непосредственного наивного влечения к мистическим доктринам. Казалось, что он рассудочно избегает всего рассудочного. Это раздражало мистера д'Израэли.

Несмотря на свое отвращение ко всякому действию, он считал необходимым вмешаться. Он хотел направить сына к более простым и практическим целям. Один из его друзей, мистер Мэплс, присяжный поверенный, предлагал взять к себе Бенджамина в качестве секретаря. У мистера Мэплса была дочь. Родители уже строили брачные проекты.

При мысли быть похороненным в конторе адвоката Бенджамин встал на дыбы:

— Адвокатура! Пфу! Тексты закона и безвкусные шутки до сорока лет, а там, если все пойдет благополучно, подагра и титул баронета! К тому же, чтобы выдвинуться в этой области, надо быть большим законником, а чтобы быть большим законником, надо отказаться от мечты стать великим человеком.

— Надо остерегаться, мой милый сын, — сказал мистер д'Израэли, — хотеть стать сразу великим человеком. Нынешних молодых людей уже не удовлетворяют степенные и почтенные профессии. Я очень боюсь за них, за тебя.

Он прибавил еще, что его очень огорчает то, что сын его так безмерно честолюбив, так как его происхождение и национальность закроют ему видные пути. Впрочем, допуская даже, что он прав в своих мечтах о своем высоком назначении, почему не начать с изучения людей в той прекрасной обсерватории, какой является кабинет крупного адвоката? Что помешает ему потом избрать другой род деятельности?

Этот последний аргумент убедил Бенджамина. Было верно, что он не знал людей, но что он хотел их знать. Из книг он знал, что многие великие люди терпели неудачу исключительно потому, что мыслили уединенно и пренебрегали изучением массы. Надо было, наоборот, смешаться с людским стадом, узнать его способ чувствования, его слабости. Миф о Юпитере, который для своих земных походов принимал облик животных, показался ему хорошим символом. Он уступил.

* * *

*

Контора адвоката. В кабинете на Фредерик-плейс мелькали государственные деятели, банкиры и коммерсанты. Вечера Бенджамин по-прежнему проводил за книгами в отцовской библиотеке. Иногда патрон приглашал Бена к себе; там он встречал молодых женщин

и девушек. Он пользовался большим успехом. У него были бархатные глаза, красивый, хорошо очерченный нос, нервный рот, необыкновенно бледный цвет лица. С женщинами и в разговорах о них он старался быть циничным. Сложным был этот цинизм, вызванный боязнью быть обманутым, неосознанной робостью, отсутствием воображения, а в конце концов бывший прототипом системы. Бенджамин читал «Дон Жуана», обожал Байрона и видел в поэте только то лицо, которое поэт хотел показать. Бреммель был в моде со своей судорожной аффектацией, с парадоксальной дерзостью. Он являлся примером человека, который надменным фатовством превзошел всех лондонских снобов. До сих пор знали дерзость вельмож, власть имущих, педантов. Денди — это дерзость в чистом виде, так сказать беспричинная и черпающая свою силу в себе самой. Выдающиеся примеры показали, что этот способ действия может увенчиваться успехом. Юный д'Израэли решил испытать его в среде буржуазных юристов. Он начал одеваться с экстравагантной изысканностью: носил фрак из черного бархата, кружевные манжеты, черные шелковые чулки с красными бантами; стал нахально, в упор смотреть на женщин, мужчинам отвечал через плечо. Ему показалось вскоре, что он уже может констатировать благоприятное впечатление, производимое таким поведением. Замужние, и часто хорошенькие, женщины смотрели на него с улыбками, которым по праву завидовали зрелые мужчины.

Часто обедал он с отцом у издателя Джона Меррея. Там он встречал известных писателей и слышал восхищавшие его разговоры. Он видел там Сэмюэла Роджерса, друга Байрона, Томаса Мура, приехавшего из Италии, где он встретился с поэтом.

— Скажите мне, — спрашивал мистер д'Израэли, — Байрон очень изменился?

— Да, лицо у него опухло, он ожирел, волосы поседели, и он утратил то выражение духовной мощи, которым отличался раньше. У него портятся зубы, и он думает, что ему придется посоветоваться с английскими врачами.

Юный Бенджамин слушал обоими ушами, а вечером, возвратившись домой, записывал все слышанное.

Наблюдая за другими, он критически приглядывался к себе самому. Он видел, что некоторые друзья его отца забавляются его ранней развитостью и живостью его

ответов, другие же шокированы его дерзостью. Некоторые находили его неестественным и несносным позером. Из боязни стать смешным он не решался быть искренним и оживлял разговор непрерывной шутивостью. Если он иногда пытался воздерживаться от сарказмов, воспоминания об оскорблениях, нанесенных ему в школе, подобно злему демону, овладевали его душой. Нет, лучше цинизм, чем услужливость! Когда его необыкновенная способность подмечать все смешное наживала ему опасного врага, он упрекал себя и принуждал себя, подобно Лойоле, к духовным упражнениям. Он отмечал в дневнике: «Решено: быть всегда искренним и откровенным с г-жой Е. Никогда не говорить того, чего я на самом деле не думаю. Не надо насмешливости, в которой я, но ее мнению, превосхожу всех...»

Скоро контора на Фредерик-плейс начала ему надоедать. Девушка, которую ему прочили, сама сказала:

— Ну, нет... Вы чересчур блестящи для этой профессии. Это все невозможно!

Ему не терпелось освободиться. «Добиться успеха в конце карьеры — это все равно, что совсем не добиться его или что достичь одновременно бессмертия и смерти. Подумайте о юном Цезаре, который видит, как бесполезно уходит молодость, и плачет, читая о подвигах Александра Македонского; даже Фарсала не была бы достаточной компенсацией за его мучения. Подумайте о безвестном Бонапарте, умирающем с голода на улицах Парижа. Что остров Святой Елены сравнительно с горечью подобного существования! Воспоминания о былой славе могут озарить самую мрачную темницу, но жить ожиданием того, что сверхъестественная энергия угаснет медленно, не совершив всех чудес, на которые она способна, — какое колесование, какой застенек, какая пытка может сравниться с этим мучением?..»

Летнее путешествие в Германию ускорило решение. Он с отцом объездил ряд маленьких германских дворов, наблюдал блестящее и веселое общество, хорошенькие театры, где сам великий герцог дирижирует из своей ложи оркестром. Их везде хорошо принимали. Во время обедов играла военная музыка. Старого мистера д'Израэли с его свежим цветом лица и седыми волосами принимали за английского генерала. Сыну это втайне льстило. Мир был слишком хорош, слишком разнообразен, чтобы можно было молодость посвятить возне

со скучными делами. Спускаясь вниз по роскошным водам Рейна, любуясь таинственными холмами, над которыми возвышались поросшие плющом башни, он решил, что сейчас же по возвращении бросит юридическую тарабарщину.

IV

ДЕЛЕЦ

В последние месяцы своего пребывания в конторе на Фредерик-плейс д'Израэли мог наблюдать, как некоторые клиенты его патрона быстро обогащались, спекулируя на рудниках в Южной Америке.

Испанские и португальские колонии — Мексика, Боливия, Перу, Бразилия — были тогда почти целиком охвачены восстанием; во имя либеральных принципов министр Кэннинг поддерживал их; английские финансисты получали там концессии на рудники; английская публика, счастливая тем, что могла одновременно обслуживать свои доктрины и свою выгоду, набрасывалась на ценности, которые бешено повышались. С другим конторщиком, несколько старше его самого, д'Израэли, считавший повышение рискованным, решил спекулировать на понижение. Молодые люди сначала рискнули на небольшую сумму, затем, когда проиграли, на большую. Так как повышение продолжалось, то они потерпели убыток в тысячу фунтов. Тогда они порывисто решили, чтобы вернуть свои потери, впредь играть только на повышение.

Эти операции свели д'Израэли с Джоном Дейтоном Пууэлсом, одним из финансистов, руководивших биржей южноамериканских ценностей. Пууэлс был поражен интеллигентностью этого двадцатилетнего юноши; он заинтересовался им. Д'Израэли же был счастлив проникнуть в мир финансовых королей, тайна могущества которых его давно интересовала. Для начала Пууэлс поручил ему составить и издать маленькую брошюру об американских рудниках, рассчитанную на широкую публику.

Д'Израэли отличался полным невежеством в вопросе о рудниках, но большой уверенностью в себе самом. Он ознакомился в несколько дней с вопросом, составил вполне удобочитаемую маленькую книжку и добился от издателя Меррея, друга своего отца, издания ее за счет Пууэлса.

Меррей, не обращавший до сих пор внимания на этого бывавшего на его обедах красивого юношу, был теперь поражен его апломбом и необыкновенным даром убеждать других. Скоро он начал вести с ним интимные беседы о будущем своего издательства. Он издавал уже очень значительное обозрение «Куортерли Ревью», но Меррей думал, что, может быть, было бы ему выгодно основать ежедневную газету по образцу «Таймса». Д'Израэли загорелся. Меррей, человек по природе нерешительный и боязливый, сейчас же стал пытаться пойти на попятный, но он столкнулся с более решительным, чем он сам, характером. Иметь газету — это именно было то, о чем мог только мечтать молодой д'Израэли. Руководить газетой — это значило держать в своих руках, правда в замаскированном виде, власть. Конечно, надо было основать большую консервативную газету. Средства дадут трое: Меррей, Поуэлс и сам д'Израэли. Как же он уплатит свою часть? Об этом он не думал. Деньги найдутся. Что еще нужно? Редактора? У д'Израэли был план: надо было пригласить Локхарта, зятя сэра Вальтера Скотта. Он живет в Шотландии? Его выпишут в Лондон. Д'Израэли поедет к нему, убедит его. Надо было корреспондентов из-за границы, типографию, помещение? Д'Израэли брался за все.

Меррей, осажденный этими планами, не мог долго сопротивляться. Он подписал договор, которым обуславливалось создание большой ежедневной газеты; капитал принадлежал троим: половина Меррею, четверть Поуэлсу и четверть д'Израэли. Этот последний сейчас же отправился с поручениями в Шотландию. В дилижансе он читал Фруассара, чувствовал себя вполне счастливым и самодовольно говорил себе: «Авантюры для авантюристов!»

* *
*

Он подготовил все с бесконечным старанием. Он пустил в ход все воспоминания о милых его сердцу тайных обществах. Он оставил Меррею ключ, который давал возможность переписываться, не называя имен. Сэр Вальтер Скотт был «Рыцарь», Локхарт — «М», министр Кэннинг — «Х», сам Меррей — «Император». Сейчас же по приезде в Эдинбург он доставил свои рекомендательные письма к Локхарту, жившему в небольшом коттедже в прекрасном поместье своего тестя — Абботсфорд.

На следующий день Бен получил приглашение. Писатель был ошеломлен, увидев входящего к нему юнца. Прочитав имя д'Израэли, он, естественно, подумал об отце, с которым когда-то встречался в Лондоне. Холодный и насмешливый человек, к тому же педант, очень кичившийся известностью тестя, он почувствовал себя оскорбленным появлением этого мальчишки и принял его с убийственной холодностью.

Мужество д'Израэли поколебалось. Но природа его была такова, что чем сильнее он был смущен, тем он делался развязнее. Он уселся с величайшей медлительностью, состарившей его сразу лет на десять, и начал с редким хладнокровием излагать то, что он называл проектом Джона Меррея. В действительности это был проект Бенджамина д'Израэли, но он уже знал, что едва ли кто-нибудь будет серьезно выслушивать мнение двадцатилетнего юноши. Таким образом он часто импровизировал цитаты и приписывал известным авторам идеи, которые не решался высказывать от своего имени.

В его устах все принимало необычные размеры; в лице Поуэлса проект газеты поддерживался «всем Сити», «всеми владельцами рудных акций», «всей Америкой», Меррей привлек наиболее влиятельных политических деятелей; министерство стояло за ними; наконец, новая газета, которую он предлагал назвать «Представитель», являлась «крупнейшим предприятием эпохи». Он так хотел, чтобы жизнь была великолепно авантюрным романом, что невольно изображал все в несколько чересчур ярких красках. Несмотря на свое недоверие, Локхарт был поражен этой кипучей деятельностью и на следующий день представил юного посланника своему тестю.

Сэр Вальтер Скотт был в те времена одним из знаменитейших в мире людей. Караваны американцев совершали паломничество в Абботсфорд. Он обращался с ними с внушительной добротой, гулял с ними по своему прекрасному парку или уводил их удить семгу. Собаки его бежали с ним рядом. Дом, который первоначально строился как коттедж, от романа к роману разрастался, пока не стал точной копией замка шотландского барона.

Такой склад жизни обходился очень дорого, и издатели сэра Вальтера, несмотря на его огромную популярность, начинали сгибаться под тяжестью счетов поставщиков.

Потому-то юный еврей, суливший зятю прекрасное положение, был восхитительно принят «Рыцарем». Он принял его в своей прекрасной библиотеке, сидя в креслах с дюжиной фокстерьеров на коленях и на плечах. Он с симпатией выслушал объяснения молодого человека, романтическая пылкость которого ему понравилась. Он сам любил аферы. Он одобрил проект, но потребовал для зятя места в парламенте. Было необходимо, чтобы руководитель большой газеты был членом парламента. Бенджамин обещал.

Он три недели прожил у Локхартов, почти каждый вечер обедал у Скотта. Жизнь здесь ему очень нравилась. Вечерами Анна Скотт, аккомпанируя себе на арфе, пела шотландские баллады, или сам Вальтер Скотт рассказывал чудесные истории. Все были в восторге от Бенджамина. Его отец писал Меррею:

«Можно возражать только против его молодости, но это недостаток, который исправится несколькими годами опыта... Его проекты обширны, но полны здравого смысла, и он умеет совершенно серьезно братья за работу».

Меррей писал Локхарту:

«Я направил к Вам своего юного друга д'Израэли и убежден, что Вы быстро сумеете оценить его. Я могу сказать, что никогда еще не встречал дебютанта, который так много обещал бы. Глубокое знание человеческой природы, практическая сторона всех его планов не раз поражали меня в юноше, который едва достиг двадцати лет. Уверяю Вас, что он достоин полного доверия, так как сдержанность также является одним из его качеств. Если наш большой план осуществится, я уверен, что Вы найдете в нем бесценного друга».

Д'Израэли вернулся и привез согласие Локхарта взять на себя руководство «Куортерли Ревью» и газетой за две тысячи пятьсот фунтов в год. Сейчас же по возвращении он нанял помещение под контору, нашел типографию, пригласил в качестве корреспондента знакомого ему по Кобленцу немца, уверив его, что эта газета будет очагом информации всего мира, отыскал других корреспондентов в некоторых столицах Европы, в Южной Америке, в Соединенных Штатах.

«Наконец, — думал он, — идет все как нельзя лучше!»

Газета должна была выйти в свет, как вдруг над головой торжествующего Бенджамина разразилась ужаснейшая гроза.

Он не знал закулисной жизни издательства Меррея, не потрудился расспросить о ней или ознакомиться с ней лично и совершенно не предполагал, что вступление в дело такого заметного человека, как Локхарт, не может не наделать шума.

Между тем Джон Вильсон Крокер, талантливый писатель и политический деятель, младший статс-секретарь военного ведомства и видный сотрудник обозрения, но человек неблагодарный и сварливого характера (Маколей говорил о Крокере, что он ненавидит его, как холодную вареную телятину), впал в ярость, когда узнал, что без его ведома издательство строит какие-то проекты с двадцатилетним мальчишкой. Он устроил Меррею жестокую сцену, а тот напустился на д'Израэли, обвиняя его в том, что он по своей болтливости разгласил планы, которые должны были быть сохранены в тайне. Почти в тот же день произошел на лондонской фондовой бирже крах с американскими ценностями.

Первоначальные расчеты обоих молодых клерков были правильны, хотя и преждевременны. Теперь, когда они играли на повышение, с молниеносной быстротой произошло понижение южноамериканских ценностей.

Пресловутый Поуэлс разорился окончательно, д'Израэли и его друг Эванс потеряли огромную сумму в семь тысяч фунтов стерлингов.

Несчастный д'Израэли лишался таким образом возможности принимать участие в газете, по крайней мере как финансист. Он в двадцать лет оказался обремененным такими долгами, что имел право спрашивать себя, как он их когда-либо уплатит. Он сразу терял друзей, кредит и положение. Он, конечно, мог бы остаться при газете, и это было бы вполне естественно, так как он был инициатором всего предприятия, но он очень не нравился Крокеру, а также, что его очень удивило, и Локхарту, который только терпел его (считая полезным), но считал авантюристом, и поэтому он через несколько дней был отстранен от созданной им комбинации. Он был ошеломлен. В течение двух месяцев он жил в атмосфере успеха и похвал. Меррей, Скотт, Локхарт, его отец обращались с ним как с чудо-ребенком. Он полагал, что все его обожают. Он вообще легко этому верил, что было результатом юности, проведенной среди нежной и восхищавшейся им семьи. Как-то грубо, вне-

запно все было забыто. На него смотрели с гневным презрением. Без всякого перехода за победой наступил полный разгром.

Управлять миром было труднее, чем он думал.

* *
*

Он вернулся домой мрачный, совершенно обескураженный. Ему казалось, что в мозгу его лопнули какие-то пружины. Отец его, не знавший, впрочем, самой тяжелой стороны всей авантюры — семи тысяч долга, уверял его, что в его возрасте бессмысленно (как он это делал) утверждать, что жизнь — проигранная ставка.

В продолжение нескольких дней Бенджамин мог только переживать свое поражение. Но после недели отдыха, размышлений и усилий понять, в чем была его ошибка, он вдруг почувствовал сильное желание писать, и писать именно роман: первое знакомство с миром, битву и поражение, пережитую им драму; ему внезапно захотелось изобразить и создать героя, под маской которого он мог бы уяснить себе самого себя.

Этот юноша все быстро приводил в исполнение, и для него также тягостно было ждать конца книги, как и достижения политической славы. Маска, надетая им на себя, была очень прозрачной. Как он сам, его герой Вивиан Грей был сыном всегда рассеянного, погруженного в свои книги писателя. Как он сам, он был исключен из школы. Как его самого, героя его романа сжигало пылкое политическое честолюбие, и он также в волнении шагал по комнате, мечтая стать великим оратором. Первое политическое рассуждение Вивиана Грея было следующее: «В эти минуты несомненно где-то существует человек высокого происхождения, которому только отсутствие интеллигентности мешает стать у власти. В то же время Вивиан Грей обладает интеллигентностью, но ему мешает незнатное происхождение. Когда два человека могут так хорошо дополнить один другого, почему бы им не объединиться?»

С энергией он принимается за поиски могущественного и тупого вельможи, которого рассчитывает покорить лестью. Такой важный и тупой барин находится в лице маркиза Карабаса. Вивиану удалось убедить его в необходимости создать партию Карабаса и стать премьер-министром. Вивиан не сомневался в успехе,

ибо «одним из принципов м-ра Вивиана Грея было то, что все возможно. Конечно, бывало в жизни, что люди терпели неудачи, но все эти неудачи объясняются недостатком мужества физического или духовного. Вивиан же Грей знал, что по крайней мере одно существо в мире не знает страха, и давно пришел к приятному выводу, что его карьера не может не быть необычайно блестящей».

Так создав своего героя по образу и подобию своему, д'Израэли с мрачной суровостью заставляет его потерпеть поражение, пасть жертвой собственной неловкости и чужих интриг. В заключение он заставляет оскорбленного и измученного героя предпринять путешествие за границу с целью несколько забыться.

Книга была закончена в четыре месяца, прежде чем автор достиг двадцати одного года, и без ведома семейных. Произведение это было не лишено достоинств. То, что д'Израэли мог наблюдать сам — молодость Вивиана, его отец, школа, — было жизненно и правдиво. Тон был саркастический. Проницательный критик обнаружил бы влияние Вольтера и Свифта. Диалоги были сделаны из того, что он слышал у Меррея и у сэра Вальтера Скотта. То, что он придумал сам, было довольно незрело.

У семьи д'Израэли был сосед, адвокат, мистер Остин, жена которого, очень культурная, остроумная и весьма красивая женщина, была артисткой, хорошей музыканткой и отличалась изысканным литературным вкусом. Она давно интересовалась Бенджамином. Ей нравилось, бывая у миссис д'Израэли, встречать этого молодого красавца, который сегодня лежал в гостиной на ковре среди груды книг, а завтра спускался из своей комнаты с еще завязанными поверх кружевных манжет перчатками для бокса. Она как-то сразу поняла, что все его легкомыслие напускное. Она относилась к нему доверчиво и внушила ему доверие к себе. С ней он складывал оружие, снимал маску и нагрудник и откладывал в сторону свою блестящую дерзость. Он был прост и искренен. Он признавался в своих опасениях, неудачах и желаниях. Он знал, что она честная женщина, и это ему нравилось. Он боялся любви. Александр или Цезарь не могли бы плакать у ног женщины. Но странно, что вместе с тем он продолжал быть сентиментальным и продолжал искать (как в своих ребяческих грезах) таинственную принцессу, которой будет преданно слу-

жить. Миссис Остин вызывала в нем рыцарское волнение от дружбы с женщиной без тягостей любовной связи. Это было очень приятно.

Он посвятил ее в свою тайну; как только он закончил роман, она попросила дать ей прочесть рукопись и предложила, если найдет ее удачной, передать своему приятелю Кольбурну, который в то время был наиболее предприимчивым из лондонских издателей.

Д'Израэли передал рукопись своей прекрасной соседке и на следующий же день получил восторженное письмо. Было решено, чтобы разжечь любопытство Кольбурна, передать ему рукопись без подписи автора. Секрет будут знать только она и д'Израэли. Для большей верности она всю рукопись переписала собственной рукой.

Кольбурн, большой мастер в публицистике, сейчас же уцел возможность извлечь выгоду из этой анонимной сатиры. Во всех газетах и журналах появились маленькие заметки, обещавшие в ближайшем будущем выход современного светского романа, автор которого по важным причинам не может быть пока открыт. «Очень острая книга», «Собрание портретов, которые составят как бы национальную галерею», «Нечто вроде «Дон Жуана» в прозе».

Такая кампания подготовила публику: успех «Вивиана Грея» был велик. Продавали ключи, открывавшие имена живших лиц, послуживших, как говорили, моделью героев романа. Несколько известных людей считались возможными авторами книги. О книге заговорили во всех гостиных. Д'Израэли и его хорошенькая сообщница были в восторге.

Внезапно, по нескромности одного служащего издательства, тайна была открыта. Велико было негодование светских людей, когда они узнали, что неизвестный автор, чей талант и знание английского общества они расхваливали в течение месяца, оказался двадцатилетним молодым человеком, даже не принадлежащим к высшему обществу. Сейчас же было признано всеми, что нелепо хоть сколько-нибудь сомневаться в низком происхождении автора, так как это происхождение выдает весь тон романа. Те, кто думал, что узнает себя в карикатурном портрете, теперь с наслаждением удесятерили эту карикатурность. Действительные оригиналы романа впали в ярость. Меррей решил, что маркиз Карабас играл при Вивиане Грее роль, очень по-

хожую на его собственную, и грубо поругался со всей семьей д'Израэли. Те, кого роман раньше забавлял, испытывали теперь угрызения совести. Один из критиков заметил, что «происхождение автора выдается его манерой настаивать на фактах, которых настоящий светский человек и не заметил бы». Другой вскрывал «бесстыдную шумиху, которая подготовила книге успех». Третий обвинял автора в том, что «он завоевал читателя самыми низменными и возмутительными приемами», и долго высмеивал «комичные претензии автора на изысканность, которой у него отнюдь нет».

Когда д'Израэли прочел эти жестокие нападки, он выронил из рук газету и впал в печальную задумчивость.

Он чувствовал себя смешным: это то, чего он боялся больше всего на свете. Смешной! Ему оставалось только умереть. Он пытался засмеяться, но смог только с горечью улыбнуться. Наглость этих людей... Он закрыл глаза и сделал усилие над собой, чтобы под тяжестью теперешних переживаний найти поле для беспристрастного, спокойного рассуждения. Был ли он в самом деле, как полагали те, неспособен и недостойн быть писателем? И вполне искренне он ответил себе: Нет! Его книга была посредственна — это верно, но литературное творчество было ему необходимо. Его детские видения — короли, государственные люди, прекрасные и трогательные женщины в обстановке света и роскоши — по-прежнему жили в нем и искали воплощения. В сравнении с красотой этих мечтаний только презрения заслуживали насмешки глупцов. Он поклялся, что вопреки всем препятствиям, он будет писателем, самым великим из писателей.

Но этот год принес ему слишком сильные волнения. Его нервный организм не выдерживал. Остины, видя его подавленность, предложили ему провести в жизнь последние главы «Вивиана Грея» и проехаться с ними в Италию. Он с радостью согласился.

Месяц спустя он при свете луны плыл в Венеции по водам Большого канала; волны серебристого света затопляли дома мавританского стиля. В теплом воздухе звучали легкие обрывки серенад. Австрийская военная музыка играла на площади Святого Марка. Три громадных флага развевались на вершине пестрых пилястров. Д'Израэли нравилось, что в его комнате был мраморный пол, шторы из малинового атласа, позолоченные

стулья, потолок, расписанный Тинторетто, и что сама гостиница была когда-то дворцом Барберини, из рода которых происходило несколько дождей.

V

УЕДИНЕНИЕ

Путешествие успокоило душу, но тело оставалось слабым. Постоянные головные боли почти не давали работать. Врачи поговаривали о воспалении верхней оболочки мозга. Старик д'Израэли к этому времени решил расстаться с Лондоном и купил в Брэдэнхэме большой деревенский дом, расположенный среди лесов графства Бакс.

Юный инвалид нашел там приют. В этом чужом еще доме, сидя перед высоким камином среди раскиданной мебели и бесчисленных ящичков с книгами, он вместе с сестрой Сарой унял себе создавшееся положение.

Он дважды потерпел поражение. Мир, который он хотел схватить обеими руками, проскользнул у него между пальцами. Он еще одну тень прибавил «к царству теней, порожденному преждевременной развитостью». Но почему так? Он сознавал поражение, но хотел извлечь из него урок для будущего.

Прежде всего он был напыщен, высокомерен, эгоистичен, тщеславен в жизни так же, как и в романах!

«Да, но было ли это действительно недостатком? Всякий человек имеет право быть тщеславным до тех пор, пока он не добился своего. Байрон был еще тщеславнее и одержал победу. Да, но Байрон был Байрон. Великому поэту и человеку знатного происхождения скорее простят высокомерие!»

Рассуждение неправильное. Высокомерие тем необходимее, чем низменнее происхождение. Несмотря на поражение, он продолжал думать, что его дерзкая фантазия стоит большего, чем примерная корректность плоских болтунов и писателей, джентльменов в корсетах, вытянутых, как тросточки. Дендизм — единственная достойная манера поведения, и теперь, при неудаче, еще больше, чем когда-либо. Только можно было его сделать тоньше: выученная небрежность, может быть, окажется более подходящей, чем грубая напыщенность. Вопрос оттенков — не более.

Более важной ошибкой было то, что он хотел опередить ход жизни, взять успех с боя. Отец был прав, когда

предостерегал его, что нельзя в один день стать великим человеком. Как бы блестящи ни были его способности, он сознавал, что оказывался ребенком в те минуты, когда думал, что действует как вождь. Неспособный еще сам руководить, он должен был выбрать себе подходящих союзников, и вот в выборе их он и ошибся. Надо изучить людей, а особенно надо научиться обходиться без них. Но для этого надо было ждать... Терпение — первая добродетель, которую надо было приобрести. Терпение присуще ему в мелочах, но надо превратить минуты в годы. Это трудно, но это необходимо... Что еще? Он слишком много говорил, слишком рано привлек к себе внимание соперников. Надо научиться молчаливому умению хранить тайны, бесстрастию. Надо приобрести изысканное, вежливое высокомерие. Трудная комбинация, но она удерживает любопытных на почтительном расстоянии. Пока легкомыслие должно, может быть, остаться временной маской. Читать Реца, Ларошфуко, которые являются хорошими учителями в этой области. Читать и перечитывать все, что касается Наполеона. И никаких излишней, даже близким друзьям!

Если после того он переходил к ревизии своих финансовых дел, то положение тут было еще менее блестящим. «Вивиан Грей» доставил двести фунтов, но д'Израэли употребил их на то, чтобы оплатить Меррею брошюры о рудниках, которых разорившийся Ноуэлс не мог оплатить. Он не должен был этой суммы, но было особое кокетство в том, чтобы, будучи без денег, быть великолепно щедрым. Долги на бирже были улажены частью сбережениями его сотоварища, клерка Эванса, частью, и притом значительно большей, займами, произведенными у ростовщиков. Эти последние гнались за ним по пятам, как только он появлялся в Лондоне. Он их не боялся, напротив, ему даже нравилось заходить к ним. С маской деланной невинности на юном лице он начинал разговор с невероятных неловкостей, затем внезапно вывертывался от них ловким юридическим выпадом. Откровенно говоря, он даже благодарен был своим кредиторам за то, что они вносили некоторое разнообразие в его довольно монотонную жизнь. Впрочем, он решил выплатить все до последнего пенни. Как? Он еще ничего не знал, но не сомневался в том, что ему это удастся. Сара помогала ему сохранять веру в себя. Перед ней он не стеснялся фраз, полных такой

наивной гордости, что их не перенес бы спокойно ни один собеседник. Но Сара, не теряя бесстрастия, принимала их как символ веры.

Ему нравилось бродить вместе с ней по прекрасным окрестностям, окружавшим их новый дом. Его восхищал брэденхэмский парк. Из окна своей комнаты он видел широкие лужайки, окаймленные буками. Этот большой дом с барским въездом удовлетворял в нем какую-то неосознанную потребность.

* *
*

Приезжая в Лондон, он встречался кое с кем из друзей. По переписке он свел знакомство с молодым писателем, своим ровесником, Эдуардом Булвером, который вскоре после выхода «Вивиана Грея» еще с большим успехом дебютировал романом «Пелэм».

Булвер, как и д'Израэли, жил и писал как денди. Он был женат на прехорошенькой женщине, не имея никаких средств, вел роскошный образ жизни и принимал друзей в своем прекрасном доме на Гетфорд-стрит.

Приглашенный Булвером, д'Израэли явился в зеленых бархатных панталонах, канареечного цвета жилете, с кружевными манжетами и в туфлях с пряжками. Его внешность многих обеспокоила вначале, но когда вставали из-за стола, все приглашенные были согласны с тем, что самым остроумным собеседником за завтраком был человек в желтом жилете. Бенджамин со времени обедов у Меррея сделал большие успехи в области светских разговоров. Верный своему методу, он отмечал этапы: не говорить слишком много для начала, но если вы начали говорить, то вполне владейте собой; говорите сдержанным голосом и всегда смотрите на лицо, с которым разговариваете. Прежде чем быть в состоянии принять с некоторым успехом участие в общем разговоре, надо овладеть некоторыми незначительными, но занимательными сюжетами. Это нетрудно, если наблюдать и прислушиваться. Никогда не спорьте. Если кто-либо из собеседников несогласен с вами, сделайте поклон в его сторону и заговорите о чем-либо другом. Никогда не думайте о чем-нибудь в свете; будьте всегда настороже, начеку, иначе вы пропустите удобный случай или наделаете неловкостей. Разговаривайте с жен-

щинами столько, сколько хватит сил, — это лучший способ научиться говорить легко, потому что вам не надо обращать внимание на то, что вы говорите. Ничего нет полезнее для молодого человека, вступающего в жизнь, как если его слегка критикуют женщины.

В семействе Булвера он научился также тому, что представляет собой семейная жизнь литератора. Булвер был влюбленным женихом; он стал пренеприятным мужем, который сердился, как только жена появлялась в его заваленной бумагой берлоге. Прелестная миссис Булвер была небогата, и чета жила на заработок романиста; потому-то ему и приходилось много писать и работать сверх сил. Благодаря этому он был нервен и раздражителен, особенно с женой. По вечерам, чтобы отдохнуть и освежить голову, ему надо было видеть собратьев по профессии — друзей. Он приглашал их к себе или уходил из дома.

— Удивительно, — говорила миссис Булвер, — просто удивительно, как мне наскучили писатели!

Ее интересовали только собаки. Она звала мужа «Пупс», а он ее «Пудль». Все это, однако, не заполняло жизни. Бенджамин д'Израэли, человек романтический, но методичный, отметил в своем дневнике, что браки по любви могут быть губельны для любви.

Сам он работал в деревне. Деля день между лесом и своей комнатой, он написал два сатирических романа в духе Свифта или Лукиана и роман из светской жизни «Юный герцог». Это заглавие несколько шокировало мистера д'Израэли, который заметил Саре:

— Юный герцог!.. Но что Бен знает о герцогах?..

Сара резко отчитала отца. В действительности Бен ровно ничего не знал о герцогах, но ему доставляло удовольствие описывать царственно роскошные приемы, толпы лакеев в пурпуровых с серебром ливреях, столы, уставленные золотой посудой, бриллиантовые ожерелья на шеях женщин, играющие темными огнями наследственные сапфиры и рубины, изысканные меню, повозки, наполненные апельсинами и лимонами из оранжерей молодого герцога, овсянок, особенно овсянок, так как эта миниатюрная птичка вдохновляла Бена на целую поэму в прозе:

«Что за вкус! Такой странный... — Божественно! — Еще одну? — Ах, последуйте моему примеру. — Прощу вас! — Открывается рай! — Ах, если б я мог умереть под звуки нежной музыки, кушая овсянку!»

Было принято, чтобы денди был лакомкой. Это было еще одно надуманное проявление легкомыслия.

Кольбурн купил рукопись «Юного герцога» за пятьсот фунтов. Этой суммой удалось на время утихомирить ростовщиков. Успех книги был невелик. Но Сара писала:

«Чтение твоей книги вознаградило меня за долгие месяцы ожидания; это скажет тебе все, и ты знаешь, что сердце мое бьется только для твоей славы. Всюду, где мы бываем, у всех твоя книга в руках, и ее осыпают похвалами. Но я знаю, что ты не слишком ценишь успех среди родственников!»

Это было на самом деле одно из последних открытий Бенджамина. Он понял, какую абсолютно малую ценность представляет признание в кругу своей семьи. Но за отсутствием чего-либо другого он принимал и это.

Иногда он заходил в парламент и слушал там ораторов. Он судил их без всякого снисхождения:

— Мистер Пиль делает успехи, но у него нет стиля... Я слышал Каннинга — это был великий оратор, но во всем том, что он говорил, было всегда слишком много общих мест. В Палате лордов я восхищаюсь Герцогом. В нем есть какая-то угрюмая наивность в духе Монтеня. Это ново, странно и производит впечатление. Одно мне ясно: надо два совершенно различных стиля — для Палаты общин и для Палаты лордов. Если у меня хватит времени, то я в течение своей карьеры дам образцы обоих. В Нижней палате образцом должен быть для меня «Дон Жуан», в Верхней палате — «Потерянный рай».

Сходя с трибуны, он, взволнованный и мечтательный, старался вообразить себе, каково будет в один прекрасный день его собственное красноречие. Он мысленно слышал свои неотразимые аргументы, блестящее освещение деталей, тон особенно саркастический и полный горечи, который будет жечь как самум, блестящие остроумия, которые засверкают внезапно, как удары сабель, волны юмора, которые потопят и растворят тягучие и вялые речи деревенских джентльменов. Наконец наступит неотразимое заключение, которое вызовет долгие аплодисменты всех партий.

Он приходил в себя на оживленной, шумной улице; по мостовой весело бежали лошади, равнодушные про-

хожие задевали его; для каждого из этих англичан «д'Израэли» было только странное имя неведомого человека.

VI

ПАЛОМНИЧЕСТВО

В двадцать пять лет трудно обречь себя на долгое одиночество. Надо было подумать о блестящем возвращении в лондонское общество. Как это сделать? После долгих размышлений д'Израэли пришел к убеждению, что по многим причинам ему следует прежде всего предпринять большое путешествие.

Люди больших городов очень забывчивы. После нескольких месяцев отсутствия кто вспомнит о неудаче с журналом или о скандале с романом? Меррей и тот успокоится. Лорд Байрон ввел в моду поэмы, посвященные путешествиям, эпизоды которых связаны с этапами жизни самого автора. Пример, которому вполне можно последовать. В таких поэмах человек пользуется престижем виденных им стран. Наконец, д'Израэли чувствовал потребность погрузиться в страну, откуда вышли его предки. Еврейское происхождение было тяжелым препятствием в его карьере, но, может быть, в нем же была его сила. Во всяком случае было необходимо разобраться во всем этом. Потому-то он решил не следовать обычному маршруту — Франция, Швейцария, Италия, но отправиться непосредственно в Испанию, где долго жили его предки, потом через Средиземное море, Грецию, и Турцию совершить паломничество в Иерусалим.

Самым трудным оказалось получить разрешение от отца, которого шокировала мысль о двухлетнем путешествии сына. Но старика осаждали со всех сторон. Сара обручилась с молодым англичанином, другом Бенджамина, юным Уильямом Мередитом, который тоже хотел до свадьбы совершить большое путешествие и собирался сопровождать Бена. Мистер д'Израэли, предпочитавший мир победе, уступил, и в конце июня 1830 года молодые люди отправились. Д'Израэли был взволнован. Он любил Брэденхэм, старого джентльмена в бархатной шапочке, немного нелепую болтовню матери, долгие задушевные разговоры с Сарой, почтительное восхищение обоих младших братьев, Ралфа и Джима. Зачем покидать этот прелестный приют? Что ждет его в обшир-

ном мире, как встретят его англичане Гибралтара, Мальты, более англичане, чем англичане Лондона? Он сознавал свою чувствительность и легко уязвимое самолюбие. Он овладел собой. «Авантюры для авантюристов».

Начиная от Гибралтара — первого этапа его путешествия, он начал удивлять молодых офицеров разнообразием своих запонок и рассчитанной экстравагантностью своих словечек. Он был первым путешественником, который кичился тем, что у него была утренняя и вечерняя тросточка. Он менял их с необыкновенной точностью, как только наступал полдень. Впрочем, все это делалось по системе и с усмешкой над самим собой. Испания понравилась ему; белые дома, зеленые шторы, Фигаро на каждой улице, Розина на каждом балконе. При посещении Альгамбры он уселся на трон Абенсерахов с таким видом, что старая сторожиха спросила его, не потомок ли он мавров. «Это был мой дворец», — ответил он. Она поверила.

На Мальте — следующая остановка — появился соперник. То был англичанин Джеймс Клей, который побеждал весь гарнизон в игре в ракетку, принца Пиньятелли — на бильярде и русское посольство — в экарте. Человек бесспорно замечательный, но можно было бороться с ним и другим оружием. «Чтобы управлять людьми, — писал Бен отцу, — надо или побеждать их на их же поприще или презирать их. Клей делает первое, я второе, и мы оба одинаково популярны. Напыщенность, пожалуй, производит даже большее впечатление, чем ум. Вчера, когда я наблюдал за игрой в ракетку, к моим ногам упал мячик. Я поднял его и, заметив необыкновенно чопорного молодого офицера, смиренно попросил его перекинуть мяч игрокам, так как я никогда в жизни не бросал мяча. Этот инцидент был сегодня повсюду предметом разговора». Мистер д'Израэли качал головой. Почему его сын такой простой и естественный дома, делался в обществе таким фатом? Действительно, Бенджамин стал настолько всем на Мальте противен, что общество офицеров перестало приглашать «этого проклятого еврея-хвастунишку». Его это несколько не огорчило, и он отправился по городу делать визиты, нарядившись в андалузскую расшитую куртку и в белые шаровары с поясом всех цветов радуги. Половина города шла за ним следом, и почти на целый день затихла деловая жизнь.

В таком виде он рискнул явиться к губернатору, важному и холодному человеку, который при виде его расхохотался и принял очень благосклонно. Англичане, даже самые серьезные, любят экстравагантность из опасения скуки, такой могущественной среди них.

Д'Израэли уехал с Мальты одетый греческим пиратом, в кроваво-красной рубашке с большими, как шиллинги, серебряными пуговицами, с пистолетами и кинжалами за поясом, в красной феске, красных туфлях и широких ярко-синих шароварах, обшитых лентами и вышивками. Новая победа: знаменитый Джеймс Клей сопровождал его. С собой они увозили в качестве слуги Тита, прежнего гондольера лорда Байрона, восхитительного венецианца, который вербовал для поэта красивых девушек и зарезал для него двух или трех мужчин. После смерти Байрона он во главе полка албанцев сражался за греков, потом, сам не зная как, очутился на Мальте в большой нищете.

Д'Израэли буквально влюбился в турок, начал носить тюрбан, стал курить длинную в шесть футов трубку и целые дни проводил, развалившись на диване. Такая лень и любовь к роскоши гармонировали с беспечной и меланхоличной стороной его характера, которым западная активность помешала развиться, но не могла их совершенно убить. Мехмед-паша сказал ему, что он не настоящий англичанин, если способен так медлительно двигаться. Он полюбил толкотню восточных улиц, пестроту типов и костюмов, яркость красок, зов муэдзина, дикие звуки барабана, возвещавшие приближение каравана, декоративную торжественность верблюда, вслед за которым развеваются бурнусы арабов. Он чувствовал, что в этой обстановке утихает его честолюбие. Мир внезапно предстал ему в более глубоком и призрачном облике. Было такое ощущение, точно человек окунулся в феерию или в сказочный мир «Тысячи и одной ночи».

Впечатления стали более суровыми и значительными, когда, пересекши Сирию, он приближался к Иерусалиму. Без всяких усилий его настроение слилось с этими пустынными и выжженными солнцем местами. Он встретился с некоторыми племенами кочевников; шейхи приветствовали его и приняли в свои палатки. Их благородная простота, совершеннейшая изысканность их манер, природная вежливость восхищали его. Он с живой радостью представлял себе, что его предки

три тысячи, шесть тысяч лет тому назад были такими же вельможами пустыни. Могла ли какая-нибудь английская фамилия похвалиться такой вековой культурой?

Он пересек унылое плоскогорье. Ни ручейка, ни травинки, ни птиц. Только то там, то здесь вырисовывались на жгучем синем небе скрюченные силуэты оливковых деревьев. Почти неожиданно он оказался на краю мрачного обрыва; на верху противоположного гребня вырисовывались суровые каменные груды города, окруженного зубчатыми стенами, над которыми местами возвышались башни; окружающий пейзаж был до ужаса скуден. Этот город был Иерусалим; возвышенность, на которой находился юный пилигрим, была Елеонская гора.

В Иерусалиме он прожил самые волнующие дни своей жизни. Его экзальтация не знала меры. Он ходил на поклонение Гробу Господню. Он любил представлять себе Христа как молодого израильского князя. Он не понимал, как еврей мог не быть христианином. Это значило остановиться на полпути и отказаться от славы нации, из недр которой произошел спаситель мира. Он долго размышлял, стоя перед гробницами царей израильских. Еще ребенком он был захвачен историей одного юного еврея, Давида Альрои, который в XIII веке захотел освободить свой народ от власти турок. В те времена евреи, хотя и подпали под иноземное владычество, избирали еще сами своего правителя, носившего полный меланхолии титул «князя пленения». Альрои был одним из таких князей. А сам он, Бенджамин д'Израэли, сын того же народа, изгнанник в нежно любимой стране, не мог ли он стать тоже «князем пленения»?.. Здесь, в этом узком дворе, высеченном в скале, перед полуоткрытыми гробницами он дал себе слово написать историю Альрои и на следующий же день начал ее.

Он покинул Палестину, чтобы в Египте догнать опередившего его будущего зятя. Только что д'Израэли приехал, как Мередит, заразившись оспой, через несколько дней умер. Обратное путешествие было омрачено мыслью о горе Сары. На пароходе он заперся один в каюте и работал. Он вез с собой наброски двух книг. Одна была «Альрои» — его роман, посвященный истории еврейства, другая, «Контарини Флеминг», так же как и «Вивиан Грей», была историей жизни молодого

человека. Вивиан Грей отразил политическое честолюбие своего автора, Контарини Флеминг изображал молодого поэта, каким иногда мечтал стать д'Израэли. Он был доволен последней книгой. «Я всегда буду считать эту книгу, — писал он, — одним из лучших достижений английской прозы и ее шедевром».

Роман этот не был шедевром. Как и «Вивиан Грей», он начинался блестяще, потом запутывался в дебрях. Весь во власти своей собственной жизненной авантюры, д'Израэли в своих романах срывался так же, как и в своей деятельности. Но, как и он сам, Контарини не терял веры в будущее. «Я верю в судьбу, которой поклонялись древние. Современное благосостояние породило в душе человека дух скептицизма. Но я думаю, что в недалеком будущем наука вновь станет интуитивной и что по мере того, как мы будем делаться глубже, мы будем возвращаться к вере. Судьба — это наша воля, а наша воля — природа. Все тайна, но только раб может отказаться от стремления проникнуть в тайну».

Таково было восприятие мира, вынесенное д'Израэли из его поездки на Восток. Он увидел несметное разнообразие народов, множественность интересов. Он понял, как трудно узнать их, предвидеть, разобраться в них. Все тайна. Но он понял также, что, несмотря на бешеные удары волн, твердая рука может управлять ладьей. И еще он понял, что Бенджамин д'Израэли после тяжелого переезда приведет свою ладью к желанным берегам, лишь бы только у него достало смелости и твердости.

В Брэденхэм он вернулся в октябре. Уже осыпались листья буков. Мистер д'Израэли постарел; его утомленное беспрестанным чтением зрение слабело. Прекрасные мечтательные глаза казались померкшими. Сара, угрюмая и печальная, сказала брату, что никогда не выйдет замуж и ему одному посвятит свою жизнь. Только присутствие удивительного Тита несколько развлекало их. Привезя его с собой, д'Израэли очень им теперь тяготился. Но его отец был не из тех, кто мог оставить в нужде гондольера лорда Байрона. Он придумал для него какую-то не слишком определенную должность. Гигант венецианец с длинными усами, принявший последний вздох умиравшего поэта и слышавший его последние слова: «Августа... Ада...», без особого удивления и не утратив нисколько своего южного добродушия, поселился под сенью английского парка.

VII ДОКТРИНЫ

*Труба паровоза,
а не изображение королевы Виктории,
должна была бы быть выгравирована
на монетах ее царствования.*

Осберт Ситуэл

Во время всего своего путешествия Дизраэли (он решил теперь уничтожить частичку «д», придававшую его фамилии иностранный оттенок) много думал о жизни, об опыте прошлых лет, о своем будущем. Чем больше он размышлял, тем больше убеждался в том, что только блестящая карьера государственного деятеля даст ему настоящее счастье. Когда-то, когда он спрашивал себя, какую избрать дорогу, он прибавлял: «Писать? Действовать?» Теперь он знал, что литературная слава не утолит его честолюбия. «Поэзия — предохранительный клапан моего честолюбия, но я хочу воплотить в жизнь то, о чем пишу». Итак, никаких колебаний, путь намечен, он хочет стать членом парламента. Это было, однако, очень трудно. Избирательная система, созданная когда-то в интересах аристократии, давала возможность молодому человеку знатного происхождения в день своего совершеннолетия стать членом парламента. Для таких же, как Бенджамин Дизраэли, было почти немислимо попасть в парламент. Проблема, которую ставил себе в октябре 1831 года нетерпеливый молодой человек, была для него почти неразрешима. И вот почему.

Надо прежде всего различать депутатов графств и депутатов городов. Первые избирались мелкими арендаторами-землевладельцами, имевшими не менее сорока шиллингов дохода и собиравшимися для голосования в одном определенном для всего графства месте. Кандидат должен был не только, как и везде, купить голоса избирателей, он должен был перевезти их, устроить им помещение, кормить их. Не мешало также воздействовать на враждебно настроенных избирателей присутствием вооруженных отрядов, которые не давали бы им подходить к эстраде, где голосовали открыто. Все это стоило больших денег. В 1827 году на приобретение двух депутатских мест от Йоркшира было израс-

ходовано более 500 000 фунтов. Какой-нибудь Дизраэли, богатый только долгами, не мог оплатить чести стать депутатом от графства. Депутатами от графств были почти исключительно богатые вельможи, пользовавшиеся привилегией носить шпоры в зале заседаний. Особая воинственная эlegantность, в высшей степени желанная, но, увы, недостижимая, об этом нечего было и думать.

Едва ли легче было дебютанту незнатного происхождения стать депутатом от какого-либо города. Не все города имели своих представителей в парламенте. Те же, которые пользовались этим правом, были выбраны совершенно произвольно. При Тюдорах королевская власть наградила этим правом верные ей города. При Стюартах эта привилегия была сильно урезана, и список внезапно закрылся.

Таким образом большие богатые города были лишены представителей, в то время как еле влачившие жалкое существование, так называемые «гнилые», местечки избирали своего депутата. Были города, где избирательным правом пользовались только некоторые домовладельцы; подкупив эти несколько семей, местный вельможа обеспечивал себе все голоса. В других избирателями были все те, кто мог варить себе горячее... В третьих избирали мэра и корпорация, то есть пятнадцать—двадцать человек, не более. В Эдинбурге, огромном уже в те времена городе, был только тридцать один избиратель. Шеридан, кандидат от города Стаффорда, писал в своей приходо-расходной книге: «248 горожан по 5,50 фунтов = 1.302 фунтам». Богатый набоб, наживший в Индии громадное состояние, при помощи гиней боролся против местного богача-землевладельца. «Можно ли, — говорил лорд Ленсдаун, — порицать какого-нибудь медника, имеющего шестерых детей и которому предлагают за его голос шестьсот фунтов?» Многие стряпчие занимались тем, что объединяли избирателей в синдикат и отправлялись в Лондон, чтобы продать место в парламенте той партии, которая окажется наиболее щедрой. Эти, так называемые «открытые», города были открыты только для денег. Что же касается «закрытых» местечек, то они являлись как бы уделом местного помещика, и всякая борьба за депутатское место здесь была невозможна. Владелец распоряжался им в пользу сына или племянника. Родовитые семьи консерваторов или либералов также имели в запасе по несколь-

ко «карманных местечек» для распределения между молодыми членами партии, которым надо было облегчить их политические дебюты.

Наконец, министерство имело в своем распоряжении несколько округов, где только принадлежащая государству недвижимая собственность пользовалась правом голоса, в других же оно скупало голоса избирателей путем каких-либо льгот или раздачей должностей. Присоединив эти, так называемые казначейские, округа к тем, которыми распоряжались влиятельные консерваторы, можно было с уверенностью сказать, что две трети Палаты общин без всякой борьбы назначались министерством. Поэтому ничего удивительного не было в том, что в продолжение сорока лет тори стояли у власти, и трудно было представить себе, кто и как мог их лишить ее.

Впрочем, начиная с 1815 года в стране нарастало недовольство. Мир, открывший иноземным купцам доступ в Англию, повлек за собой промышленный кризис, разорение ремесленников и понижение заработной платы. Население городов обвиняло во все растущей дороговизне жизненных припасов консервативное министерство, являвшееся представителем мелких землевладельцев и поддерживавшее поэтому протекционистские «хлебные законы». Особенную же вину в народных бедствиях возлагали на существовавшую избирательную систему. Виги сумели основать на этом недовольстве свою предвыборную платформу и стали во главе движения, требовавшего расширения избирательных прав. Правда, им можно было бы возразить, что в те времена, когда они были у власти, они систему «карманных» и «гнилых» местечек считали прекраснейшей избирательной системой, но избирательная реформа была сейчас в моде, в ней видели спасение от всех бед. «Все молодые девицы, — говорил Сидней Смит, — думают, что, как только пройдет новый закон, они немедленно выйдут замуж, школьники ждут, что отменятся латинские глаголы и подешевеют сладкие пирожки, капралы и сержанты уверены в увеличении окладов, плохие поэты рассчитывают, что начнут читать их поэмы, а дураки будут разочарованы, как, впрочем, всегда и везде».

Ко времени возвращения Дизраэли из путешествия движение в пользу реформы дошло до открытых волнений. Легко было предвидеть, что правительство будет вынуждено пойти на перевыборы. Был как раз под-

ходящий момент, чтобы добиться избрания. Но как? И где? Правда, было местечко Уайкомб, расположенное по соседству с Брэденхэмом, где у семьи Дизраэли были друзья, поставщики. Но Уайкомб был «карманным» местечком их соседа, лорда Каррингтона, который едва ли благосклонно отнесется к новому кандидату.

И к тому же, под какой политической фирмой следовало явиться этому кандидату?

* *
*

Дизраэли в юности много читал и изучал историю происхождения обеих крупных партий, оспаривавших друг у друга власть. Это происходило во времена революции 1688 года, свергнувшей владычество Стюартов, когда враги династии, знатные вельможи, завидовавшие королевской власти, или шотландские пуритане, враждебно настроенные к господствующей церкви, получили ироническое прозвище вигов — сокращение от слова «вигаморы» (группа крестьян, восставших на западе Шотландии).

Прозвище обозначало, следовательно, «мятежников»), врагов короля. Сторонники короля, в свою очередь, получили от своих противников-пуритан кличку тори. Так назывались в Ирландии разбойники. Примененная к сторонникам короля, эта кличка обозначала, что они являются не кем иным, как папистами, столь же презренными, как ирландцы. Как случается часто, оба принятые с гордостью прозвища постепенно стали боевыми кличками.

С династией Стюартов исчезало то, что реально разделяло обе партии. Но партии переживают то, чему они первоначально служили. В некоторых знатных семьях, происходящих от предков-мятежников, сохранились традиции вигов, то есть традиции независимости, оппозиции королевской власти, союза с диссидентскими религиозными сектами, часто также традиции искреннего либерализма. В то же время подавляющая масса мелкопоместного земельного дворянства оставалась верна партии тори, консерваторов, преданных королю и господствующей церкви.

Французская революция, затем наполеоновские войны, тесно связавшие в представлении английского народа идеи либерализма и гильотины, на долгий срок передали власть в руки консервативной партии. До

1815 года виги не пользовались никаким влиянием. Потом мир вновь разбудил способность критически мыслить, а вместе с тем породил промышленный кризис и недовольство, и партия, требовавшая реформы, начала крепнуть. До 1830 года популярность вигов постепенно возрастала. Со времени Июльской революции во Франции она стала неотразимой. Герцог Веллингтон, лидер консерваторов и после Ватерлоо любимый герой английского народа, видел, как лондонские толпы бросали камни в его окна. Популярная легенда обвиняла старого воина в сообщничестве с Полиньяком и подозревала его в желании произвести государственный переворот. В Лондоне, в Бирмингеме были подняты трехцветные знамена. В деревнях крестьяне сжигали скирды вельмож. Десять тысяч рабочих осаждали Сент-Джеймский дворец. Английские епископы, в Палате лордов голосовавшие против реформы, были освистаны и не решались больше показываться на улицах. Маленький лорд Джон Рассел, лидер вигов-реформистов, был кумиром народа. С восхищением повторяли его фразу: «Когда меня спрашивают, дорос ли тот или другой народ до свободы, я отвечаю: а есть ли в мире человек, доросший до того, чтобы быть тираном?..» Когда он проезжал где-нибудь, целые селения выстраивались шеренгами, чтобы приветствовать его.

Словом, если разобраться во всем, то казалось, что каждому кандидату в парламент в 1832 году было выгодно стать вигом. Но семейство д'Израэли было издавна приверженцами консерваторов. В прошлом тори были сторонниками Стюартов, столь любезных сердцу мистера Исаака д'Израэли. Он всегда внушал сыну, что виги были только олигархами, взбунтовавшимися против мученика-короля.

К тому же молодой Дизраэли не склонен был умиляться либерализмом вигов. Ему казалось, что в новом законе об избирательном праве все очень искусно построено, чтобы дать право голоса классу торгашей, промышленников, холодных и расчетливых людей, естественных сторонников вигов в их борьбе против консервативных землевладельцев. Меньше всего, думал он, заботились о том, чтобы услышать голос подлинного народа. Ему не нравился этот союз циничных вельмож и алчных промышленников.

Модной среди вигов и их союзников доктриной был утилитаризм, порожденный своего рода антироманти-

ческой реакцией в средних классах. Эти классы слишком хорошо видели, к чему приводят поэзия и чувства, какие беспорядки мог произвести во Франции Руссо, какой скандал мог вызвать Байрон. Изобретение паровой машины, механических станков, чудесное развитие железных дорог и английских рудников внушили им страстную веру в материальный прогресс. Новая наука, политическая экономия, научила их тому, что отношения между людьми не являются моральными отношениями, долгом, но управляются столь же точными и неизбежными законами, как закон падения тел или движения небесных светил. Закон спроса и предложения стал их евангелием, локомотив — их божеством, а Манчестер — их священным городом.

Дизраэли, певец громадных парков, цветущих садов и сверкающих домов, ненавидел этот запах угля. Политическая экономия для него была скучна: он не хотел верить тому, что люди, живые люди с выразительными лицами, его герои — Рец, Наполеон, Лойола — были осуждены на то, чтобы соединяться подобно атомам с целью производить возможно более дешевые хлопчатобумажные ткани в возможно более богатой стране.

К тому же приняли ли бы его к себе виги? Их либерализм не простирался до выбора их друзей, и любовь к свободе была для них монополией рода. Можно было в случае необходимости и сделаться тори, но надо было родиться вигом. Государство, управляемое вигами, — это — думал Дизраэли, весь полный еще венецианскими историями, — король, преображенный в дожа и сопутствуемый Советом десяти.

Может быть, надо было примкнуть к консерваторам? Но не значило ли это в двадцать лет усвоить устарелые воззрения, подчиниться лидерам, которым толпа шикала на всех перекрестках, принять на себя тяжесть обвинения за ошибки, совершенные в течение пятидесяти лет, осудить себя на отказ от всяких реформ, даже самых благоразумных. Не лучше ли было бы, следуя примеру Булвера, присоединиться к радикалам и, опередив вигов, быть готовым к тому, чтобы бороться с ними их же оружием. Виг. Тори. Радикал. Ах, как труден выбор! Самое простое было бы добиться депутатского места через какого-нибудь доброжелательного вельможу. Это не было невозможно. Но для этого необходимо было, чтобы его узнали те, кто распоряжался этими местами, и прежде всего проникнуть в политические круги. По-

литические же круги в Англии 1831 года смешивались в одно с высшим светом. Дорога в парламент шла через салоны. Там надо было понравиться. Там надо было встречаться на обедах с герцогом Веллингтоном, с сэром Робертом Пилем — лидерами тори; с лордом Мельбурном и лордом Джоном Расселом — вождями виггов; с лордом Дэргемом — вождем радикалов. Вокруг обеденного стола, среди хрусталя, отражающего нежные отблески света, среди прелестных женщин, оживляющих улыбками деловые разговоры, — вот где надо встречаться с теми, кто держит в своих руках власть.

Итак, еще немного легкомыслия для того, чтобы завоевать право быть серьезным.

VIII

ЛОНДОН ПОКОРЕН

*Оказалось, что я очень ловок,
о чем я не подозревал до сих пор.*

(Из письма Дизраэли).

Отсутствие сделало свое дело. Теперь в Лондоне ничего не знали о молодом Дизраэли, кроме того, что он талантлив, красив, одет с забавной причудливостью, что он недавно вернулся с Востока и может рассказать о нем немало любопытного. Недоставало только первого приглашения, чтобы посыпались другие — нужные и лестные. Оно было получено, как и следовало ожидать, от Эдуарда Булвера.

Булвер, такой же честолюбец, как и Дизраэли, но имевший большое преимущество — знатное происхождение, шагнул за эти два года дальше своего друга. В прежнее время, когда они издавали один «Вивиана Грея», другой «Пелэм», они, казалось, начинали карьеру с равными шансами на успех. Но Булвер лучше распорядился своей юной славой. В апреле 1831 года он прошел в парламент, где стал заседать на стороне крайних радикалов; книги его завоевали популярность; он сделался редактором крупного журнала.

Но за внушительным положением скрывались большие домашние неурядицы. Успех был достигнут невероятным трудом, и в жертву было принесено все, главным образом миссис Булвер. Бедная «Пудль» чувство-

вала, что навсегда теряет своего «Пупса». Когда они оставались вдвоем (а это случалось нечасто), она начала жаловаться. Впрочем, на вид брак казался дружным.

Через несколько недель после приезда Дизраэли получил от Булвера письмо. «Мой дорогой Дизраэли, — писал он, — если мне не удалось первому приветствовать Ваше счастливое возвращение, то позвольте мне сделать это не совсем последним. Я узнал о Вашем приезде от нашего общего друга и издателя Кольбурна: «Знаете, молодой Дизраэли опять здесь, — сказал он мне. — Не даст ли он нам легкую и интересную статью о своем путешествии». Мы с Вами еще поговорим об этом... Сегодня утром миссис Булвер, выражаясь языком благовоспитанных людей, подарила мне сына. Следовательно, у меня есть предлог извиниться за мое короткое письмо, но прошу Вас написать мне и сообщить, как живете».

Несколько недель спустя Дизраэли нанял себе холостую квартиру на Дьюк-стрит. Сара, зная, что брат не может жить без цветов, послала ему из Брэденхэма несколько горшков герани, с любовью выращенной. Вскоре он обедал у Булверов. Дом и стол блистали величественной и нелепой роскошью. На коленях у миссис Булвер, красивой и нарядной, как никогда, сидела собачка «не больше райской птицы и почти такая же ослепительная». Шампанское пили из бокалов в форме чаш. Дизраэли никогда не видел ничего подобного, и все это показалось ему необыкновенно утонченным. Общество было достойно убранства: блестящие имена, блестящие красавицы, блестящие таланты. Больше всего любовался Дизраэли очаровательной миссис Нортон, одной из внучек Шеридана, и графом Альфредом д'Орсеем, только что приехавшим в Лондон и уже завоевавшим славу законодателя лондонских денди, — совершенно исключительный случай для француза.

Многие дамы потребовали, чтобы им был представлен автор «Юного герцога» и «Вивиана Грея». Особенно настойчива была одна, миссис Уайндхэм Льюис. «Это маленькая хорошенькая женщина, — рассказывает Дизраэли, — любящая пофлиртовать и страшно болтливая, причем ее болтливость нечто непревзойденное и совершенно не поддается описанию. Она заявила мне, что любит меланхоличных и молчаливых мужчин. Я ответил, что нисколько в этом не сомневаюсь».

Он добился приглашения к миссис Нортон. Дизраэли ей понравился. Он говорил немного, но блестяще, а она как раз искала интересных собеседников. У англичан того времени была привычка в каждой фразе заменять сказуемое жестом. Изысканная и совершенная речь молодого человека выделялась среди этого модного лепетания.

* *
*

Он явился к Каролине Нортон в черном бархатном фраке, в темно-красных, расшитых золотом панталонах, в алом жилете, сверкая кольцами поверх лайковых перчаток.

Нортон занимали в Сторей-грейт такую маленькую квартиру, что в гостиной почти ничего не помещалось, кроме большого дивана. Белые муслиновые занавески украшали окна, а за ними был уставленный цветами балкон. С этого балкона Каролина Нортон каждое утро приветствовала своего знаменитого друга, лорда Мельбурна, проходившего мимо в парламент. Рассказывали, что сам Нортон смотрел сквозь пальцы на их сентиментальную дружбу, так как считал ее выгодной.

Крохотная гостиная была битком набита политическими деятелями, знаменитыми писателями и в полном смысле слова озарялась необычайной красотой внучек Шеридана. В одном из кресел сидела их мать, о которой говорили, что она все еще красивей всех женщин в мире, если не считать ее дочерей. Их было три: хозяйка дома — миссис Нортон, миссис Блэквуд и самая прекрасная из них — леди Джорджина Сеймур, затмевавшая красотой даже сестер. У миссис Нортон были черные волосы, уложенные косами вокруг головы, прекрасный греческий профиль, обворожительная привычка краснеть. Если в разговоре ее затрагивала какая-нибудь фраза, внезапно розовое пламя смешивалось с чуть оливковым тоном лица, алело одно мгновение и потом исчезало. Глаза и губы были ослепительны, словно драгоценные камни — алмазы, рубины, сапфиры. Леди Сеймур была совсем в другом роде: лицо у нее было бледное, перламутровое, глаза сияли мягким блеском, как водоемы при лунном свете. Когда кто-нибудь говорил миссис Нортон о том, какое впечатление производят все эти красавицы, она оглядывала с нежной и ясной улыбкой миниатюрную гостиную и свою блес-

тящую родню, а потом отвечала: «Да, пожалуй, мы недурно выглядим».

Беседа с миссис Нортон совсем очаровала Дизраэли. У нее была восхитительная манера говорить о каком-нибудь вздоре, скромно опуская длинные и густые ресницы.

«Вчера обедал у миссис Нортон, — пишет он Саре. — Были именины старшего брата, «который, сказала она, один только солидный человек из всей нашей семьи, да и то потому, что у него болезнь печени». Сестра, миссис Блэквуд, тоже очень хороша и вся в Шериданов. Она сказала мне, что ничего собой не представляет, «потому что, видите ли, Джорджина — красавица, Кэри — умница, а я должна была бы быть воплощенная доброта, но у меня к этому нет никаких способностей». Должен сознаться, что она мне бесконечно понравилась. Кроме того, она знает наизусть все мои книги и может повторять целые страницы из «Вивиана Грея» и «Юного герцога».

Три грации из семьи Шеридана внесли много очарования в жизнь молодого писателя. Все три они были вполне свободны. Миссис Нортон в восторге, что избавилась от невыносимого мужа, с удовольствием позволяла Дизраэли сопровождать ее в театр и на балы. Ему тоже нравилось появляться с ней.

Лондон того времени был похож на картины Ватто. Обеды, балы, пикники на реке. Дизраэли попевал всюду. Он умел позабавить, привлекал красивых женщин, только что вернулся из путешествия. Его стали приглашать. «Я легко пробиваю себе дорогу в самые изысканные гостиные, где не завидуют и не хитрят, но любят восхищаться и повеселиться». Стол «Диззи» (так прозвал его Майфер) был завален завидными приглашениями. Было приятно принимать их. В обществе этих блестящих, остроумных, приветливых людей он чувствовал себя гораздо больше на своем месте, чем среди мещанской обстановки своего детства. Он восхищался непринужденной и смелой грацией женщин и молодых лордов. Все они были воплощением его грез: белокурые юноши, ослепительные, великолепные англичане и прекрасные породистые англичанки. Ему нравилась роскошь особняков, красота цветов, блеск женщин. Его черствая гордость таяла, таяла хотя бы с виду. Он становился доверчив. Жил в лихорадке радости. «Хотелось бы мне, — писал ему отец, — чтобы ты смог

написать письмо поспокойней». Но Бен был неспособен писать спокойные письма. Его опьяняла красота жизни.

Интерес к истории толкал его в общество стариков. Одним из его лучших друзей была старая леди Корк, устраивавшая у себя приемы каждый вечер, несмотря на свои восемьдесят семь лет. Это была самая миловидная и самая веселая из всех старушек. Герои и героини ее юности, зрелости, старости, фавориты, военные, поэты — все уже исчезли, она успела повидать революции во всех странах света; помнила то время, когда город Брайтон был рыбацкой гаванью, а Манчестер — деревней; но она оставалась все той же, любопытной, веселой, жадной до развлечений и до всего нового. Найдя, что молодой Дизраэли умен и любознателен, она помогла ему своей всемогущей протекцией. «Послушай хорошенькую историю, — пишет он Саре. — В понедельник лорд Каррингтон явился к леди Корк с визитом.

Леди Корк. Вы знаете молодого Дизраэли?

Лорд Каррингтон. Гм! А что? А?

Леди Корк. Как, а что? Он ваш сосед, правда?

Лорд Каррингтон. Вернее, его отец.

Леди Корк. Знаю, его отец один из моих лучших друзей. Я без ума от семьи Дизраэли.

Лорд Каррингтон. Молодой человек очень странная личность. Мне нравится отец. Он спокоен и приличен.

Леди Корк. Почему вы считаете молодого человека странным? Просто, я думаю, вы неспособны его понять.

Лорд Каррингтон. Он какой-то беспокойный. Впрочем, он сейчас никому особенно не надоедает. Он всегда в отъезде. Кажется, опять за границу.

Леди Корк (буквально). Ах, вы старый чудак! Он только сегодня прислал мне вот эту книгу. Не смотрите ее, пожалуйста, вы все равно не поймете. Это лучшая, которая когда-либо была написана. За границей! Он здесь. Во всем Лондоне не найдется человека такого хорошего тона. Ни один удачный вечер не обходится без него. Герцогиня Гамильтон называет его несравненным, леди Лаунсдэйл готова ручаться за него своей головой. Он и обедать бы у вас не стал, если бы вы его пригласили. Он ценит человека не за то, что он лорд. Он ищет или изящество, или красоту, или ум, а вы, конечно, очень милый человек, но и только.

Старый лорд отнесся к этому добродушно и только посмеялся. Леди Корк прочла мою последнюю книгу от первой до последней страницы. И я не сомневаюсь

в искренности ее похвал, так как она купила на целых семнадцать шиллингов алого бархата и ее горничная сейчас переплетает книгу».

Рассказано все это специально для Сары; было бы неосторожно поверить всему полностью. Семья мирилась с тем, что, описывая свои успехи, Бенджамин немного сгущал краски; он и сам понимал, что Сара, читая письма, принимает во внимание фантазию своего Бена. Но он чувствовал себя увереннее, прикрашивая удачу.

По вечерам вся английская аристократия собиралась в Олмэксе — подобии закрытого клуба, где можно было потанцевать; этот клуб был под покровительством самых светских дам и отличался самым суровым уставом. Посетителей впускали туда только в шелковых чулках и в штанах до колен. Когда герцог Веллингтон захотел проникнуть в клуб в другом костюме, швейцар, подойдя к нему, сказал: «Ваша светлость не может быть допущена в панталонах»*. Герцог, привыкший к военной дисциплине, ушел без возражений. Дизраэли стал завсегдатаем в Олмэксе. Там часто устраивались браки; ему предлагали блестящих невест. «Не хотели бы вы, — спрашивает он сестру, — назвать своей невесткой леди З., очень умную, с приданым в двадцать пять тысяч ливров и очень кроткую? Что касается любви, то все мои друзья, женившиеся по склонности, или бьют своих жен, или уже развелись с ними. Это истинная правда. Я, может быть, наделаю много глупостей в жизни, но никогда не женюсь по любви, так как уверен, что это принесет мне одно несчастье».

* *
*

За благосклонностью женщин последовала, хотя и не так скоро, дружба мужчин. Некоторые из них стали его приглашать на обеды, устраиваемые в честь политических деятелей; этого-то он и добивался больше всего. Однажды вечером, обедая у лорда Эллиота, он очутился за столом рядом с сэром Робертом Пилем, знаменитым вождем партии тори. Все присутствовавшие, казалось, испытывали радость. Дизраэли смотрел с жадным лю-

* Непередаваемая игра слов: по-французски короткие (старомодные) штаны называются culotte, а длинные — pantalone. — *Прим. перев.*

бопытством на сурового и могучего человека, которому судьба расточала с самой юности все то, о чем страстно мечтал Дизраэли.

Сын крупного фабриканта, обладатель одного из семи крупнейших капиталов Англии, Пиль с детства был воспитан так, чтобы стать первым министром. В пять лет его ставили на стол и заставляли говорить речи. Он вышел из Оксфорда с «двойной наградой» (редкий случай) по классической литературе и по естественным наукам. Когда ему исполнилось двадцать лет, отец купил ему место в парламенте. В двадцать три года он был государственным секретарем. Одно время его упрекали в неблагодарности по отношению к Каннынгу, которого, несмотря на прежнюю дружбу, он жестоко преследовал до самой его смерти, но потом в политических кругах об этом забыли, и теперь, в сорок три года, он пользовался исключительным уважением даже со стороны противников. Он был символом английской честности и солидности. Все восхищались его высоким ростом, чисто римской четкостью профиля, мирились с тем, что он высокомерен и холоден. Дизраэли, подметив в нем несколько нервных жестов, указывавших на болезненную чуткость, естественную, впрочем, в человеке, привыкшем властвовать, понял, что с министром, вероятно, не легко ужиться. Но в этот вечер Пиль решил, по-видимому, произвести приятное впечатление, обращался с молодым человеком с несколько снисходительной фамильярностью и шутил, не роняя своего достоинства; он был далек от мысли, что его незначительный собеседник примеривался, как он будет вести себя, когда тоже станет великим человеком.

Иногда Дизраэли думал: «Действительно ли стоит стремиться в парламент? Моя жизнь, полная удовольствий, беззаботности и литературной работы, изумительно приятна. В сущности я склонен к бездействию, как все те, у кого большое воображение. Мне хочется отдыхать, веселиться, мечтать о бурном прошлом, улыбаться безмятежному «сегодня». Увы, я веду борьбу только из гордости. Да, гордость, а не честолюбие толкает меня вперед. Обо мне не посмеют сказать: «ему не повезло».

Однажды, когда он поделился этими мыслями с Булвером, последний повернулся к нему, взял его за руку и сердечно сказал: «Правда, мой дорогой, мы жертвуем молодостью, временем удовольствий, сверкающими годами радости... Но мы должны продолжать, должны.

Вот бы обрадовались наши враги, если бы мы ушли со сцены!»

Да, конечно, необходимо было продолжать, но когда вечер был восхитителен, когда после бала молодой человек возвращался ночью по Лондону, сверкавшему огнями сквозь туман, когда прелестная женщина дольше, чем надо, пожимала на прощанье руку, он говорил себе, что честолюбие — тщета и безумие, что эта пустая жизнь — не маска, надетая на время, а сама истина и сама мудрость и что он хотел бы вечно лежать у ног трех внучек Шеридана, как дерзкий и нежный паж.

IX

НЕЗАВИСИМЫЙ

*Прощайте, дорогой лорд.
Вы показали мне самое прекрасное зрелище,
какое можно увидеть на островах:
вельможу у себя дома,
в лоне семьи.*

Дизраэли

В июне 1832 года в Палате лордов был поставлен на голосование новый избирательный закон. Лорды до последней минуты надеялись, что им удастся ему воспрепятствовать. Они даже геройски свергли кабинет вигов, но, как только Веллингтон попробовал сформировать свое министерство, страна возмутилась. Церкви забили в набат. Работа везде стала. Лорд Стэнли, самый блестящий из молодых вигов, вскочил на стол и заявил: «Если лорды вздумают сопротивляться, его величество найдет кому раздать короны пэров из толпы своих придворных». Стены покрылись афишами с призывами к англичанам взять свои вклады из банков.

Английский банк был единственной национальной организацией, к которой относились с большим уважением, чем к герцогу. Бунт вкладчиков оказался сильнее бунта лордов. Герцогу Веллингтону осталось только scomандовать: «Милорды, полуоборот направо, марш!» Сторонники реформы победили; выборы, которые должны были происходить по новому способу баллотировки, могли только подтвердить победу. Разгром тори был очевиден.

Можно себе представить, с каким интересом такой человек, как Дизраэли, должен был следить за важны-

ми событиями. В период смятения, казалось, было легко обеспечить себе место в парламенте.

Как только реформа была принята, он уехал в Уайкомб, городок по соседству с именем его отца, и начал знакомиться с избирателями. Избирательный округ был в руках вигов, и Дизраэли именно ждал случая выдвигнуться как радикал. В глубине сердца он все больше и больше сочувствовал тори; ему казалось, что старая партия помещиков, дворян-фермеров полна живописного величия, которого другие не могли достичь. Он подружился с некоторыми из них. В своем графстве Бакс он был хорош с герцогом Бэкингемом, и особенно с его сыном, лордом Чандосом, людьми благородного сердца и безудержного великодушия. Старый герцог разорился, устроив слишком пышный прием французской королевской семье, и уже два года ради экономии жил на своей яхте. Это все было как раз то, что обычно нравилось Дизраэли.

Кроме того, он бывал в восторге каждый раз, когда попадал в общество дворян-помещиков. «Изумительные ослы», — говорил он. Он называл их так без всякого презрения. Наоборот, с завистью. Он восхищался их силой, твердостью, но боялся на них опереться. Они устарели, нация не хотела их, тут ничего нельзя было сделать. Напротив, он шел к цели, запасшись рекомендательными письмами, добытыми Булвером от таких знаменитостей, как Юм и страшный ирландец О'Коннел. Больше того, Булвер приложил все усилия, чтобы против Дизраэли не было выставлено никаких других кандидатур, но это не удалось: видные члены партии вигов недолюбливали эксцентричного и крикливого молодого человека, более известного своими жилетами, чем преданностью реформе. Он был довольно хорошо принят в графстве партией тори, во-первых, потому, что тори, сами не имея шансов пройти в парламент, предпочитали видеть там хотя бы независимого, во-вторых, потому, что им была известна преданность старого Исаака д'Израэли партии тори. Противники Бенджамина объявили, что он переодетый тори; на это он отвечал: «Если есть кто-нибудь, напоминающий переодетого тори, то это — виг, стоящий у власти».

Местные выборы были назначены благодаря чьей-то неожиданной отставке на несколько недель раньше срока, так что они происходили по правилам старого избирательного закона. При этих условиях город не распо-

лагал более чем тридцатью избирателями. Министерство официально предложило кандидатуру полковника Грея, сына первого министра. «Казначейство, — писал Дизраэли миссис Остин, — прислало полковника Грея с его избирателями и с оркестром. Никогда не приходилось мне видеть более плачевного провала. После того как они все продефилировали по городу под оплаченные крики приветствий, Грей с высоты своего фаэтона пролепетал десятиминутную речь. Весь Уайкомб высыпал наружу. Чувствуя, что наступил критический момент, я вскочил на крыльцо гостиницы «Красный Лев» и закатил им речь в течение часа с четвертью. Не могу Вам описать ее эффекта: я свел их всех с ума. Многие буквально плакали. Все женщины за меня и носят мои цвета: белый и розовый. Носите и Вы их».

Увидев на балконе «Красного Льва» бледного молодого человека в черных локонах, в кружевных манжетах, который держал в руке трость с золотым набалдашником и, прежде чем начать речь, заботливо поправил себе локоны, обитатели Уайкомба подумали, что услышат от него детский лепет, но, когда изумительно мощный голос загредел на всю улицу, произнося красноречивую и саркастическую речь, громко и страстно обличающую вигов, Уайкомб был охвачен волнением и энтузиазмом. Дизраэли же опьянел от впервые испытанной радости чувствовать свою власть над толпой, прислушиваться к собственным словам, восхищаться стройными и мощными фразами, в нужную минуту внушаемыми оратору божественным вдохновением. «Когда баллотировка пройдет, — заключил он свою речь, указывая на хвост льва, украшавшего крыльцо дома, — мой противник будет там, а я, — он указал на голову льва, — здесь». Обитатели Уайкомба никогда не видели своего старого льва в рамке такой пышной фразы.

В день выборов Дизраэли сказал еще одну речь. Он заявил, что не принадлежит ни к одной партии, тори поддерживают его, но еще раньше его поддерживал народ; он стремится улучшить жизнь бедняков (фраза, редкая для предвыборных речей в Англии того времени, так как неимущие не имели права голоса); он сам — из народа, и в жилах у него нет ни капли крови Тюдоров или Пантагенетов.

Вслед за этим тридцать два избирателя Уайкомба вошли один за другим на трибуну и заявили о том, кого они выбирают депутатом; вскоре сообщили результат.

Робкий и косноязычный полковник получил двадцать голосов, а блестящий оратор «Красного Льва» только двенадцать. Ему не пришлось уподобиться львиной голове.

Он опять поднялся на трибуну и сказал: «Хорошо, виги победили меня, они в этом раскаются». Но он был печален и разочарован.

* *
*

В октябре были объявлены расширенные выборы, и Дизраэли вернулся в Уайкомб. Опять он рекомендовал себя как независимого. «У меня нет партии, мне нет дела до партий... Англичане, избавьтесь от политического жаргона. «Виги», «тори» — у этих наименований только один смысл: желание вас обмануть. Соединитесь, чтобы создать одну большую национальную партию, только она спасет страну от неминуемой гибели».

Консерваторы, по совету лорда Чандоса, как и в первый раз, сохранили по отношению к Дизраэли благожелательный нейтралитет. Дизраэли, кандидата со стороны радикалов, упрекнули за эту поддержку. «Я, — ответил он, — консерватор постольку, поскольку хочу спасти все, что есть хорошего в нашей конституции, и вместе с тем я радикал, поскольку хочу уничтожить в ней все плохое». Он счастлив, заявил он, что хотя бы в одном избирательном округе тори возвращаются к великой традиции своей партии, которая некогда с такими людьми, как Болингброк, была партией всего народа. Старались вырвать у него какие-нибудь демагогические заявления о хлебном законе, но он разумно отвечал: «Если уничтожить право протекционизма, придется распрощаться с нашим богатым графством. Вы можете меня спросить, хорошо ли держать все время хлеб в такой высокой цене? Нет, но лучше иметь дорогой хлеб, чем не иметь его вовсе». Эта практичность не была вознаграждена: Грей получил 140 голосов, Дизраэли — 119. Виги праздновали головокругительную победу во всей Англии: они получили такое большинство голосов, что казалось, что эта партия надолго останется у власти. Пропустив и этот случай, Дизраэли видел, что ему долго еще придется ждать второго.

Некоторое время спустя, когда собрался новый парламент, он пошел послушать своего друга Булвера, вы-

бранного вторично; вечером он писал Саре: «Булвер говорил речь; физически он совсем не годится для роли оратора и, несмотря на все свои усилия, не будет иметь успеха... Маколей изумителен... Но, между нами, я бы их всех заткнул за пояс. Говорю это, конечно, только Вам. Если я в чем-нибудь уверен, так это в том, что смог бы повернуть все по-своему в Палате. Мое время придет».

У себя в дневнике он отмечает: «В обществе считают, что я слишком самоуверен. Они ошибаются. Все промахи моей жизни проистекали из того, что я жертвовал своими убеждениями в пользу чужих. В те минуты, когда со стороны казалось, что я особенно доволен собой, я нервничал и только иногда чувствовал приступы веры в самого себя. В будущем я буду всегда руководиться только своим инстинктом: он никогда меня не обманывал... Я велик, только когда действую. Если я когда-нибудь действительно займу высокое положение, я докажу это. Я смог бы руководить Палатой общин, но на первых порах против меня стали бы бороться, используя предрассудки».

* *
*

Когда-то, после неудачи с журналом, его потянуло написать роман; теперь — после двух политических неудач — ему захотелось создать поэму. Он отправился в Брэдэнхэм, заперся там в своей комнате, иногда бродил один по парку в тени буков и обдумывал сюжет поэмы. Это был тот самый сюжет, который пришел ему однажды в голову во время путешествия по Востоку, когда он любовался долиной Трои. «Гомер... — сказал он себе. — А почему бы не написать такой же великой поэмы, как поэмы Гомера?» На языке Дизраэли это означало: «А почему бы мне не написать?» Все дело было только в сюжете, подходящем для современной эпопеи.

Было совершенно очевидно, что надо остановиться на Наполеоне. В начале поэмы к богу являются гений феодализма и гений демократии. Каждый красноречиво защищает свое право на власть, потому что Дизраэли восхищался феодализмом в прошлом и верил в неизбежность демократии в будущем. В первой песне должен был быть диалог между Дизраэли № 1 и Дизраэли № 2.

Труднее всего было заставить бога сделать выбор. Но бог осторожно сообщал, что родился сверхъестественный человек и что именно политика этого титана восторжествует. Человеком-чудом должен был быть Наполеон, а итальянский поход становился темой второй песни. «Что вы думаете об этом? — писал автор миссис Остин. — По-моему, божественно задумано».

Когда первая песнь была готова, он отправился однажды вечером прочесть ее миссис Остин. Собрался еще кое-кто, и все нашли, что сцена чтения была более чем забавна. Высокий молодой человек стоял, прислонившись к камину, играл своими локонами, самодовольно любовался розетками из алых лент у себя на бальных туфлях и заявлял присутствующим, что он современный Данте и Гомер; все это вызывало едва сдерживаемый смех. Вскоре были изданы две первые песни; публика встретила их холодно. Дизраэли собственнно никогда особенно не дорожил званием Гомера; поэма начала ему надоедать; он забросил ее и перестал о ней думать.

Х

ЖЕНЩИНЫ

Светская жизнь дает честолюбцу, потерпевшему поражение в политике, возможность приятного и верного реванша: общество обращается иногда с неудачником, особенно если он привлекателен, лучше, чем с победителем или министром. Женщинам нравится, когда у мужчины много свободного времени из-за того, что он не у дел: это влечет его к ним. Дизраэли с радостью обрек себя на сладкое рабство. Он был счастлив опять увидеть несравненных сестер — трех граций из семьи Шеридана. Число окружавших его красавиц росло. Соседки по Брэденхэму, леди Честерфилд и миссис Ансон, тоже сестры, как-то пригласили его на прекраснейший костюмированный вечер. Леди Честерфилд была в костюме султанши, а миссис Ансон оделась гречанкой с распущенными, падавшими до колен волосами. Маркиза Лондондерри, в алмазах и изумрудах, изображавшая Клеопатру, потребовала, чтобы ей представили Дизраэли. В этом роскошном доме, ярко освещенном, взволнованном целым морем драгоценных камней и красивых лиц, он был одно мгновение счастлив.

У него появилась возлюбленная, он привязался к ней и написал в честь ее роман «Генриетта Темпл»; за ним последовал второй, из жизни Байрона и Шелли, — «Венеция». Подлинная Генриетта была замужем, но тем не менее свободна. Она принадлежала к той изысканной компании, которую любил Дизраэли; им удалось собрать вокруг себя лучшее общество Лондона.

Каждый день их куда-нибудь приглашали: то был пикник на реке, то гулянье по саду, достойному кисти Веронезе, с цветами, фонтанами, попугаями, то восхитительный ужин после оперы. Иногда он участвовал в охоте верхом на чудесной арабской кобыле, принадлежавшей его возлюбленной, перескакивал через все барьеры, завоевывая уважение самых искусных наездников. Он в сущности совсем не любил подобного спорта, но решил не останавливаться перед препятствиями: это было одним из его жизненных правил.

Булвер ввел его в новый дом к леди Блессингтон. Дизраэли уже много слышал о ней. Маргарет, леди Блессингтон, родилась в семье незаметного ирландского чиновника, силой выдавшего пятнадцатилетнюю дочь за какого-то полоумного ради его денег. Лорд Блессингтон, вельможа и богач, человек со странностями, вдовец, имевший двух дочерей и годовой доход в тридцать тысяч ливров, обрел где-то эту неизвестную красавицу, предложил ей уехать в Англию, развести ее с мужем и жениться на ней. Лорд и леди Блессингтон поехали в Италию, куда их сопровождал один молодой француз, граф д'Орсей, образец красоты, обаяния и культуры. Никто не сомневался в том, что он любовник леди Блессингтон, и, вероятно, это так и было. Лорд Блессингтон, восплавывший к Альфреду д'Орсею невероятной дружбой, написал завешание, по которому оставлял графу большую часть своих имений с условием жениться по выбору на одной из дочерей наследователя. Девушкам, переданным в наследство по всем добрым старым правилам закона, было в это время одной одиннадцать, другой двенадцать лет. Через четыре года, в 1827 году, граф д'Орсей, верный данному слову, женился на младшей, леди Хэрриет, бледной пятнадцатилетней девушке, бросившей ради замужества школу. В обществе говорили, что Альфред д'Орсей пообещал леди Блессингтон никогда не делать леди Хэрриет своей фактической женой и что он сдержал обещание. Потом лорд Блессингтон внезапно умер. Д'Орсей и его

девушка-жена вернулись в Англию вместе с леди Блессингтон, чтобы вступить в права наследства. Школьница выросла, чрезвычайно похорошела и вскоре, страдая от вежливого пренебрежения мужа, покинула дом на Симор-плейс, чтобы больше туда никогда не возвращаться.

Таковы были слухи, ходившие по Лондону, и Булвер, сопровождая Дизраэли к леди Блессингтон, добавил еще несколько штрихов к ее портрету. «Вы увидите, как она симпатична. У нее чисто ирландская сердечность и особая, ей одной присущая грация. Она снисходительна и великодушна. Она отдает себе отчет в ложности своего положения и не ищет дружбы женщин. А кроме того, как бы ни были велики ее ошибки, о ней говорят много вздора. Ее обвиняют в том, что она устроила женитьбу д'Орсея на своей падчерице; это неправда; она была против этого брака, и лорд Блессингтон сам на нем настоял. Если судить по виду, то чувство, связывающее ее с д'Орсеем, нечто вроде нежности матери к избалованному ребенку. Я убежден, что со времени его женитьбы между ними ничего нет. К тому же она лишена темперамента; она скорее верный и преданный друг. Красота ее наполовину потеряна; у нее осталось только нежное лицо да красивые глаза; видно, что когда-то она была хорошо сложена, но она страдает, к сожалению, опасной склонностью к полноте».

Дизраэли пришел в восторг от ее дома. Ему пришлось пройти через гостиную рубинового цвета с золотом, уставленную янтарными вазами, принадлежавшими когда-то императрице Жозефине, потом он попал в длинную узкую библиотеку с белыми, тронутыми золотом стенами с чередованием зеркал и книжных полок. В глубине из высокого окна были видны деревья Гайд-парка. Вдоль стен стояли диваны, оттоманки, столики с эмалью, уставленные безделушками; в одном из желтых атласных кресел сидела леди Блессингтон в голубом шелковом платье с огромным вырезом. Дизраэли был пленен великолепными плечами, полной и твердой линией груди; ему понравились гладко зачесанные волосы с пробором посередине, бирюзовая френьера на лбу. Как только она заговорила, он понял, что покорен.

Когда он поближе узнал эту прелестную пару — леди Блессингтон и графа д'Орсея, их взаимное внимание, их почти детскую веселость в милых шутках, по

традиции повторявшихся в доме, он навсегда забыл леди Хэрриет, старого лорда и все связанные с этим мрачные истории и стал наслаждаться без всякой задней мысли дружбой с двумя обаятельными людьми. Леди Блессингтон нашла, что он гениален, красноречив, наивен и, наконец, во всем напоминает Вивиана Грея. Так как ни одна женщина ее не принимала, она сама каждый день устраивала приемы. Дизраэли иногда молчал, просто наслаждаясь радостью быть в этой милой для него гостиной, стоял у окна и разглядывал посыпанные песком дорожки Гайд-парка. Последние лучи солнца зажигали искорки на золотистых цветах его жилета. В руках он держал белую трость. Из его карманов на груди свешивались золотые цепи. Когда разговор заинтересовывал его, он подходил к гостям и воодушевлялся. В такие минуты он поражал легкостью речи и силой сарказма. Когда он начинал говорить, он напоминал беговую лошадь у финиша. Все мускулы приходили в движение. Он вкладывал в каждую фразу бездну энергии и экспрессии. Он умел соединять совершенно разные понятия, и такое неожиданное сочетание придавало словам дикую и беспокойную прелесть. Слушать его было удовольствием, но удовольствием чуть-чуть напряженным. В полночь, после заседания парламента, являлся Булвер, и между двумя друзьями завязывался блестящий диалог.

Но еще больше любил Дизраэли заставлять леди Блессингтон одну. Она стала его другом и советницей в любовных похождениях. Он поверял ей все: как он любил Генриетту, как он заставил своих родителей пригласить ее в Брэденхэм, в чем добродушные старики не увидели ничего плохого, как он почувствовал потом угрызения совести, как любимая заставила его надевать новых долгов, так как очень увлекалась празднествами и ужинами, как эта связь грозила испортить ему карьеру, — и говорил, наконец, что честолюбие в нем всегда сильнее любви. Леди Блессингтон понимала все. Он рассказывал о Брэденхэме, о старом д'Израэли, о своей матери. Он не скрывал беспокойной грусти, замаскированной в нем остроумием и легкомыслием. В этой откровенности он был необычайно обаятелен. Насколько другие, мало его зная, считали его циничным и искусственным, настолько его друг, леди Блессингтон, находила его естественным и сердечным. Он просил ее совета, иногда совсем по-детски; обращался

с просьбой помочь ему разобраться в чем-нибудь характере, справлялся о новых французских книгах, спрашивал, что бы ему почитать, «как следует оценивать Бальзака? Лучше ли он, чем Сю и Жорж Санд Дюдеван? А эти двое хуже ли Гюго?» Он признавался ей даже в своей робости и в слабости нервов. «Не знаю, отчего это происходит, но я чувствую себя хорошо, только когда я в действии. Тогда я неуязвим. Мне стыдно быть «нервным». Припадки диспепсии всегда заставляют меня мечтать о гражданской войне. Я умираю от бездействия и ржавею, как дамасская сабля в ножнах труса».

Иногда в салонах приятельниц он встречал политических деятелей, стоявших у власти. На мгновение он приподнимал маску дендизма и со страстью говорил о политике. Как он завидовал им! Они занимали такие посты, где слово могли превращать в действие. Однажды вечером у Каролины Нортон он был представлен лорду Мельбурну, известному министру вигов, который регулярно продолжал посещать Каролину, располагаясь на диване, мало говорил, но слушал с удовольствием. Оригинальные идеи и дерзкое красноречие молодого человека понравились Мельбурну. Внезапно, со свойственным ему угрюмым добродушием, он предложил ему свою помощь. «Ну, скажите мне, чего бы вы хотели?» — «Быть первым министром» — последовал ответ. Мельбурн вздохнул и пожал плечами. «Нет, нет! — сказал он очень серьезно. — Вряд ли это станет возможным в течение вашей жизни, все заранее распределено... Следующим первым министром будет Стэнли: он как молодой орел среди соперников... Нет, занимайтесь политикой, вы добьетесь чего-нибудь. Вы умны и, вооружась терпением, вы наверное выдвинетесь... Но только бросьте эти абсурдные мечты...»

Легко лорду Мельбурну, все узнавшему и всего отведавшему, сказать «бросьте», но Дизраэли хотелось жить, а он не представлял себе жизни без славы. Однажды три прекрасные внучки Шеридана остроумно спорили при нем о высшем счастье. «Какая жизнь лучше всего?» И, став внезапно серьезным, молодой Дизраэли пылко ответил из глубины дивана: «Когда она сверкающее и непрерывное достижение от юности до могилы».

XI

В ПАРТИЙНОМ НАРЯДЕ

*Лучше свобода,
которой мы сейчас пользуемся,
чем все посулы либералов,
и я прежде всего думаю
о правах англичанина,
а не о правах всего человечества.*

Дизраэли

На выборах 1833 года победа партии вигов была так очевидна, что власть попала, казалось, к ним в руки по крайней мере на целых полвека. Но чрезмерная уверенность в себе разрушает все, даже организации, которые кажутся непобедимыми.

Среди либералов-победителей были умы действительно реформистского склада, как, например, у Джона Рассела, и даже дерзкие, как у Дэргема, но наряду с ними попадались по существу консерваторы, не сознававшие этого, как тот Стэнли, в котором лорд Мельбурн видел будущего первого министра. Вскоре раскол стал неизбежен. Стэнли и его друзья ушли из партии, и шансы тори поднялись в один миг.

Самым забавным в этом было то, что тори сражались под руководством вождя, который с сочувствием поглядывал на противников и, казалось, больше считался с их одобрением, чем с похвалой сторонников. Сэр Роберт Пиль питал честолюбивое стремление увидеть все партии у своих ног. Это единственное, о чем еще может мечтать человек, подчинивший себе собственную партию. Под его руководством партия тори приняла новое название «консервативной партии», и он понимал этот термин как противоположный названию «реакционизма». И вот такой либерал-консерватор, как Стэнли, настолько приближался по убеждениям к такому консерватору-либералу, как Пиль, что их трудно было отличить друг от друга. И без сомнения, из них двоих наиболее либеральным был консерватор.

Все эти перемены должны были необычайно облегчить Дизраэли его собственную политическую эволюцию. Возврат к смелым народным традициям прежних тори — вот о чем он мечтал с начала своей карьеры. Он ясно видел, что надо примкнуть к одной из существующих группировок. Он попробовал было сражаться самостоятельно, но стал терпеть поражение за поражением.

В стране, где сохранились старые парламентские традиции, особенно в такой стране, как Англия, где уважают лояльность и презирают политический гнет, почти невозможно проскользнуть к власти, стоя вне партий. Можно очень медленно внутри партии подготовить свою обособленность, можно проповедовать новые идеи только под флагом старых. Для Дизраэли настал момент решиться на что-нибудь и примкнуть к организации.

Если, выбирая партию консерваторов, у него еще было колебание, то только из-за людей, руководивших этой партией. Он любил выдающиеся характеры и блестящую внешность, а холодный сэръ Роберт Пиль совсем не казался ему привлекательным.

Герцог, конечно, был куда внушительнее с присутствиями ему резкостью и простотой, но герцог уже сошел со сцены. Его слишком оскорбили во время проведения реформы, он не любил компрометировать себя в обществе черни. Он выбрал более приятную роль — старого национального героя. В клубах молодые люди заставляли его рассказывать о выигранных им боях. «При Саламанке я встал на колени за низкой стеной и вдруг увидел, что левое крыло французов заколебалось. С богом, сказал я, вот удача — тут-то я на них и нападу». Толпа приветствовала его, когда он верхом проезжал по улице. Он был удовлетворен и решил не вмешиваться больше в борьбу, не сулившую славы.

Приблизительно в это время Дизраэли пришлось обедать как-то рядом с лордом Линдхерстом, лорд-канцлером партии тори. Рассказывали, что отец Линдхерста сказал однажды сыну: «Джек, ты всю жизнь останешься мальчишкой». Верное предсказание. В шестьдесят лет канцлер любил пофантазировать насчет человечества, скорее забавлялся, чем негодовал, видя слабости ближних, и для укрепления своей памяти учил наизусть поэмы. Его доброта оскорбляла серьезных людей; она восхитила Дизраэли. Наконец-то заговорили с ним о политике, о партиях так же, как он сам об этом думал, видя в этом не религию, но искусство.

Он не устал слушать рассказы старика о великих событиях и особенно любил пустяковые, но ценные детали, оживлявшие рассказ, например, что небо было синим, а ветер свежим накануне смерти Каннинга, что Каннинг захотел обедать в саду и Линдхерст видел, как он дрожал от холода. Канцлер в свою очередь по-

чувствовал дружбу к Дизраэли и стал давать ему советы. Однажды он пригласил его к себе обедать и вместе с ним юного помощника государственного секретаря по имени Уильям Гладстон, причем дал им много мудрых наставлений. «Никогда не защищайтесь перед народом иначе, как нападением. Слушателям доставляет такое удовольствие новая атака, что они забывают о той, которую сами направили против вас». Гладстон был очень серьезен и несколько напоминал Пиля. Он не мог особенно понравиться ни Дизраэли, ни Линдхерсту, и обед прошел не весело, но зато был подан лебедь, очень белый, очень нежный, начиненный трюфелями, и он-то составил им неплохую компанию.

Благодаря Линдхерсту Дизраэли начал проникать за кулисы политической жизни. Он пококчетничал еще некоторое время с лордом Дэргемом и радикалами. Две крайние партии одновременно подыскивали для него избирательный округ. Он не мешал им. Но неуместное кокетство с радикалами было известно в Лондоне и никем не одобрялось. «От Дэргема к Веллингтону! — говорили л ю д и . — Черт возьми, по-видимому, этот Дизраэли действительно гибок». — «Что ж! Как раз подходящий друг для такого человека, как Линдхерст», — прибавлял ворчливый Гревилл.

Новое поражение на выборах окончательно отрезвило Дизраэли. С него довольно было трех суровых уроков. Звание независимого было бесповоротно осуждено. Дизраэли добился, чтобы его приняли в члены клуба консерваторов «Карлтон», и решил выставить отныне свою кандидатуру как тори. На нем был наконец ярлык какой-то партии.

Все противоречия в человеке очень легко оправдываются им самим, и Дизраэли, превратившийся из радикала в консерватора, был искренне уверен, что он очень постоянен. Но для постороннего наблюдателя естественность такого превращения была менее очевидна. Когда необходимость политической борьбы заставила новоиспеченного тори напасть на О'Коннела, у которого он сам когда-то выпросил рекомендательное письмо, ирландский трибун вскипел от страшной ярости. Несколько дней спустя на одном из митингов в Дублине он стал говорить о нападении Дизраэли, о письме и закончил так под общие аплодисменты и смех: «Если евреи были народом, избранным богом, тем не менее в числе их, несомненно, были нечестивцы. Диз-

раэли, вероятно, потомок одного из них. У него характер того озлобленного разбойника, который умер на кресте и, должно быть, тоже назывался Дизраэли. Думаю, что, если тщательно рассмотреть генеалогическое древо Дизраэли, мы найдем, что известная нам особа — прямой потомок достойной личности, о высоком положении которого на кресте я только что говорил».

Все лондонские газеты перепечатали эту блестящую речь. Она весьма позабавила людей, не любивших Дизраэли. Что касается его самого, то, читая оскорбительные фразы, он вспомнил забытые на время чувства, взволновавшие его в детстве. «Ах, если бы можно было уничтожить этого человека», — думал он об ирландце, как когда-то о том, кто оскорбил его в школе. Он побежал к д'Орсею и попросил его устроить поединок. Но О'Коннел, убив когда-то на дуэли противника, дал клятву никогда не драться. Дизраэли вызвал его сына, Моргана О'Коннела, который ответил, что будет мстить за оскорбления, нанесенные отцу, но не может отвечать за все его речи. Тогда Дизраэли написал О'Коннелу дерзкое письмо: «Хотя Вы давно поставили себя за пределы цивилизованного мира, но мне не хочется выносить оскорблений даже от дикаря, не наказав его за это». Он строго осуждал отца и сына за отказ драться. «Мы встретимся при Филиппах и будьте уверены, что я воспользуюсь первым случаем, чтобы проучить Вас так, что Вы пожалеете об оскорблении, нанесенном Бенджаминому Дизраэли».

Написав письмо, он восстановил свое равновесие и уверенность в себе. Он надел самый ослепительный фрак, наиболее расшитый жилет и отправился в оперу, где все говорили ему, что он был очень храбр.

Сара и старый Исаак написали ему, что им неприятен шум, поднятый вокруг их имени, и осуждали Бенджамина за дерзость. Дизраэли угостил их следующими новостями: «Все партии, как одна, держатся мнения, что я стер его в порошок... Вам, конечно, легко меня критиковать, но я не раскаиваюсь ни в одном слове; я достаточно взвесил свои выражения... На всех не угодишь. В. сказал мне, что мое письмо — лучшая вещь, когда-либо написанная на английском языке. Есть люди, которые не одобряют моего «дикаря» и считают меня грубым. Другие находят, что я написал не хуже Свифта... Надо считаться с общим мнением, а общее мнение гласит, что я выказал храбрость»...

Это было верно. Его друзья и общество осуждали низкие приемы борьбы О'Коннела и действительно считали, что Дизраэли показал себя храбрцом. Но мнение общества еще не есть общественное мнение. В Англии общественным мнением является мнение купцов за прилавками, священников в деревнях, всех широких, недоверчивых масс, лишенных фантазии, называемых английской нацией. Для этих масс образ молодого политиканствующего писателя, выяснившийся из газетных статей, был одним из самых неприятных. Это был образ крикливого, пестрого существа, без политических убеждений, смешного и дерзкого. Конечно, О'Коннел поступил грубо, но, говорил, например, «Спектатор», «Дизраэли захотел затеять войну при помощи дерзостей с великим мастером дерзости и, увидев, что ранен, стал хныкать. Он похож на собачонку, получившую удар копытом от лошади, за которой она долго бежала и лаяла. Он получил по заслугам».

Этот оскорбительный портрет был еще только легкой и неотчетливой карикатурой, но такая карикатура, связанная с именем не завоевавшего известности человека, уже была опасна. Она воплощалась в некий «персонаж», существо фиктивное, но почти такое же реальное, как сам человек. Стоит только общественному мнению создать такой фиктивный образ человека, как факты, отвечающие этому образу, удерживаются у всех в памяти, противоположные же факты пропускаются мимо ушей. Молодой Дизраэли был бы очень удивлен, если бы ему пришлось где-нибудь встретить тот фиктивный «персонаж», за который его принимали деловые англичане. Он отвернулся бы от него с презрением и ужасом; он был бы далек от подозрения, что встретился со своим самым страшным врагом, с которым придется сражаться всю жизнь.

ХII

ЧЛЕН ПАРЛАМЕНТА

Снова настал сезон балов. Опять миссис Ансон, распустив волосы, изображала прекраснейшую рабыню, а миссис Нортон — восхитительную гречанку. Опять Бенджамин Дизраэли был легкомысленным и блестящим денди, и его силуэт с золотыми цепями на груди вырисовывался в окне гостиной леди Блессингтон. Но

как иногда надоедала ему эта маска, как утомительно было быть Дизраэли! Он часто и подолгу молчал, подавленный грустными мыслями, которые внезапно прерывались сарказмами. Время шло — тридцать два года! Это уже старость для пажа.

Одна только дружба лорда Линдхерста приближала его немного к могуществу, о котором он мечтал. Обаятельный и циничный старик советовался с ним как с равным. Они вместе сожалели о том неверном направлении, которое Пиль давал партии. Под таким руководством партия консерваторов была армией, лишенной веры, потому что вождь сам не верил в нее. На практике Пилю надлежало отстаивать традиционные учреждения страны — монархию, Палату лордов, англиканскую церковь, но в теории он склонялся к мысли, что их невозможно защищать. Партия консерваторов была хорошо обеспечена: многие из ее членов являлись владельцами замков, заводов, земель, но ей недоставало ни гениального руководителя, ни доктрины. Пиль много говорил о консерватизме, но, что этим консерватизмом надо было охранять, он сам не знал. Наоборот, чем больше Дизраэли думал о политической жизни Англии, тем для него становилось очевиднее, что нужно храбро готовиться к бою. Для него быть консерватором совсем не значило поддерживать с виноватой улыбкой конституцию, считавшуюся уже ветхой. Для него это была позиция, полная романтизма и достоинства, единственно разумная и единственная, которая честно считалась с подлинной Англией, с деревнями, разбросанными вокруг замков, с крепким и упрямым классом помещиков, с древней и вместе восприимчивой ко всему новому аристократией, а главное с историей. «Уважение к традициям, часто высмеиваемое поверхностными людьми, имеет, я думаю, свое основание в глубоком знании человеческой природы». Ему было ясно, что против теоретической доктрины либералов и утилитаристов надо было выдвинуть учение реалистического порядка.

Для него вся современная ему политическая борьба была борьбой исторической школы против философской; он предпочитал историю. Страна — не отвлеченное понятие, и законы для нее не могут быть найдены простой гимнастикой ума. «Нация — это произведение искусства и произведение времени». Как у отдельного человека, у нее есть свой определенный темперамент. В частности величие Англии как страны проистекает совсем

не из ее природных богатств, которые незначительны, но из ее учреждений. Права англичанина на пять веков древнее прав человека, проповедуемых либералами.

Таков был обычный ход мыслей молодого философа. В 1835 году вышла его «Защита английской конституции в форме письма к благородному лорду», книга по политической философии, вызвавшая одобрение лучших критиков за совершенство формы и зрелость мысли. Существование Палаты лордов могло показаться абсурдным тому, кто не признавал представительства без выборного начала; Дизраэли показал, что еще опаснее будет выборное начало без представительства. Олигархия из профессиональных политиков может устроиться так, чтобы их избрали, и управлять страной, не будучи ее подлинными представителями. Палата была выразителем целого ряда сильных учреждений: в лице лордов-епископов она была представительницей церкви, в лице лорда-канцлера выражала закон; графство было представлено в Палате лордами-наместниками, землевладение — наследственными владельцами. Что касается Палаты общин, то Дизраэли желал для нее еще более расширенных выборов, чем те, которые дала ограниченная реформа вигов в 1832 году. Он считал, что в обязанности вождя консервативной партии входит мужественная защита всего того из прошлого, что в нем жизненно и ценно, но одновременно и чистка партии от предрассудков и устарелых принципов; в особенности надо было смело направить партию к широкой политике, руководимой любовью к народу, с тем чтобы завоевать его доверие.

Книга имела большой успех. Герцог пробормотал: «Нужно найти этому молодому человеку место в парламенте». Пиль написал Дизраэли почти любезное письмо. Что касается старого тори, Исаака д'Израэли, то он был в восторге: «Ты наконец приобрел то, чего не имел еще неделю тому назад, — политическое имя. Недостатка в таланте у тебя никогда не замечалось, но иногда его было так много, что он переливался через край. Ты отказался от того сухого, трескучего стиля, в котором чувствовалась постоянная напряженность. Теперь — это непрерывный поток мысли и силы, мужественной и вместе гибкой». «Стыдно было бы, — писал Линдхерст, — не найти Вам положения, где бы Вы могли развернуть полно Ваше дарование, Ваше рвение к труду и Вашу энергию».

Плод созрел: он должен был вот-вот упасть. Настало самое время. Кредиторы более, чем когда-либо, скрежетали зубами. Ростовщики доходили почти до самых ворот Брэденхэма. Четыре неудачные кандидатуры, сорящая деньгами любовница, дорого стоящий дендизм — все это утроило долги Дизраэли. Он охотно занимал деньги, чтобы выручать друзей, но их ему никогда не возвращали. Один-единственный раз, когда ему пришлось очень туго и он напомнил д'Орсею об одном долге, д'Орсей ответил ему: «Клянусь богом, у меня нет ни пенни». И это была сущая правда.

* *
*

Король Вильгельм IV умер, как старый лев, в день годовщины битвы при Ватерлоо. Молоденькая восемнадцатилетняя королева взошла вместо него на престол. Виктория созвала свой первый совет в 11 часов утра. Дизраэли провожал во дворец лорда Линдхерста, шедшего принести присягу новой государыне. Вернувшись, Линдхерст взволнованно описал Дизраэли, как перед собранием самых блестящих людей Англии, среди моря белых перьев, звезд, мундиров внезапно распахнулись двери, настало глубокое молчание, словно в лесу, и юная девушка поднялась на трон, окруженный толпой прелатов, генералов, сановников. Дизраэли был восхищен рассказом. Тут соединилось все, что он так любил: pompa церемониала, пленительная серьезность, рыцарская почеть женщине от цвета и мощи Англии. Как бы ему тоже хотелось броситься на колени перед королевой и поцеловать ее полудетскую руку! Но он был — ничто, а годы шли...

Восшествие на престол нового монарха влекло за собой роспуск парламента и новые общие выборы. На этот раз Дизраэли, имевший хорошую поддержку в лице лорда Линдхерста, получил предложение от целого ряда надежных избирательных округов. Между прочим Уайндхэм Льюис, муж той маленькой, кокетливой и болтливой женщины, с которой Дизраэли когда-то познакомился у Булвера, спросил его, не хочет ли он выступить с ним вместе от городка Мейдстон, избирательного округа, располагавшего двумя кандидатами: здесь консерваторы должны были иметь успех. Дизраэли обязан был этим предложением миссис Уайндхэм Льюис. Он долго считал ее очень скучной. Однажды

у Ротшильдов хозяйка дома сказала ему: «Мистер Дизраэли, хотите вести к столу миссис Уайндхэм Льюис?», на что он ответил: «Ах, кого хотите, но только не эту невыносимую женщину. Хотя, в конце концов... Аллах велик!», и, заложив по своему обыкновению большой палец за вырез жилета, он пошел на казнь.

Но после нескольких встреч ему пришлось изменить о ней мнение. У миссис Льюис не было ни ума, ни особенного образования, но она судила о делах с большим здравым смыслом. Ее отзывы о политических деятелях были далеко не глупы. Она не раз давала ему хороший совет. В конце концов он стал милостиво принимать частые приглашения на обед в большой дом Льюисов в Лондоне против Гайд-парка. Было ясно, что миссис Уайндхэм заинтересована Дизраэли. Она им восхищалась и была рада быть ему полезной: женщины находят обычно удовольствие в подобного рода дружбе. Дизраэли в свою очередь ухаживал за ней полусерьезно, полушутя, что было очень приятно этой слегка перзрелой красавице.

Во время предвыборной кампании дружба с ней была для Дизраэли чем-то вроде боевого крещения. Он писал ей любезные письма, где говорил, что ему приятно видеть их имена, поставленные рядом в списках. Он совсем забыл о своей былой антипатии. Никто, даже Сара, никогда не хвалил его так, как эта женщина. «Запомните мое предсказание, — писала она, — мистер Дизраэли через несколько лет будет одним из величайших людей своего времени. Его личное дарование при поддержке таких друзей, как Линдхерст и лорд Чандос, опираясь на влияние моего мужа, могущее поддержать его в парламенте, обеспечит успех. Все называют его моим протеже в парламент». Ее доброе мнение о новом кандидате разделялось уж во всяком случае одним человеком, а именно: самим кандидатом. «Когда я вернусь сюда уже как ваш депутат, — сказал он избирателям Мейдстона, — каждый из вас посмотрит на меня с некоторой долей удовлетворения и, может быть, даже с гордостью».

Выборы происходили 27 июня. Льюис и Дизраэли были избраны. Таким образом Дизраэли почти без борьбы в несколько дней получил место в парламенте, о котором мечтал так долго. «Странная вещь — жизнь», — думал он. Пришлось несколько раз терпеть поражение в Уайкомбе, где, по его мнению, его знали и уважали,

и вот неожиданно он добился успеха в Мейдстоне, куда он попал всего неделю тому назад. Какой извилистый путь выбрала судьба, чтобы привести его к цели. Дизраэли был обязан местом в парламенте материнским заботам маленькой болтливой женщины. Познакомился он с миссис Уайндхэм благодаря дружбе с Булвером. Предлогом к этой дружбе оказался «Вивиан Грей». «Вивиан Грей» никогда бы не был написан, если бы не неудача с газетой и не спекуляции в Южной Америке. Спекуляции эти были задуманы в конторе на Фредерик-плейс. Послали его в эту контору, потому что преследование в школе Когана закрывало, как показалось его отцу, возможность образования в университете. Так от звена к звену, возвращаясь мыслями к своему детству, он видел непрерывную цепь обстоятельств, где несчастные события были причиной счастливых, а эти последние в свою очередь — толчком к несчастьям и неудачам. Как трудно было найти в этом постоянном и скрытом чередовании какую-нибудь последовательность или закон. Как все это было таинственно! Дизраэли начинал смотреть на жизнь, как на непрерывное чудо. Но все же в этом темном лесу тянулась сверкающая нить Ариадны — воля Бенджамина Дизраэли. Он мог ошибаться в методах, плохо рассчитывать последствия своих поступков — и он почти всегда ошибался. Но он никогда не терял из виду ни ясной цели, ни твердого намерения достичь ее. Может, этого было достаточно? Вероятно, этого было довольно, так как он уже занес ногу в стремя: «Бенджамин Дизраэли, член парламента». Прекрасная аттестация, залог успеха в будущем. Через несколько месяцев восхищенное собрание будет слушать его совершенные периоды, сочные фразы, поражающее сочетание изысканных прилагательных с мощными существительными. А через несколько лет глубокоуважаемый мистер Дизраэли будет управлять колониями или финансами великой страны. Позже...

Сара д'Израэли:

«Мейдстон, 27 июля 1837, 11 часов.

Дорогая, Льюис 707 голосов; Дизраэли 616; полковник Томсон 412. Почти все голоса использованы.

Диззи».

Миссис Уайндхэм Льюис:

«Брэденхэм, 30 июля.

Мы все очень хотим, чтобы Вы и мистер Уайндхэм посетили наш дом под буками; мы ничего не сможем

предложить Вам, кроме скромных развлечений, деревенского пейзажа и гостеприимного дома. Нежный привет моему коллеге и Вам.

Диззи».

Миссис Уайндхэм Льюис — майору Эвансу (своему зятю):

«Я только что побывала в семье мистера Дизраэли. Они живут недалеко от Уайкомба в большом доме, где почти все комнаты длиной в тридцать и в сорок футов, много прислуги, лошадей и собак. Наконец, библиотека, полная редчайших книг. Как Вам описать отца? Самый милый, самый достойный старик, которого я когда-либо встречала. Мисс д'Израэли хороша и умна. У нее два брата. Старший — Ваш любимец в политике, обычно называемый Диззи, которого Вам часто придется видеть, так как Вы знаете, что Уайндхэм провел его в парламент вместе с собой».

Дизраэли — миссис Эдуард Булвер:

«Любопытно, что я кончаю избирательную борьбу, став депутатом от Мейдстона. Мы дети богов и рабы обстоятельств именно тогда, когда считаем себя господами. Какова будет следующая сцена в сверкающей комедии моей жизни? Только судьба это знает.

Дизраэли».

Д'Орсей — Дизраэли:

«Только, пожалуйста, без любви и без интриг. У Вас есть место в парламенте, поэтому не рискуйте более. А если встретите вдову, женитесь на ней».

* *
*

Он провел в Брэденхэме три месяца, оставшиеся после выборов до созыва нового парламента; ему надо было обдумать прошлое и приготовиться к будущему. Один, а иногда с Сарой, он предпринимал длинные прогулки по восхитительным окрестностям. Стояла теплая погода, сияло солнце, воздух благоухал цветами, дрожал от жужжания пчел, трепетал от крыльев белых бабочек. Часто, идя по узкой извилистой тропинке, Дизраэли вдруг выходил на большой, освещенный солнцем луг к группе кедров, к старому

дому, обвитому плющом или диким виноградом. Вот именно за эти пейзажи он так любил Англию. В каждом из подобных домов можно было встретить здорового помещика с загорелым лицом, его светлоглазого сына, красивых, невинных и каких-то загадочных дочерей. Вот это и был тот резервуар, из которого Лондон черпал свои силы; оттуда выходили люди, поддерживающие Англию и королеву. Чтобы управлять страной, думал Дизраэли, нужно постичь это сочетание красоты и величия. И вот он бродил среди цветов и деревьев, говоря себе, что сам принадлежит к более древней, более пострадавшей расе и может поэтому любить этих англичан, пожалуй, даже больше, чем они сами себя любят.

Как трудно будет вырваться из тихого приюта. Наедине с родителями и сестрой он чувствовал себя всемогущим; здесь можно было быть самим собой; что бы он ни сделал, его неизменно любили, что бы он ни сказал, им всегда восхищались; ни жалкая посредственность, ни зависть соперника не расставят ему здесь западни. Еще со школы у него осталось неприятное чувство, что осенью надо опять возвращаться на работу. А теперь «вернуться» — значило броситься в борьбу, играть роль, быть все время в опасности. Его слабые нервы просили пощады. Всегда, чтобы преодолеть препятствие, он должен был пришпоривать себя, но все-таки чувствовал и беспокойство и усталость. В особенности на этот раз, думая о будущих схватках в парламенте, он тревожно спрашивал себя, чем будет для него эта новая школа и кто его товарищи, которых он боится? В какое море придется ему броситься, выйдя из тихой гавани?

Часть
вторая



...Станет ли человек королем или нищим,
у него будут все равно те же черные или серые глаза,
тот же осторожный или откровенный рот, те же руки;
между устойчивостью характера в каждом человеке
и безмерным разнообразием встреч
наша история проходит как через прокатный стан,
принимая на себя каждый раз двойной отпечаток...
Так что, при всем том, что нельзя изменить характеры,
как нельзя разгладить вьющиеся волосы,
можно положиться на характер.
Больше того, именно потому,
что нельзя изменить природу человека,
ей можно довериться.
Кто опустится до этого, тот приблизится к королю.
И вероятнее всего, что могущество Цезаря
или Александра возникло главным образом оттого,
что они любили различия
и никогда не упрекали грушевое дерево за то,
что оно не рождает сливы.

Ален

I

ПЕРВАЯ РЕЧЬ

В Брэденхэме было так легко поверить, что вся Англия только и говорит об избрании Бенджамина Дизраэли в парламент. На самом же деле в Лондоне много говорили о юной королеве, об ее уме и непринужденности, о расположении, которое она, по-видимому, чувствовала к премьер-министру Мельбурну. Многие, вернувшись из отпуска, рассказывали о своей первой поездке по железной дороге: вначале, признавались путешественники, они испытывали некоторое чувство страха, но чувство это легко удавалось преодолеть.

Сейчас же Дизраэли навестил своих «коллег» — Уайндхэм Льюис. Миссис Уайндхэм, гордая своим протеем, повела его в театр, где, сидя в хорошо натопленной ложе, они смотрели Кина. Дизраэли принял поздравление от Линдхерста и сам поздравил его, так как этот крепкий старик только что женился на молодой девушке и мечтал теперь о сыне. Потом Уайндхэм Льюис показал Дизраэли парламент.

Старинный Вестминстерский дворец сгорел от пожара, и лорды и общины заседали пока во временных помещениях. Было немного тесно, но Дизраэли сумел найти себе место как раз позади лидера своей партии, сэра Роберта Пиля. Этот последний сердечно принял нового члена и пригласил его отобедать в следующий четверг в «Карлтоне». «Обед для членов Палаты общин. Больше никого. К этому времени мы кое-что уже выясним о настроениях этой новой палаты». Было очень приятно слышать это «мы». Уайндхэм Льюис по возвращении домой заметил жене: «Пиль самым сердечным образом говорил с Дизраэли».

С первых же голосований стало ясно, что у власти останется либеральное министерство лорда Мельбурна, которое поддерживали и ирландцы. В течение двух недель Дизраэли оставался немым зрителем прений. Ему очень хотелось говорить, но он ужасно робел. Он видел кругом столько великих людей! Прямо против него на министерской скамье и перед официальным красным ящичком сидел лидер вигов Джон Рассел. Каким он казался маленьким в своем старомодном черном сюртуке. Лицо, наполовину скрытое огромными полями шляпы, выражало отчаяние. Истинный представитель своей партии, он самые смелые идеи облекал в архаические фразы и аристократическим голосом выговаривал слово «демократия». Около лорда Рассела лорд Пальмерстон, министр иностранных дел, с большими, тщательно расчесанными и покрашенными бакенбардами. О нем говорил Гренвилл, что «он похож на старого отставного баденского крупье», а либералы считали его крайне вульгарным, так как в нем не было того традиционного уважения к престолу, которое всегда обнаруживали виги, особенно когда они с этого престола свергали королей. Ближе к себе Дизраэли видел со спины внушительную фигуру Роберта Пиля, которая вырисовывалась над массивным столом, отделявшим министров от оппозиции. Сбоку от него виднелся тонкий горбатый нос, насмешливый рот, завитые и слегка растрепанные волосы блестящего лорда Стэнли, такого беззаботного, надменного, остроумного и одетого с такой нарочитой небрежностью, какой мог только позавидовать Диззи. Ближе к выходу, среди радикалов, он увидел приятеля Булвера, среди группы ирландцев — страшного недруга О'Коннела.

Что еще смущало Дизраэли, так это смешение в этом собрании величавых обычаев и небрежного поведения.

Слушали ораторов невнимательно: болтали во время речей, то и дело входили и выходили, но спикер был в мантии и парике, судебные приставы размещали и перемещали толпу, и, упоминая о ком-нибудь из коллег, депутат называл его не иначе, как «достопочтенным джентльменом». Все эти мелкие подробности восхищали новичка, который так долго наблюдал их со стороны. Как он уверен был, что если выступит, то не сделает никаких промахов, он будет согласно здешнему обычаю обращаться к одному спикеру, он каждого депутата-адвоката будет называть «достопочтенный и ученейший джентльмен», а всякого депутата-офицера — «достопочтенный и отважный джентльмен», сэра Роберта Пиля — «достопочтеннейший баронет» и лорда Джона — «благородный лорд из оппозиции». Его фразы, когда он мысленно составлял их, падали как литые, выкованные в парламентской формовке. Если он делается министром, как он сумеет после речи, вызвавшей шумные одобрения, небрежно опуститься на скамью казначейства, проводя по губам платком из тончайшего полотна. Но, с тех пор как он вблизи увидел могучую неподвижность этого громадного учреждения, к его нетерпению выступить начало примешиваться и некоторое беспокойство.

* *
*

В Палате общин обсуждался вопрос о подписке, организованной неким мистером Споттисвудом с целью доставить протестантским кандидатам в Ирландии нужные средства для борьбы с католиками. Этот сбор очень не нравился не только ирландцам, но и либералам, которые полагали, что эта подписка противоречит свободе выборов. Только что О'Коннел закончил свою пламенную речь, как встал Дизраэли. Лорд Стэнли должен был отвечать от имени консерваторов, но Дизраэли попросил уступить ему слово, и удивленный, но ко всему равнодушный Стэнли уступил.

Ирландцы и либералы с любопытством осматривали внезапно выросшего перед ними нового оратора: многие слышали, что это какой-то шарлатан, бывший радикал, ставший консерватором, сочинитель романов,

напыщенный оратор; знали к тому же, что у него была крупная ссора с О'Коннелом, — и несколько друзей последнего немедленно сгруппировались около него, как только Дизраэли встал. На скамьях консерваторов деревенские джентльмены с беспокойством осматривали это, такое чуждое английскому типу, лицо. Их раздражали кудри и костюм. На Дизраэли был бутылочного цвета фрак, белый жилет, увешанный золотыми цепями («Зачем же столько цепей, Диззи? — говорил ему Булвер. — Уж не собираетесь ли вы стать лорд-мэром?»), большой черный галстук, подчеркивающий бледность лица. Он сам был очень смущен. Минута была очень важной. Он многое ставил на карту. Он хотел показать либералам, какого человека они потеряли в нем, консерваторам — что в его лице они обрели будущего лидера, О'Коннелу — что пробил час расплаты. У него были кое-какие основания быть уверенным в себе: его речь, тщательно подготовленная, содержала несколько фраз, которые безусловно произведут эффект. К тому же парламентская традиция требовала благожелательного отношения к выступлениям новичков. «Самый удачный дебют после дебюта Питта» — говорили обычно оратору. Например, молодой Гладстон, которого Дизраэли встретил теперь на парламентских скамьях, пять лет тому назад произнес свою первую речь среди всеобщего сочувствия. «Говорил в первый раз в течение почти пятидесяти минут, — отмечает он в своем дневнике. — Палата слушала меня очень внимательно, и мои друзья были довольны. Затем пили вместе чай в «Карлтоне». Но Гладстон воспитывался в Итоне и Оксфорде; у него было прекрасное чисто английское лицо с твердыми и банальными чертами, он одевался в темное, и манеры его были степенны.

Несколько напряженный голос Дизраэли удивил всех и сразу не понравился. Он пытался доказать, что ирландцы, и в частности О'Коннел, сами пользовались совершенно такими же сборами. «Это величавое попрошайничество...» — сказал он. Палата не привыкла к высокопарным словам, и послышался легкий смех. «Я не х о ч у, — продолжал о н , — притворяться, будто не сознаю трудности своего положения. (Новый смех.) Я уверен в снисходительности почтенных джентльменов... (Смех и «Ближе к делу».) Но, если они не пожелают меня выслушать, я безропотно сяду на свое место». (Аплодисменты и смех.) После минутной, очень сомни-

тельной тишины неожиданная ассоциация слов снова вызвала бурю. Из группы ирландцев раздались свистки, топот ног, подражание крикам животных. Дизраэли хранил невозмутимость. «Говоря откровенно, я бы хотел, чтобы Палата дала мне лишние пять минут. (Общий смех.) Я здесь сегодня не формально, но, так сказать, по существу являюсь представителем большого числа членов парламента. (Безудержный смех.) Зачем улыбаться? (Смех.) Зачем завидовать мне?» (Общий громкий смех.) С этой минуты шум так усилился, что можно было разобрать лишь отдельные фразы. «Сэр, в момент, когда колокол нашего собора извещал нас о кончине монарха... («Ого-го!» и громкий смех.) Мы читаем тогда, сэр... (Рычание и крики «Ого!») Если достопочтенные члены Палаты полагают справедливым помешать мне говорить, я подчиняюсь. — (Безудержный смех.) Я только могу еще сказать, что я лично не позволил бы себе таких выходов против кого бы то ни было... (Смех.) Но я просто хочу спросить... (Смех.) Нет ничего легче смеха... (Безудержный смех.) Когда мы вспомним о любовных эклогах (Безудержный смех.), о древней и новой любви, занявшей место между благородным лордом... министерских скамей... (Безудержный смех.) Если мы вместе с тем вспомним, что между освобожденной Ирландией и закабаленной Англией благородный лорд, спокойно уютившись у подножия власти, может держать одной рукой ключи святого Петра, а другой потрясать...» (Тут достопочтенный депутат был прерван таким веселым и непрекращающимся смехом, что невозможно было понять, чем бы закончил он свою фразу.)

Когда смех затих, он продолжал: «Мы имеем здесь налицо, мистер спикер, философские предубеждения... (Смех и аплодисменты.) Я ценю аплодисменты, даже когда они исходят от противников... (Смех.) Я полагаю, сэр... (Многочисленные восклицания «К делу!») Я не слишком удивлен, сэр, оказанным мне приемом... (Смех.) Я многое начинал по несколько раз и кончал тем, что мне удавалось («К делу!»), хотя мне многие и предсказывали, что я потерплю неудачу так же, как терпели они до меня». («К делу!») Тогда, с негодованием смотря на тех, кто мешал ему говорить, подняв руки и открыв широко рот, он крикнул громким, почти угрожающим голосом — и голос этот сразу покрыл весь шум и гам: «Я сяду теперь, но придет время, и вы будете слушать меня».

Он умолк. Его противники все еще смеялись; друзья смотрели с удивлением и грустью. Нашелся, однако, человек, который в течение всей этой пытки упорно старался поддержать его. То был достопочтеннейший баронет, сэр Роберт Пиль. Не в обычае сэра Роберта было выражать одобрение членам возглавляемой им партии; он молча и почти недружелюбно следил за их речами. Но в данном случае он несколько раз поворачивался к молодому оратору и своим сильным голосом говорил: «Браво! Браво!». Отворачиваясь от него, он, однако, не мог удержаться от легкой улыбки.

Встал надменный лорд Стэнли и, ни словом не коснувшись невероятного приема, только что оказанного одному из его коллег, подошел к серьезному обсуждению вопроса. Его слушали почтительно. Дизраэли, мрачный я молчаливый, опустил голову на руки. Опять то же самое. Опять поражение, опять позор. Никогда, с тех пор как он следил за заседаниями Палаты общин, никогда не видел он такой позорной сцены. Неужели в парламенте возобновится для него жизнь, как в школе Когана? Неужели ему опять придется бороться и ненавидеть тогда, когда ему хочется любить и быть любимым? Почему ему все дается труднее, чем другим? Но зачем в своей первой речи бросил вызов О'Коннеллу с его шайкой? Как трудно будет теперь восстановить себя! Да и возможно ли это? Он утратил всякое доверие в глазах этого собрания. Он с горечью вспоминал, каким рисовался этот дебют в его мечтах. Он видел Палату, покоренную его фразами, очарованную образами, восхищенную сарказмами. Непрекращающиеся аплодисменты. Быстро завоеванный, непоколебимый успех... Но этот оскорбительный смех! Поражение... Ах, бежать под сень Брэденхэма...

Голосование заставило встать. Прений он не слышал. Добрейший лорд Уайндхэм подошел к нему и поздравил. Он возразил, что не видит повода для поздравлений, и пробормотал: «Это неудача...» «Да совсем нет, — сказал Уайндхэм, — вы очень ошибаетесь. Я только что говорил с Пилем и спрашивал его: «Теперь скажите мне откровенно, что вы думаете о Дизраэли?» Он мне ответил: «Некоторые из моих друзей разочарованы и говорят о неудаче. Я убежден в противном. Он сделал все, что мог в подобных условиях. Я лично думаю, что здесь все, что хотите, но только не неудача: ему необходимо было проложить себе дорогу».

В коридоре лидер либералов остановил Дизраэли и приветливо спросил:

— Теперь, г-н Дизраэли, вы можете мне сказать, как кончалась эта фраза вашей речи, нас всех это очень интересует. «В одной руке ключи святого Петра, а в другой?..»

— В другой фригийский колпак, сэр Джон.

Тот улыбнулся и сказал:

— Прекрасный образ!

— Да, — с горечью возразил Дизраэли, — но ваши друзья не дают мне закончить мои образы.

— Уверю в а с, — сказал лидер в и гов, — что у нас было самое сильное желание дослушать вашу речь. То была небольшая группа, около барьера, укрывшаяся от нашего контроля, но вам нечего бояться.

Что же это такое? Неужели у других не было того же впечатления непоправимого поражения? Как многие нервные люди, Дизраэли так же легко обретал мужество, как и терял его. Уже проходило отчаяние. На следующий день в письме к Саре он определяет размеры поражения: «Я хочу дать тебе точное понятие о том, что произошло, и сразу сообщаю, что мой дебют прошел неудачно в том отношении, что мне не удалось сказать всего, что я хотел, но неудача была вызвана не моим провалом или неспособностью, а исключительно чисто физическим превосходством моих противников. Я не умею сказать тебе, до какой степени они были озлоблены, несправедливы и несдержанны. Я сражался все время с неукротимым мужеством и непоколебимой бодростью, ловко направляя удары то в ту, то в другую сторону каждый раз, как водворялось молчание, и закончил, когда убедился, что больше не о чем говорить...» Он подписался: «Твой прекрасно настроенный Д.».

* *
*

В тот же вечер Булвер, зайдя в Атеней, встретил там старого Шейла, знаменитого ирландского депутата, и лейтенанта О'Коннела. Их окружала группа молодых радикалов, злорадствующих по поводу инцидента с Дизраэли. Булвер подошел молча. Резко отбросив газету, Шейл внезапно сказал своим пронзительным голосом: «Джентльмены, я слышал все, что вы могли сказать; больше того, я слышал и самую речь мистера Диз-

раэли, и я говорю вам: если в ком-либо есть признак красноречия, то это именно в нем. Ничто не мешает ему стать одним из лучших ораторов Палаты общин. Определенно! Думаю, что я немного знаю эту Палату, и вот что я вам еще скажу: не будь всех этих помех, мистер Дизраэли мог бы еще провалиться. Но вчерашний инцидент не был провалом, это был погром. Мой дебют когда-то прошел неудачно и именно потому, что меня слушали. Ко мне отнеслись пренебрежительно, его освистали со злобой... Речь новичка должна быть бесцветной; Палата не допускает, чтобы человек показал себя оратором и умницей, прежде чем она доставит себе удовольствие самой догадаться об этом».

Эта маленькая речь, сказанная политическим противником, всех поразила. Молодые люди, слегка сконфузившись, разошлись в разные стороны. Булвер, подойдя к Шейлу, сказал: «Дизраэли обедает со мной сегодня. Не хотите ли вы его повидать?» «Несмотря на подагру у , — отвечал Шейл , — я умираю от желания его видеть. Мне не терпится сказать ему то, что я о нем думаю». За обедом Шейл был очарователен; он отвел Дизраэли в сторону и объяснил ему, что шумный прием, оказанный его речи, был для него только выгоден.

«Потому что , — сказал он , — если бы вас выслушали, каков был бы результат? Вы могли произнести лучшую в вашей жизни речь — ее приняли бы холодно, и вы отчаялись бы в себе самом. Наоборот, теперь вы показали Палате, что у вас прекрасный голос и большое богатство выражений, что в вас есть мужество, твердость и живость. Теперь, в течение этой сессии, забудьте о ваших талантах. Выступайте часто, так как не надо казаться испуганным, но говорите кратко. Будьте очень спокойны; старайтесь быть скучным; сбивчиво выражайтесь, так как точность ваших выражений они примут за попытку быть остроумным. Поражайте их знанием деталей дела. Приводите цифры, даты. Пройдет некоторое время, и Палата вспомнит об остроумии и красноречии, которые в глубине души все признают за вами; они сами будут побуждать вас воспользоваться этими качествами. Тогда внимание Палаты общин вам обеспечено; и вы станете одним из ее любимцев».

Эти разумные слова, свидетельствующие о глубоком знании англичан, осветили Дизраэли будущее. Никто не мог лучше его понять данный совет и вос-

пользоваться им. Он любил работать над самим собой, как над произведением искусства. Он всегда был готов прибавить новый штрих к картине. Опять он допустил ошибку, за которую так часто порицал его отец: он захотел сразу прославиться. Но он сумеет идти вперед.

Неделю спустя Дизраэли встал во время прений об авторском праве. Почти все готовы были встретить его благосклонно. Консерваторы и либералы одинаково полагали, что к этому человеку отнеслись несправедливо. Вспоминать об этом было неприятно. Они почти все были охотниками: они любили, чтобы оратор, как и дичь, знал минуты удачи. От той грубой сцены осталось чувство стыда. Все теперь были готовы поддержать этого странного молодого человека, если он только рискнет еще раз выступить. Они снесут даже его чересчур блестящие фразы и его необычные сравнения. Но, к общему удивлению, Дизраэли говорил только банальные, бесспорные истины о предмете, который, видимо, хорошо знал. Он сел среди всеобщего одобрения. Автор проекта заявил, что примет во внимание ценные замечания distinguished депутата из Мейдстона, который сам является одним из замечательнейших украшений современной литературы. Сэр Роберт Пильвеско одобрял: «Браво, браво», и многие депутаты поздравляли Дизраэли. Старый полковник-тори подошел к нему и с ворчливой любезностью сказал: «Ну вот, вот вы и опять на коне. Можете теперь скакать».

Дизраэли писал Саре: «Следующий раз я кончу говорить под шумные аплодисменты».

Печальный дебют не только не повредил Дизраэли — он окружил его ореолом жертвы. В три недели он в этой избалованной аудитории почти достиг популярности. Он был отважен; хорошо говорил; казалось, до тонкостей знал предмет, о котором брался говорить. «Почему же нет?» — думали английские джентльмены.

II

ЖЕНИТЬБА

С января успех Дизраэли в Палате стал очевидным. Он пережил пору ожидания, скучной деловитости, предписанной ему Шейлом; предсказание старого депутата оправдалось; теперь всем хотелось, чтобы Дизраэли по-

казал себя во всем блеске. Его брат Джим, бывший на одном из заседаний, рассказывал в Брэденхэме, что стоило только Бену встать, как депутаты толпами начали возвращаться в зал и мгновенно воцарилось полнейшее молчание. Старый Исаак с умилением выслушал этот рассказ; Сара прошептала: «Бог да благословит тебя, мой дорогой!» Она-то всегда была уверена в том, что ее брат великий человек.

Политика заставила Дизраэли отказаться от светской жизни. Впрочем, жизнь многих его друзей изменилась. Блестящая и хрупкая семейная жизнь Булверов разбилась. Булвер в надежде на примирение увез жену в Италию. Но в Неаполе он задумал писать роман, взялся за сюжет «Последние дни Помпеи» и, как в Лондоне, совершенно забросил Розину. Бедная «Пудль», чувствуя себя одинокой в этом чужом городе, где она была лишена даже общества своих любимых собак, допустила ухаживания какого-то итальянского принца. Булвер проснулся от своих грез, реальность привела его в негодование. После двух-трех тяжелых сцен они расстались. Розина Булвер, озлобленная и впавшая в бедность, при встречах с друзьями мужа не уставала жаловаться на него. Булвер чувствовал угрызения совести и тоже не был счастлив. Все это только укрепляло в Дизраэли его недоверие к бракам по любви.

Прекрасная Каролина Нортон тоже страдала. Ее отвратительный муж, используя расположение к ней лорда Мельбурна, внезапно предъявил им обоим обвинение в нарушении супружеской верности. Ей удалось доказать, что он сотни раз сам провожал ее до дверей министра. Суд оправдал ее. Но Нортон тем не менее оставил жену и взял к себе детей, которых по английским законам миссис Нортон не могла требовать обратно. Она умоляла своих друзей, Булвера и Дизраэли, добиться изменения закона. В маленькой квартире на Сторей-гейт с цветущим балконом и кисейными занавесками слышались только жалобы и просьбы. Ее посещали уже не так охотно.

Когда в Палате не было заседаний, Дизраэли иногда проводил вечер у леди Блессингтон. Но там было тоже невесело. Д'Орсей жил так широко и вел такую крупную игру, что не стало хватать средств. В доме появились кредиторы.

Единственное место, где было спокойно и приветливо, был дом Уайндхэм Льюис. У миссис Уайндхэм не было ни очарования сестер Шеридан, ни их ума, но, может быть, молодой, честолюбивый и обидчивый член парламента больше нуждался в дружбе, чем в очаровании.

Дружба миссис Уайндхэм была драгоценна для Дизраэли.

* *
*

Как-то утром, месяцев шесть спустя после вступления своего в парламент, Дизраэли узнал о внезапной смерти своего коллеги и немедленно отправился к его вдове, которую нашел совершенно убитой.

Дизраэли — миссис Уайндхэм Льюис:

«Мне кажется вполне естественным, что после постигшего Вас тяжелого испытания Вы предаетесь одиночеству и тоске. Это естественно и неизбежно; но Вы не должны погружаться в это состояние и должны заставить себя не думать о прошлом. Будущее может сулить Вам еще много надежды и счастья... О себе лично скажу, что постигшее Вас несчастье и, сознаюсь Вам, неожиданные для меня редкие душевные качества, с которыми Вы его переносите, Ваша стойкость, мягкость Вашего характера сделали из меня Вашего верного друга. И поскольку мои советы, моя поддержка или мое общество могут хоть сколько-нибудь облегчить Вашу скорбь, всегда рассчитывайте на меня».

Он продолжал на самом деле быть ее самым верным посетителем. Розина Булвер, подруга миссис Уайндхэм, с презрительным беспокойством наблюдала за посещениями этого приятеля ее бывшего мужа. Мэри Энн призналась ей, что Дизраэли питает к ней более чем дружеское расположение. Розина научилась не доверять литераторам и советовала быть очень осторожной. В память коронации королевы каждый депутат получил золотую медаль. Дизраэли преподнес свою не Саре, а миссис Уайндхэм.

Заключительные фразы писем делались все более пылкими. От «Ваш всегда преданный друг» он перешел к «Прощайте, я счастлив, если счастливы Вы». Знаменательно, что он между нею и Сарой начал делить полные нескрываемой гордости рассказы о своих успехах. И перед ней также снималась маска и опускался щит. «Все лондонские газеты — и либеральные

и консервативные — с самыми большими похвалами отзываются о моей последней речи». — «Лорд Чандос устраивает для герцога Веллингтона большой банкет. Все приглашенные по меньшей мере министры. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что и я среди приглашенных, но Чандос — добрый приятель и радуется моим успехам в парламенте...» — «Лондондерри дают обед на сто пятьдесят человек — сливки Лондона. Фанни *, верный друг, пригласила меня, и я попал в «Морнинг Пост»... Я нахожу, что было чрезвычайно мило с ее стороны пригласить меня. По правде сказать, я этого не ожидал». Описание комнат, украшенных апельсиновыми деревьями, столов, заставленных изумительным хрусталем, копченой семгой, икрой я гусиной печенкой, одновременно посылались Саре и миссис Уайндхэм Льюис. Она как бы становилась членом семьи.

Думал ли Дизраэли о браке? Он не забыл совета графа д'Орсея: «Если вы встретите вдову...», но он прекрасно видел все, что можно было возразить в данном случае. Ему было тридцать три года, ей сорок пять. Она далеко не занимала в свете такого блестящего положения, как он; светские дамы, оспаривавшие друг у друга Дизраэли, были далеки от восхищения Мэри Энн. Состояние? Уайндхэм Льюис оставил своей жене в пожизненное владение дом на Гровнор-гейт и приблизительно четыре тысячи ренты. Этого было достаточно, чтобы жить и прилично принимать, но это не было слишком крупным состоянием; в ее личном владении не было капитала, который позволил бы уплатить долги Дизраэли; к тому же все ее состояние не подлежало передаче, а так как Мэри Энн была значительно старше, Дизраэли сильно рисковал оказаться вынужденным в расцвете жизни выселиться из дома и отказаться от привычного уклада жизни. С другой стороны, Мэри Энн была малообразованна. В обществе ее находили смешной, рассказывали, что она никогда не могла усвоить того, кто появился раньше — греки или римляне. Как-то после разговора о Свифте она спрашивала у всех его адрес, так как собиралась пригласить его к обеду. Женщины находили ее глупой и вздорной, она говорила много и с ужасающей стремительностью; ее откровенность граничила с бес-

* Франсуа Анна, леди Лондондерри.

тактностью. Ее мебель и туалеты отличались причудливым и отвратительным безвкусием. Молодой писатель и будущий министр мог бы найти более блестящую жену.

Но Дизраэли судил иначе. Вопреки мнению света он не находил ее глупой. Правда, она была невежественна, но ему это казалось неважным. Он видел ее за работой во время нескольких избирательных кампаний; она понимала людей, у нее были здравые суждения; то, за что она бралась, она выполняла точно и хорошо. Она будет полезной подругой. Ее легкомысленная болтовня забавляла Дизраэли, успокаивала его. У него было слишком много блестящих приятельниц; ему совсем не улыбалась мысль у себя дома быть вынужденным вечно с кем-то состязаться в остроумии. А главное, Мэри Энн восторгалась им; он чувствовал, что она жить будет только для него. В минуты упадка, часто посещавшие его, он нуждался в поддержке. По его холодным манерам трудно было догадаться о том, как сильно он страдал от своих первых неудач. Его давнишней мечтой было найти другую Сару. Сару, которая одновременно была бы сестрой и женой. Некоторые мужчины дорожат своей свободой, она нужна им для романтических походов. Дизраэли испытал любовную страсть и нашел, что она мешает честолюбию. Ему заманчивее казалось укрыться в объятиях спокойной привязанности.

Он был порывист во всем. Как только он убедился, что Мэри Энн будет подходящей для него женой, он сказал ей об этом. Его признание было неплохо принято. Она очень высоко ценила его таланты и глубоко верила в его блестящее будущее, но, спокойная, уравновешенная, она хотела дать себе время подумать и попросила год на то, чтобы присмотреться к его характеру.

В парламенте наступили каникулы. В Брэдэнхэме все цвело и дышало покоем. Дизраэли был влюблен. Он начал писать трагедию. День за днем он сообщал Мэри Энн о ходе работы и своей любви. «Я делаю быстрые и блестящие успехи. Вы знаете, я не часто бываю доволен собой и не в моих привычках с похвалой отзываться о собственных писаниях. Вы можете поверить, если я скажу Вам, что моя теперешняя работа превзойдет все Ваши ожидания... Здесь почти не осталось цветов. Но я все же посылаю Вам немного душистого горошка».

Четыре дня спустя: «Пишу Вам в добром здравии и в хорошем настроении. Работа идет хорошо, я доволен тем, что сделал. Я смотрю на свое произведение и вижу, что оно удалось. Здоровье, ясность мысли и Ваша бесценная любовь убеждают меня в том, что я могу завоевать мир».

Шесть дней спустя: «Я не умею примирить мысли о любви с разлукой. Я представляю себе любовь, как постоянную радость общения с милой женщиной, которой я предан; как радость делить с ней все мои мысли и фантазии, все мои радости и заботы... Я хочу быть с Вами, жить с Вами, никогда не расставаясь, все равно где, на небе, или на земле, или, может быть, в подводной глубине».

Скоро, однако, ответы на письма Дизраэли делаются более редкими и более холодными. Неожиданное и длительное молчание заставляет его усомниться в чувствах Мэри Энн. В чем дело? Она просила дать ей год, чтобы изучить его характер. Может быть, ее заключительные суждения неблагоприятны для него? Он просит свидания, добывается его и происходит довольно неприятный разговор.

Миссис Уайндхэм Льюис окружена друзьями, которые не одобряют этого брака. Все знают, что молодой Дизраэли запутался в долгах. Как поверить, что он влюбился в женщину, на двенадцать лет старше его самого? Конечно, он ухаживал за ней только для того, чтобы успокоить ростовщиков слухами о своей женитьбе. Розина Булвер часто говорила о великой любви Диззи к четырехтысячной ренте Мэри Энн. Это был последний штрих в портрете этого не слишком разборчивого в средствах красавца авантюриста; он ухаживал за всеми партиями, чтобы попасть в парламент; он кончает теперь тем, что женится на старой женщине с целью приобрести дом и ренту.

Сплетни о Дизраэли дошли до Мэри Энн и беспокоили ее. Эта женщина любила порядок и умела вести счет своим деньгам. Она была влюблена, но не хотела быть обманутой — и довольно грубо высказала все это ему. Уйдя от нее, Дизраэли писал ей:

«Клянусь Вам, что в отношении мирских благ женитьба на Вас мне ничего не дала бы. Все, что может дать мне свет, я всем этим владею. Ведь не кажущееся обладание доходами создает человеку положение. Я могу, не лишаясь чести, жить так, как жил до сих пор,

и спокойно ждать, пока неизбежный ход событий не принесет мне независимости, единственного, к чему я стремлюсь. Я касаюсь всех этих неприятных подробностей только потому, что Вы заподозрили меня в корысти. Нет, я не унижусь до того, чтобы стать фаворитом принцессы, и все это золото Офира не повлечет меня к алтарю. Совсем не того жду я от нежного создания, которое станет моей подругой. Моя природа требует, чтобы жизнь моя была постоянной любовью.

Прощайте. Я не буду притворяться, желая Вам счастья: не в Вашем характере его искать. Еще несколько лет Вы будете вращаться в кругу поверхностных отношений, но придет время, и Вы вздохнете о любящем сердце. Но, увы, не найдете такого, которое было бы Вам верно. Это будет часом возмездия. Тогда Вы с раскаянием, восхищением и отчаянием вспомните обо мне. Тогда Вы вспомните страстно любящее сердце, которое Вы отвергли, и гения, которому Вы изменили».

Миссис Уайдхэм Льюис — Дизраэли:

«Ради бога, приходите. Я больна и почти схожу с ума. Я отвечу на все Ваши вопросы. Я никогда не хотела, чтобы Вы оставили мой дом, никогда не хотела разговора о деньгах... Еще года нет, как я вдова, и мне часто приходится страдать от кажущейся двусмысленности моего положения. Я Вам бесконечно предана».

28 августа 1839 года они были обвенчаны в церкви Святого Георгия. В своей приходо-расходной книге Мэри Энн отмечает: «Перчатки 2/6. В кассе 300 фунтов стерлингов. Вышла замуж 28 августа 1839 г. Милый Диззи стал моим мужем».

«Я знаю, — писал он ей несколькими днями раньше, — что никогда еще двум человеческим существам не выпадало на долю такого полного и беспрестанного счастья. О дне нашего брака я думаю, как об эпохе в моей жизни, которая закрепит мою карьеру. Ничто, что бы отныне ни случилось, не потрясет моей души, ибо в минуты огорчений и разочарований я найду прибежище в Вашем сердце, а Ваш верный и быстрый разум сумеет руководить мной в благополучии и торжестве».

Как раз этого он действительно искал в браке.

* *
*

В том же году женился и другой член парламента, более молодой, но не менее блестящий, — Уильям

Гладстон, с которым Дизраэли обедал у Линдхерста в тот день, когда подавали лебеда с трюфелями.

Женитьба Гладстона произошла совсем иначе, и не лишено интереса привести коротко ее обстоятельства.

Гладстон встретил свою невесту во время путешествия по Италии. Она была дочерью леди Глинн и путешествовала с матерью, сестрами и целой свитой в большой дорожной берлине. Во Флоренции им поклонился молодой человек с властными и правильными чертами лица. Катарина Глинн спросила: «Кто это?» — «Вы не знаете его? Это молодой Гладстон, человек, который, по мнению всех, должен стать премьер-министром».

Молодой государственный деятель в отпуску быстро сблизился с прекрасной и набожной девушкой. Он долго разговаривал с ней в Санта-Мария-Маджоре; они беседовали о контрасте между скупостью англичан в убранстве церквей и роскошью их частной жизни. Она спросила его: «Вы думаете, мы имеем право так жить?» Он ответил в своем дневнике: «Я полюбил ее за этот вопрос. Сладостно думать, что ее сердце и воля всецело в руках божьих; да не оставит он ее во всех ее делах...» Он просил ее руки в светлую лунную римскую ночь, когда оба они были в Колизее. Она колебалась. Но в Англии они снова встретились. Гуляя в саду около реки, он рассказал ей историю своей жизни: он хотел быть священником, но отец воспротивился, и он решил посвятить себя политике, поняв, что государственный деятель может использовать свою власть во славу церкви. Тронутая, она согласилась стать его женой.

«Мы возьмем как правило нашей жизни, — сказал он ей тогда, — стих из Данте: «In la sua voluntate e nostra pace» [«В его воле наш покой»]. Село, где они венчались, было разукрашено цветами. Об этом позаботились благоговевшие перед Гладстоном жители: дорожку, по которой ехал свадебный кортеж, они устлали своими убогими коврами.

В тот же день они часов в пять пополудни вместе читали Библию. «Эта ежедневная привычка будет, надеюсь, длиться столько же, сколько и наша совместная жизнь».

Миссис Гладстон внесла в строгую аскетическую жизнь мужа немного фантазии. Он был воплощенной методичностью и точностью; у нее был природный

здравый смысл. Он всему отводил свое определенное место, она все теряла. Она, поддразнивая его, говорила, что для него полезно было обзавестись беспорядочной женой: это делает его человечнее. Он, со своей стороны, приучил ее анализировать свои чувства, заботиться о душе и вести дневник. В этом дневнике можно было прочесть: «Наняла кухарку после долгой беседы на религиозные темы, особенно между ней и Уильямом».

Она была прелестна, эта Катарина Гладстон.

III

МЭРИ ЭНН

*Он был для нее тем, чем мужчина
всегда должен быть для женщины:
очень нежным,
но все же руководителем.*

Дизраэли

Женатый человек; прекрасный дом в Парк-Лейн; обеды на сорок персон для его коллег; несколько меньше цепей, меньше кружев. Дизраэли очень изменился за несколько месяцев. Мэри Энн могла иметь в глазах других тысячу недостатков; но она была той именно женой, какая нужна была этому гордому и чувствительному человеку. Она окружила его несколько комичным восхищением, но верность ее чувства умиротворяла мучительное и длительное беспокойство его души.

Спустя некоторое время после свадьбы Мэри Энн набросала их двойной портрет:

| | |
|-----------------------------------|---|
| «Очень тих. | Очень бурна. |
| Манеры важны, почти печальны. | Весела и счастлива, когда говорит. |
| Почти никогда не раздражается. | Очень раздражительна. |
| Мрачно настроен. | Всегда весела. |
| Пылок в любви, холоден в дружбе. | Холодна в любви, пылка в дружбе. |
| Очень терпелив. | Ни капли терпения. |
| Очень трудолюбив. | Очень ленива. |
| Очень щедр. | Щедра для тех, кого любит. |
| Часто говорит то, чего не думает. | Никогда не говорит того, о чем не думает. |

Невозможно догадаться,
кого он любит и кого нет.
Не показывает своих
чувств.

Доволен собой.

Нет эгоизма.

Мало что его забавляет.

Он гениален.

На него можно положиться
до известного предела.

Его душа вся отдана по-
литике и честолюбию.

Совершенно несходна
и показывает свои чувства
тем, кого любит.

Недовольна собой.

Очень эгоистична.

Все ее забавляет.

Она простушка.

На нее нельзя положиться.

Никакого честолюбия
и ненавидит политику».

«Я так же дурна и так же глупа, как миссис Диззи», — говорила иногда озлобленная и завидующая Розина Булвер. Потеряв мужа, она не допускала мысли, чтобы другая могла найти себе нового. Но двойной портрет доказывает, что миссис Диззи была несравненно умнее, чем говорила о ней Розина: она одна до сих пор угадала глубокую грусть, скрытую под иронией Дизраэли, уловила отсутствие настоящей веселости и контраст между легкими, насмешливыми манерами прежнего денди и мрачными и сильными чувствами, кипящими за этим узким лбом.

Она всюду сопровождала его. В Брэденхэме все ее обожали: она вносила в дом, где царила старость, свое неизменно веселое настроение. Мистер Исаак почти ослеп: это было бесконечно тяжело для человека, весь смысл жизни которого был в книгах. Сара, целыми днями делая для него выписки, давала ему возможность продолжать научные работы. Мэри Энн и Сара слились в общем восхищении перед Диззи.

Часто супруги Дизраэли проводили по несколько дней в аристократических загородных домах, где наивные выходки миссис Диззи пользовались большим успехом. Дамам, которые спорили однажды о красоте каких-то греческих статуй, она заявила: «О, вы должны были бы видеть моего Диззи в ванне». В другой раз: «Ваш дом наполнен неприличными картинами. В нашей комнате висит прямо ужасная. Диззи говорит, что это Венера и Адонис. Я полночи не спала, так как хотела помешать ему смотреть на нее». Как-то утром, после того как чета Дизраэли ночевала в комнате, соседней с комнатой лорда Хардинга, она за завтраком

заявила этому последнему: «О, лорд Хардинг, я считаю себя счастливейшей из женщин. Проснувшись утром, я сказала себе: «Как мне везет! Я спала между величайшим оратором и величайшим воином нашего времени». Многие смеялись; но смеяться приходилось осторожно, и только за спиной мужа. Несмотря на то, что Дизраэли, как никто, боялся показаться смешным, он с угрюмой твердостью защищал свою жену. Он никогда не делал ей упреков.

Как-то раз, гостя у Булвера, жившего тогда на берегу Темзы, чета Дизраэли поехала кататься на лодке с принцем Луи Наполеоном, претендентом на престол и очень модным в Лондоне изгнанником. Принц чуть не опрокинул их среди реки; положение было очень серьезным. Рассвирепевшая Мэри Энн набросилась на Наполеона, как будто перед ней был неловкий гребец, а не будущий император: «Вы не должны братья за то, чего не умеете делать. Вы какой-то сорви-голова». Принц смеялся от души, а Дизраэли молча, с мрачным видом наслаждался этой сценой.

* *
*

Член парламента, которому удалось выдвинуться, не может не думать о министерстве. Диззи имел все основания надеяться, что в ближайшем будущем станет министром. Либеральная партия терпела поражение. Народ уверили, что реформа избавит его от всех бедствий; народ добился от лордов реформы, однако положение его только ухудшалось. Везде машина вытесняла ремесленника; ткачи, работавшие на ручных станках, умирали с голода; нищета росла. Массы, страдавшие от безработицы, обвиняли во всем политический режим. Теперь их уверяли, что реформа была урезана, что ее свели к замене лордов-землевладельцев лордами от хлопка и прилавка и что только всеобщее избирательное право обеспечит счастье бедняков. Образовалась целая партия, требовавшая проведения Хартии народа. Чартисты вели себя угрожающе: они не только требовали всеобщего избирательного права, но и тайной подачи голосов, жалованья для депутатов и уравнивания избирательных округов. Многие буржуа впадали в панику. Другие думали: «Ничего не случится, так как в этой стране никогда ничего не случается». Одни умоляли министров принять меры против

чартистов, другие хотели ограничить промышленников. Либеральное министерство попало в самое затруднительное положение.

Получившее власть благодаря объединенной поддержке доктринеров, крупных мануфактуристов и традиционных вигов, министерство ничего не могло сделать для рабочих, не вызвав недовольства своих собственных союзников. Единственное, что оно придумало для облегчения нищеты населения, был закон о бедных, учреждавший работные дома, где неимущих кормили, но запирали и подчиняли самому суровому режиму. Эти своего рода тюрьмы, где жену разлучали с мужем и где отец почти никогда не мог обнять своих детей, сразу вызвали к себе глубокое отвращение. Диккенс в «Оливере Твисте» рисует ужасную и правдивую картину работного дома. Народ до того возненавидел эти учреждения, что многие бедняки предпочитали жить в лачугах без мебели и очага, только бы не обращаться за помощью в эти бастилии для неимущих.

Консервативная партия, наоборот, легко могла воспользоваться непопулярностью своих противников. Сыну мануфактуриста Пилю, голосовавшему притом за закон о бедных, было довольно трудно использовать в парламенте создавшееся положение. Но для такого, как Дизраэли, нельзя было придумать лучшей комбинации. Сожаления о прошлом, которых не могли не испытывать бедняки, невольная грусть, с которой они приняли замену дружеской помощи законов и церковных приходов жесткой правительственной подачкой, — все это, правда в наивных формах, было проявлением того народного консерватизма, о котором Дизраэли всегда говорил. В чем было главное зло? В том, что у власти стали выскочки, которые вопреки всем английским традициям сваливали на государство обязанности своего класса.

Когда чартисты представили в парламент свою подписанную 1 200 000 имен петицию и обе главенствующие партии отказались обратить на нее внимание, когда лорд Джон Рассел, отец реформы, перед судом обвинял чартистов, тогда Дизраэли, дитя реформы, почти единственный сказал слово в защиту чартистов.

Он далек был от того, чтобы подобно им уверовать в целительные свойства всеобщего избирательного

права; он думал, что социальное зло можно лечить только социальными же мерами, но он выразил свое сочувствие и свое удивление по поводу того, что лорд Джон Рассел, сам натолкнувший чартистов на их требования, теперь нападает на них. «Придет время, — сказал он с горечью, — и чартисты поймут, что в такой аристократической стране, как Англия, даже предательство, чтобы добиться своего, должно быть аристократично. Они поймут эту великую истину, и, когда они в качестве вождя призовут какого-нибудь экзальтированного большого барина, тогда они, может быть, добьются своей цели. Там, где Уот Тайлер потерпел неудачу, там Генри Болингброку удалось свергнуть династию, и, хотя Джек Струу был повешен, легко может статься, что лорд Джон Струу станет статс-секретарем».

«Прекрасная речь, — говорили депутаты, — но чего он добивается?» — «Я думаю, он переходит к радикалам». — «Но речь была против радикалов». — «Тогда он делается вигом». — «Он-то? Да он донельзя более против вигов». — «Тогда кто же он?» — «Он сумасшедший». — «Что он хотел сказать: «Добиться без Хартии того, чего она добивается?» — «Я думаю, он хотел сказать, что если мы хотим сохранить власть, то можем добиться этого, только осчастливив народ». — «Ну что же? А я что говорил? Это радикализм чистой воды... Воображать, что простой народ может быть более счастлив, чем в настоящее время, это и есть радикализм, и ничего больше».

Либералы, обороняясь, придумали контратаку: тори козлом отпущения сделали крупную индустрию, а пугалом — закон о бедных. Виги задумывали репрессии против крупных землевладельцев и против законов о хлебе. Четыре неурожайных года сильно подняли цены. Почему не допустить, что все зло в дороговизне жизненных припасов? Введением свободной торговли можно сразу угодить и рабочим, и крупным промышленникам. Правда, будут недовольны фермеры, но, так как в подавляющем большинстве они были консерваторами, их недовольство не отразится на положении вигов при выборах. Дизраэли твердо отстаивал протекционистскую доктрину. Кто выиграет от отмены хлебных законов? Бедняки? Нет, только мануфактуристы, так как с падением цен на хлеб снизится и заработная плата. И к чему жертвовать земледельческой Англией

ради Англии промышленной? К чему пытаться обескуражить и разорить фермеров? Сторонники свободной торговли говорят: «Мы будем ввозить продукты питания, но зато наша страна станет мировым заводом». Но кто, в конце концов, может предвидеть будущее? А если мир изменится и сам станет одним сплошным заводом, кто будет кормить Англию?

Положение вигов делалось очень шатким: правда, при всей своей слабости они были еще очень сильны, но поражение их было бесспорным. Герцог слагал с себя власть. Он стал очень молчалив, бывал еще в салонах, где его встречали как властелина, но сидел не говоря ни слова, а если с ним заговаривали, отвечал только коротким «Ага!». Значит, Пиль будет организовывать министерство, и, конечно, там найдется место для самого блестящего оратора консервативной партии. Когда об этом говорили миссис Диззи, она краснела, как молоденькая девушка.

IV

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ БАРОНЕТ

30 августа 1841 года сэр Роберт Пиль отправился в Виндзор поцеловать руку королевы. В первые легкомысленные дни своего царствования она не выносила этого важного и тихого человека, так непохожего на пленительного лорда Мельбурна, который окружал ее роскошью королевы XVIII века. Но теперь она была замужем за прекрасным принцем Альбертом Саксен-Кобургским, а Альберт, как человек строгих правил, любил и уважал сэра Роберта. Все, что любил Альберт, было восхитительно, и на этот раз королева доверчиво приняла лидера тори.

В обществе циркулировали официозные списки министров. В них во всех упоминалось имя Дизраэли, но Пиль его еще не приглашал.

Вскоре Дизраэли узнал, что его друг Линдхерст назначается лорд-канцлером, лорд Стэнли получил управление колониями, герцог Бэкингам стал хранителем печати, молодой Гладстон министром торговли. Постепенно все должности были замещены. В «Карлтоне» группы политических деятелей поздравляли друг друга. Один Дизраэли не получал от премьера ника-

ких известий. Сэр Роберт изменил одному из своих лучших лейтенантов? Это казалось невероятным, но если, к несчастью, это случится, какое разочарование и какое поражение! Консерваторы долго останутся у власти. Быть обойденным сейчас — это значит остаться не у дел до следующих выборов, а может быть, и дольше. Рухнула упорная работа четырех лет парламентской деятельности. Ему уже казалось, что в клубе его встречают с веселой иронией во взгляде и что порой разговоры смолкают при его приближении. В конце недели он впал в отчаяние и решился написать Пилю.

«Дорогой сэр Роберт, я долго воздерживался от того, чтобы в такой момент надоедать Вам своей персоной, и я, конечно, не сделал бы этого, если бы нашел человека, который выразил бы Вам мои чувства. Я не буду тревожить Вас жалобами, от которых Вы, вероятно, уже устали. Я не буду повторять Вам, что с 1834 года я четыре раза боролся за Вашу партию, что я тратил для того большие суммы и что для пропаганды Ваших политических воззрений я, насколько мог, использовал свои умственные способности. В моем случае есть одна деталь, о которой я не могу умолчать. С тех пор как под влиянием одного из членов Вашего кабинета я стал сторонником Вашей партии, мне пришлось вынести такой ураган ненависти и политического озлобления, какие едва ли выпадали на долю кого-либо другого. Во всех этих испытаниях меня поддерживало только сознание того, что придет день, когда достойнейший человек моей родины публично засвидетельствует, что сколько-нибудь ценит мои способности и мой характер.

Признаюсь Вам, что пренебрежение ко мне в данный момент меня приводит в отчаяние, и я обращаюсь к Вашему сердцу, к тому чувству справедливости и великодушия, которые, я знаю, присущи Вам, умоляя спасти меня от невыносимого унижения. Примите, дорогой сэр Роберт, уверения в полнейшей готовности Вашего покорнейшего слуги

Б. Дизраэли.

Предыдущей ночью миссис Дизраэли, которая не могла больше выносить печального настроения своего Диззи, тайком от мужа писала премьер-министру:

«Дорогой сэр Роберт, прошу Вас не сердиться на мое вмешательство, но меня мучает беспокойство.

Политическая карьера моего мужа погибла окончательно, если Вы теперь не обратитесь к нему. Не разбивайте всех его надежд, не заставляйте его думать, что вся жизнь его была ошибкой.

Смею ли напомнить Вам о моей собственной, бесспорно малозаметной, но полной энтузиазма деятельности в пользу партии или, вернее, ее прелестного лидера. Вам могут подтвердить в Мейдстоне, что я одна потратила там свыше сорока тысяч фунтов.

Не отвечайте мне, так как я хочу, чтобы ни одна человеческая душа не знала, что я обратилась к Вам со своей смиренной просьбой. Остаюсь, дорогой сэръ Роберт, Вашей неизменно покорной слугой.

Мэри Энн Дизраэли.

Ответ Пия на письма Дизраэли был очень сух; он особенно настаивал на малозначащей фразе последнего: «С тех пор как под влиянием одного из членов Вашего кабинета я стал сторонником Вашей партии...» Он замечал с некоторой язвительностью, что никакой член его кабинета не получил от него подобных поручений. (Дизраэли ни словом не обмолвился о поручении; он хотел только сказать, что вступил в партию консерваторов под влиянием Линдхерста, члена министерства Пия.) Пиль прибавлял, что ему едва хватает мест для тех, кто уже служил с ним, и он надеялся, что труднительность его положения будет понята людьми, сотрудничеством с которыми он мог бы гордиться и чьих достоинств он не смеет отрицать.

В действительности Пиль не прочь был бы дать Дизраэли какое-нибудь назначение, но кругом него были сотрудники, которые не хотели иметь в своей среде авантюриста. Крокер, например, тот Крокер, «более омерзительный, чем холодная телятина», который был свидетелем и причиной неудачи Дизраэли во времена основания журнала, или лорд Стэнли, высокомерно и не стесняясь заявивший, что «если этот мерзавец войдет сюда, я уйду».

Но Пиль не мог слишком горячо отстаивать Дизраэли. Эти два человека были слишком несхожи. У парламентской колыбели Пия стояли Богатство, Нравственность, Уважение; при запоздалом парламентском крещении Диззи бродили бледные Долги, Цинизм, Фантазия. Супруги Пиль славились своим изысканным вкусом. Их лондонский дом с цветущими балконами, выходившими на реку, и превосходным собранием

голландских мастеров был прелестен. «У вас замечательно вкусные обеды», — говорили им посетители французы. Леди Пиль была очень красива и нежна; ее портрет работы Лоуренса — подражание «Соломенной шляпке» Рубенса — многими знатоками считался лучшим созданием художника. Все, что окружало Пиля, было овеяно чисто фламандской добротностью и добродетельной красотой. Все, что имело отношение к Диззи, было крикливо. Бриллианты на леди Пиль играли темным огнем; на миссис Диззи лучшие камни казались поддельными. Дом Мэри Энн на Гровнор-гейт был украшен с крикливым безвкусием. Ее мебель была отвратительна, а костюмы смешны. Мелочи, конечно, но они невольно усиливали недоверие министра. Впрочем, Пилю взгляды Дизраэли не нравились так же, как и он сам. По своему происхождению Пиль был ближе к заводам, чем к замкам или хижинам. Он скорее был пуританин, чем рыцарь. В самом деле, он происходил из крупной буржуазии. Его сердце и ум были на стороне Кобдена, Брайта, на стороне противника. Он был очарован рассуждениями «экономистов», их порядочной внешностью и грубыми башмаками Брайта; все это нравилось ему гораздо больше, чем ирония чересчур блестящего оратора. Очень по сердцу ему был Гладстон, такой же, как он сам, — «Оксфорд по внешности, Ливерпуль по существу». Подобно ему самому, Гладстон был членом парламента в двадцать один год и статс-секретарем в двадцать пять. Гладстон перед каждой речью умел запутать длинными неясными фразами. Дизраэли унижался до просьб о должности в министерстве. Гладстон, когда ему предлагали министерство, преважно спрашивал себя, позволит ли ему религиозная политика кабинета стать членом его. Для робкой и честной души Пиля было большим облегчением видеть, что честолюбие затушевывается такими приличными мыслями. Когда Гладстон наконец согласился, Пиль крепко пожал руку молодого министра: «Да благословит вас бог». Разве мог он так говорить с циничным Дизраэли? Стэнли прав: этот человек невозможен.

* *
*

Министерство было организовано. Парламент собрался; Дизраэли шел туда с большим волнением: его

положение было очень двусмысленным. Оппозиционная партия с радостью использовала бы его для борьбы со своими противниками, отныне несчастный, оставшийся не у дел консерватор станет как бы одичалым животным. Законопроекты будут защищаться министрами. Он нужен будет только как лишний голос. Тягостная роль для человека с самобытным, сильным умом! Его неудача забавляла врагов. С злорадным любопытством следили за выражением его лица. Ждали, что он выступит против оскорбившего его лидера, многие коварные советники подбивали его к тому, радикалы ухаживали за ним.

Он учел опасность положения. Он испытывал против Пилы сильное раздражение. Было вполне законным не пригласить его в кабинет, но тон отказа был оскорбителен. Когда Дизраэли смотрел на министерские скамьи и видел довольные лица бездарностей, которые посмели пренебречь им, он чувствовал в своей душе бешеное желание мстить. Но он обуздал свою кипучую душу. Теперь больше, чем когда-либо раньше, нужно было быть терпеливым. Таково же было мнение благоразумной Мэри Энн, восхитительно нежной во все эти тяжелые дни.

С изумлением убедилась Палата, что Дизраэли, аккуратно посещавший все заседания, с полнейшей готовностью голосует за министерство. Пиль, желавший угодить сторонникам свободной торговли, исключил из таможенного тарифа до семисот пунктов и, чтобы не нарушать бюджета, взамен этих сборов ввел любопытную новость — налоги на доход. Протекционист Дизраэли не моргнул глазом. Он ограничился тем, что произнес большую речь по чисто техническому и безобидному вопросу — об агентах при консульствах. Речь была точна, изобиловала цифрами и анекдотами, но настолько интересна, что в течение трех часов во враждебно настроенной Палате царил полная тишина и безмолвие. Многие, видя, что Пиль пренебрег им, начали сомневаться в талантах Дизраэли. Его выступление было блестящим и тем более замечательным, что тема была очень неблагоприятной.

Среди тех, кто особенно горячо поздравлял Дизраэли, была группа молодых людей, только что выпущенных из Кембриджа и попавших в парламент по последним выборам. Это современное, не трафаретное красноречие привело их в восторг. Молодой Смит

заявил ему. «Вы говорите совершенно так, точно разговариваете в «Карлтоне» или у себя за столом: голос совершенно не напрягается, выражения ясны, несколько небрежны, всегда окрашены сарказмом». Он был прелестен, этот юный Смит, так же как его друг лорд Джон Маннерс и весь их небольшой дружеский кружок. Они были все из очень старых и очень знатных родов, владели сказочными замками, расположенными на покрытых туманом холмах или прячущимися среди деревьев громадных парков. Они воспитывались в Итоне и Кембридже; там у них завязались прекрасные дружеские связи, и вместе они создали политическую доктрину, основанную на восстановлении старинных институтов и на примирении народа с чутко сознающей свои обязанности аристократией. Все это было так близко Дизраэли!

Рост промышленности, увлекавший зрелых людей, не мог стать религией для юношества. В нем жила вечная потребность веры, которую культ миткаля оскорблял. Правило «покупайте по самым низким ценам, а продавайте по самым высоким» не могло стать для них Евангелием. Антиромантизм 1820 года сменила романтическая реакция. Эти молодые англичане серьезно собирались воскресить рыцарство, его понятия о чести и благоговейное уважение к женщине. Феодальные порядки могли отжить свое, но желанными оставались нравы феодализма, которые людей как бы связывали круговой порукой взаимных обязательств. Они сожалели, что прошли времена, когда жизненным правилом было «Noblesse oblige» [благородное происхождение обязывает]. Может быть, еще возможно было раздуть угасающее пламя?

В 1839 году лорд Эглинтон устроил в своих владениях турнир. Все английское дворянство присутствовало здесь, одетое в доспехи предков. Одна из приятельниц Диззи, леди Сеймур, была царицей красоты. К несчастью, чисто манчестерский дождь залил энтузиазм; над средневековыми костюмами распустились тысячи зонтов. Рыцари Льва, Белой Богини, Зеркала — все превратились в рыцарей печального образа. Стихии оказались победителями. Но молодость борется со стихиями. Движение, не затихая, принимало иные формы. В Оксфорде оно вылилось в форму религиозного возрождения. «Восхитительно нежный» голос Ньюмена начинал восхищать души. Молодые церков-

ники пытались ввести в англиканскую церковь католические обряды. В течение сорока лет англиканская церковь больше боялась религиозного экстаза, чем полного безразличия. Молодые люди устали от этих замкнутых соборов и холодно-официальных богослужений; некоторые отправлялись в Рим; другие в своей собственной церкви пытались ввести более трогательные обряды.

В Кембридже новые друзья Дизраэли — лорд Джон Маннерс, Джордж Смит, Кокрен — решили узнать новые страдания и найти пути к их исцелению.

Как все истинные друзья, они мало были похожи друг на друга. Лорд Джон Маннерс, серьезный и верующий, чистый душой Ланселот, заблудившийся в мире машин, всем сердцем сожалел о прошлых временах, когда монарх преклонялся перед святым и народ видел в короле помазанника божьего, а в дворянине — господина и покровителя. На эти темы он писал довольно плохие и до смешного наивные стихи:

Да сгинут деньги, торговля и законы!

Но оставьте нам наше старое дворянство...

Джордж Смит был юноша с замечательно сложным характером: сентиментальный распутник, одновременно циничный и романтичный, он был способен отказаться от всех своих идей ради каких-нибудь светских соображений, но так же легко мог с причудливостью духовидца отвергнуть все мирские блага. Станный человек был этот Джордж Смит! В двадцать лет он, подобно старому мудрецу, был чужд всяких иллюзий, в двадцать пять мог беситься как ребенок. Поэт без аскетизма поэта, лишенный всякого вкуса к деньгам, охотник за большим приданым, он писал в своем дневнике: «Если вы хотите вкусить от жизни, пейте ее маленькими глотками», а сам пил ее, не отрываясь. Дизраэли очень восхищался Джорджем Смитом. Это был единственный человек, с которым ему никогда не было скучно. Он любовался дружеской привязанностью Смита к Маннерсу, верой Маннерса в таланты Смита, скромностью Смита, когда он, обычно такой гордый, сравнивал себя с Маннерсом. Когда он смотрел на этих двух вступающих в жизнь юношей, они казались ему двумя странствующими рыцарями, доспехи которых поблескивают на солнце.

Пиль разочаровал этих пылких юношей. В нем не чувствовалось гениальности, его банальные фразы ка-

зались им смертельно скучными. Красноречие Дизраэли их опьяняло. Смит решил, что ум Диззи совершенно гармонирует с его собственным. Лорд Джон был несколько сдержаннее. После первой встречи он заметил: «Дизраэли хорошо говорил, может быть, даже слишком хорошо». Его смущала излишняя откровенность Диззи, который, выходя из заседания, где он защищал церковь, бормотал: «Забавно, Вальполь, что мы с вами только что голосовали за отжившую мифологию»; этот Диззи удивлял и шокировал его. Его несколько удивило также, когда Диззи объявил этим молодым английским аристократам, что вообще не существует никакой английской аристократии. «Английские пэры, — говорило н, — тройкого происхождения: ограбление церкви, продажа титулов первыми Стюартами, продажа округов в нынешнее время. Все ваши пэры очень недавнего происхождения. Когда Генрих VII созвал свой первый парламент, там было только двадцать девять пэров-мирян, а из этих родов до наших дней дожили только пять». Потом он объяснил им, что аттестат на самое древнее культурное происхождение может быть дан только племени израилю и что сам он гораздо более древнего происхождения, чем они. Смит смеялся; Джон Маннерс слушал с ангельской серьезностью.

* *
*

Приятно быть окруженным учениками, но все же время текло непоправимо быстро. Пиль, казалось, прочнее, чем когда-либо, стал у власти. Все пути к активной деятельности были отрезаны. «Я думаю, — сказал Дизраэли жене, — что пришло время последовать примеру старика Талейрана, который каждый раз, когда положение было ему неясно, объявлял себя больным». И он решил провести зиму в Париже. Перед отъездом он навестил своих избирателей и объяснил им мотивы своего поведения: он будет продолжать голосовать за Пилья, так как этого требует партийная дисциплина, кроме тех случаев, когда премьер предложит что-либо в ущерб земледельцам.

В Париже они с Мэри Энн остановились в отеле «Европа» на улице Риволи. Д'Орсей рекомендовал супругов Дизраэли своей сестре Граммон, и она очень приветливо встретила их. Госпожа Граммон принимала

три раза в неделю в небольшом домике в квартале Сент-Онорэ, тесно заставленном старинной мебелью и увешанном картинами. Там Дизраэли встречался с Эженом Сю, «единственным писателем, которого принимают в высшем обществе». Хорошенькие барышни Граммон начало вечера проводили с гостями, но в десять часов прощались с матерью и шли спать.

Тотчас же Дизраэли были приглашены к г-же Бодран, жене генерала Бодрана, адъютанта короля. Это была восхитительная англичанка, настолько молодая, что казалась дочерью своего мужа. Там они встретились с англо-французскими семьями: с Ламартинами, Одилон Барро, Токвилями. Генерал Бодран взялся предупредить короля, что член парламента, г-н Дизраэли, желал бы изложить его величеству кое-какие соображения о состоянии политических партий Англии. Эти соображения, если они только будут правильно оценены, смогут оказать значительное влияние на политику обоих государств.

Король принял Дизраэли в Сен-Клу. Ему показалось занятым это грустное и умное лицо, обрамленное длинными черными кудрями; Дизраэли заинтересовал короля, понравился ему и получил приглашение бывать. Он стал постоянным посетителем дворца. Королева, принцесса Аделаида и герцогиня Немурская садились вокруг стола и рукодельничали. Приносили мороженое, король уводил Дизраэли в соседнюю комнату и разговаривал с ним то о политике, то о необычных приключениях своей юности, о тяжелой жизни, которую ему пришлось вести. «Ах, мистер Дизраэли, моя жизнь была полна превратностей».

Он очень любил говорить по-английски, но говорил с слишком американским акцентом. Король говорил Дизраэли, что он один умеет управлять французами: «Единственный способ держать этот народ в повиновении — это предоставить ему свободу, но твердо знать, когда его надо остановить». Близость с таким чрезвычайно умным королем восхищала Дизраэли. Осуществлялась одна из его детских грез. Но, к сожалению, он не мог не согласиться с генералом Бодраном, находившим, что король несколько вульгарен. На парадных обедах в галерее Дианы Луи Филипп приказывал подать себе окорок и сам разрезал его на тонкие, как бумага, ломтики. Такие ломтики он посылал избранным гостям и очень гордился своим талантом. Он объяс-

нил Дизраэли, что искусство резать ветчину перенял от официанта английского ресторана, в котором в годы изгнания обедал за девять пенсов. Короли в романах Дизраэли отличались более развитым чувством этикета.

V

«МОЛОДАЯ АНГЛИЯ»

*А что же вы сделаете с Граалем,
если найдете его?*

Маннерс и Смит, изучив тщательно политическое положение, пришли к выводу, что единственный способ сохранить верность своим идеям лежит в организации собственной, хотя бы и очень немногочисленной, партии. Но нужен был опытный лидер. Почему бы не пригласить Дизраэли, оставшегося не у дел? Смит и его друг Кокрен (которого друзья запросто называли Кок) направились к Диззи в Париж. Они нашли его торжествующим, по-ребячески радующимся своим успехам и своей полной министров приемной. Ему было под сорок, но он сохранил приятную способность ослепляться собственным блеском. «Запершись с Луи Филиппом в Сен-Клу, — писал Смит Маннерсу, — он уже видит себя основателем новой династии, а свои локоны а ля Манфред — выгравированными на монетах королевства».

Диззи с энтузиазмом принял своих молодых друзей. Тайное соглашение между группой депутатов, которые примут взаимное обязательство всегда голосовать вместе и подчиняться решениям большинства группы, такое соглашение не могло не увлечь любителя политических заговоров. Тотчас же в его воображении группа разрослась, превратилась в партию с пятьюдесятью—шестьюдесятью членами. Пиль будет обеспокоен, побежден, унижен.

Друзья пообедали за городом на равнине Монсо, на Роше-де-Канкаль; вернувшись в Париж, долго спорили, прогуливаясь по Вандомской площади. Соглашение было достигнуто.

Кок не был в таком восторге от Диззи, как Смит. Он нашел его слишком расчетливым и честолюбивым.

Он упрекал его в излишке ума и в недостатке юмора, то есть ума, направленного против себя самого. Маннерс, когда его известили о ходе дел, тоже несколько обеспокоился. Одинаковые ли цели они все себе ставили? Дизраэли больше всего думал о борьбе с министерством; его ученики хотели только связать узами симпатии кружок друзей. Грандиозные комбинации Диззи казались им безумием. Опрокинуть Пиля? Во-первых, это было невозможно. Премьер-министр опирался на подавляющее большинство. А во-вторых, желательно ли это? Как только небольшая группа станет партией, вынужденной ради политических интриг жертвовать идеалами, зависть стеной станет между ними, и тогда конец прекрасной забаве. «Если бы я мог быть уверенным, — писал Джон Маннерс, — что Дизраэли верит всему, о чем он говорит, я был бы счастлив. Его политические взгляды совпадают с моими, но верит ли он в них?»

В отношении религии Маннерс был особенно требователен, так как сам был глубоко верующим человеком. После долгих бесед с Дизраэли он поверил, что последний очень предан умеренному оксфордизму, то есть англиканской церкви, ставшей более романтической, но не присоединившейся при этом к католицизму. Циник Смит очень забавлялся религиозными беседами своих друзей. Их точки зрения были так различны, что ни тот, ни другой даже не замечали этих различий. Для Диззи англиканская церковь была большой исторической силой, которую надо было уважать и поддерживать, но у него и мысли не мелькало, чтобы можно было придавать какое-либо значение букве догматов. Для Джона Маннерса вера была настолько очевидной необходимостью, что он не постигал, каким образом человек может жить, не будучи уверенным в незыблемости всех догматов. Проницательный Смит писал: «Преданность Дизраэли умеренному оксфордизму напоминает мне преданность Бонапарта умеренному магометанству».

* *
*

Как только Диззи вернулся в Лондон, группа начала действовать. Четыре инициатора уселись вместе позади Пиля, обменивались своими впечатлениями от заседаний и, не колеблясь, голосовали против министер-

ства, когда его предложения противоречили принципам «Молодой Англии». Так они вместе с радикалами голосовали за закон об охране детей (а в те времена дети работали часто по 12 часов в сутки) и возражали против репрессий в Ирландии. В таких случаях они торжественно отмежевывались от консерваторов, и кто-нибудь из них излагал принципы народного консерватизма.

Ничто не могло больше раздражать Пиля, чем этот систематический и теоретически обоснованный бунт. Человек очень властный и привыкший к слепому повиновению, он обычно обращался с членами своей партии с холодной нетерпимостью. Если кто-нибудь из них робко замечал: «Мне кажется, я должен был говорить...», он сухо отвечал: «Вам так кажется». Даже на заседаниях кабинета министров, если кто-либо из коллег осмеливался возражать ему, он брал газету и дулся. «Да он меня пинками выгонит, если я посмею спорить с ним», — говорил один из его министров. Его бесила упорная оппозиция трех юнцов и романиста. Естественно, что он все приписал интригам Дизраэли и начал относиться к нему буквально как к собаке. Во время заседаний он на самые безобидные вопросы отвечал ему с уничтожающей резкостью. Дизраэли подчеркивал ее: «Достопочтеннейший баронет с той утонченной вежливостью, которая является привилегией его друзей...» Тори, так часто раньше терпевшие грубости от своего лидера, закрывались руками и, опустив глаза, улыбались.

Один из министров, сэръ Джеймс Грэхем, писал Крокеру: «Что касается до «Молодой Англии», то Дизраэли, как самый ловкий из них, приводит в движение всех марионеток. На мой взгляд, этот беспринципный и обманувшийся в своих ожиданиях человек напропалую старается нас теперь запугать. Я согласен с Вами, что остальные вернутся в свои стойла после того, как вволю порезвятся и попрыгают козлами. Один-два ловких удара кнутом могут ускорить и обеспечить их возвращение. Но Дизраэли вреден, и у меня нет никакой охоты идти на соглашение с ним. Для нашей партии будет гораздо лучше, если он перейдет в лагерь наших явных врагов».

Королева, теперь глубоко привязавшаяся к «милейшему сэру Роберту», писала своему дяде, королю бельгийскому, что она «благодаря выходкам кучки моло-

дых дурачков чуть не потеряла своего премьер-министра». Пиль согласился с мнением Грэхема и Крокера и решил прогнать Дизраэли из партии: лишенный поддержки консерваторов, он потеряет свое место на следующих выборах и таким образом удастся от него избавиться. Дизраэли не был приглашен на пленарное собрание партии. Он запросил премьера, что тут — забывчивость или исключение? Ему ответили, что забывчивость была преднамеренной и что объяснение этому он может найти в своем поведении за последние месяцы.

Существование группы «Молодая Англия» постепенно сделалось известным в стране. Кучка одетых в белые жилеты юных джентльменов, пишущих плохие стихи, бредящих рыцарями, замками и сеньорами и претендующих этими феодальными побрякушками привлечь внимание рабочих, очень забавляла Джона Буля. «Панч» напечатал «Стихи к судье осужденного члена «Молодой Англии». В этих стихах осужденный джентльмен просил, чтобы его привязали к задку телеги и как следует отхлестали кнутом, дабы тем самым воскресить доброе старое английское наказание. Но далеко не все смеялись. Четверо друзей ездили в Манчестер, где их очень хорошо приняла чисто рабочая аудитория. Маннерс и Смит также подолгу беседовали с мануфактуристами и убедились, что если существуют жестокие и алчные промышленники, то немало среди них и очень человеческих. Вот тут-то крылись, по их мнению, зачатки нового феодализма. Надо было только, чтобы промышленники отчетливо поняли свои обязанности. Было бы банальным и бестактным говорить красивые фразы о вреде роста промышленности. Надо было увлечь промышленную молодежь идеями народного консерватизма.

На каникулах члены «Молодой Англии» съезжались в обширном поместье, принадлежавшем кому-либо из них, Дизраэли любил эти собрания. Его согласие с молодыми людьми было полным. Их тесно связывала общая всем любовь к романтическому и сознание того, что жизнь является не только довольно-таки низкой борьбой интересов и потребностей, но что в ней могут существовать и пламенная дружба, безрассудная и благородная верность и искание красоты. Джон Маннерс, встретив в Дизраэли эти чувства и уверившись в их искренности, привязался к нему еще сильнее, чем

оба его приятеля. Все трое писали ему: «Дорогой вождь и капитан». Он же в них переживал вновь свою юность, но с той независимостью, которую дает знатное происхождение и которой он никогда не знал. Таял внешний цинизм, привитый ему тяготами жизни. Он был благодарен своим друзьям за то, что они в себе самих воплощали его мечты.

И на этот раз искренние переживания пробудили в Дизраэли желание писать. Он мечтал о романе, героями которого будут Смит, Маннерс и их друзья. Этот роман в то же время должен был иметь и большое политическое значение: в нем будет показано убожество всех существующих партий и возможная роль консервативных принципов. В тени старинных парков делился Дизраэли этими планами со своими единомышленниками. Он задумал трилогию о современной Англии: «Аристократия. Народ. Церковь». Вымысел покорял его: реальная политика отходила на задний план. Он заперся в Брэдэнхэме и взялся за работу. Но, зная теперь о неустойчивости своего характера, говорил: «Я хочу, если только справлюсь, освободиться к январю, так как нельзя сочетать воедино мечту и практическую деятельность».

* *
*

Один из друзей Дизраэли опубликовал в 1844 и 1845 годах два первых тома трилогии «Молодая Англия» — «Конингсби» и «Сибила».

«Конингсби», или «Новое поколение», был одновременно повестью о его друзьях, сатирой на современных политических деятелей и средством для самого Дизраэли при помощи вымысла уточнить свои взгляды. Смит послужил моделью для героя Конингсби; Маннерс и Кокрен изображены рядом с ним. Автор показывает их сначала в Итоне и Кембридже, они уже разочарованы банальностью современных политических идей и равно презирают как либералов, так и консерваторов: консерваторов, ничего не стремящихся сохранить, и либералов, ненавидящих свободу. «Консервативное министерство? Ну да, поступки виггов и принципы тори». В поисках новой политической доктрины Конингсби встречается с таинственной личностью, Сидонией, который наконец объясняет ему мир. Сидония, по происхождению испанский еврей, царски богат. Это сме-

шение в одном лице Дизраэли и Ротшильда, или, вернее, это то, чем хотел бы быть Дизраэли, или то, чем он хотел бы видеть Ротшильда. Фразы Сидонии отрывисты, но прекрасно построены. Кажется, он продумал все на свете. Несколькими словами он разрешает самые сложные проблемы, и притом проделывает все это с почти нечеловеческим спокойствием. Единственно, в чем его можно упрекнуть, это в недостатке серьезности. Над самыми серьезными его речами веет легкое дуновение иронии. От глубокой серьезности он легко переходит к острым сарказмам. Но этот внешний недостаток серьезности вполне искупается необыкновенной свободой мысли, которая, возможно, является его следствием.

Сидония проповедует Конингсби веру в значительность индивидуальности. «Но перед могуществом общественного мнения что значит отдельный человек?» — спрашивает Конингсби. «Он божественен», — отвечает Сидония. «Какую цель должна преследовать юность?» — Она должна пытаться вновь создать такую форму правления, которую народ любил бы, а не только терпел. Юность должна обладать героическим честолюбием. Без честолюбия никакое государство не прочно, а политическая жизнь все равно что жаркое без соли. Без него корона — пустое украшение, церковь — административный орган, а конституция — пустая мечта.

Книга заканчивается вступлением Конингсби в парламент. Роман очаровал «Молодую Англию», он был ее эпопеей.

«Сибилла», или «Две нации», не менее замечательна. Две нации — это бедные и богатые. Роман показывает англичанам, какова в действительности жизнь бедняков. Дизраэли изобразил нищету сел, промышленных городов и рудников. Интрига мелодраматична, но описания народной жизни точны и трогательны, без преувеличения. Чувствуется, что автор описывает народ с симпатией, но и с большой правдивостью. Ни в одной из своих книг Дизраэли не был так серьезен. Говоря о народе, он переставал насмехаться. Роман заканчивается пламенными, полными веры словами, ими автор как бы поручает молодой избраннице заботы об облегчении народной нищеты. Народ будет беспомощен до тех пор, пока не будет бороться под руководством своих природных вождей. «Я молюсь о том, чтобы дожить до того времени, когда в Англии вновь водворится свободная монархия и народ достигнет благосостоя-

ния; я убежден, что эти два великих явления могут быть вызваны к жизни только энергией нашей молодежи. Мы живем в такое время, когда слова «молодость» и «равнодушие» не могут быть синонимами. Мы должны быть готовы к наступающему часу...»

В начале книги можно было прочесть: «Я хотел бы посвятить этот труд женщине, чья прекрасная душа и благородное сердце всегда сочувствовали страдающим, чей нежный голос будил мужество и чей вкус и тонкое суждение руководили автором этих страниц, самому строгому из критиков, самой совершенной из супруг».

VI

ДУБ И ТРОСТНИК

Дизраэли любил говорить, что после выхода в свет каждой его книги ум его как бы совершает скачок. Писание романа было для него особым методом анализа, «пробой» поведения и как бы «репетицией» политических выступлений. «Поэзия является предохранительным клапаном моей душевной жизни, но я хочу осуществить то, что навеяла мне фантазия». Воплотивши в «Конингсби» и «Сибиле» свои политические идеалы, Дизраэли с наслаждением вернулся к политической деятельности. К сожалению, «Молодая Англия» была скорее эмоцией, чем программой, и никогда плотные, с багровыми лицами джентльмены, восседающие вокруг него, не примут всерьез идей народного консерватизма. Надо было найти точку отправления и пуститься в море реальности. Каково же было политическое состояние Англии?

Палата общин была более чем когда-либо покорна сэру Роберту Пилю, а сэр Роберт Пиль желал сбросить с себя власть партии. Он в гордом упоении своей силой считал себя способным вызвать к себе восхищение как сторонников, так и противников. Уверенный в своей непогрешимости, он всякое возражение себе считал грехом. Он был заражен честолюбием, облеченным в моральные формы, самым тяжелым из заболеваний политических деятелей, одним из тех заболеваний, из-за которых человек неспособен ничего прощать.

В эти годы Дизраэли любил повторять изречение кардинала Реца: «Нет ничего в мире, в чем не было бы

решающего момента, и верх мудрости возведения — выяснить и выбрать этот момент». После тщательного анализа парламентской атмосферы Дизраэли решил, что наступил этот решающий момент. После долгих и терпеливых наблюдений характер Пия стал для него вполне ясен. Как все умные, но неспособные к творчеству люди, сэр Роберт обладал опасной склонностью к заимствованию творений других. Неспособный сам создать систему, он с пожирающей энергией набрасывался на те, которые попадались ему под руку, и проводил их с упорством, какого, конечно, не нашлось бы у самих создателей этих систем. Таким образом, по странной иронии судьбы, кажущаяся устойчивостью его мышления делала его самым неустойчивым из лидеров. С ним бывало, что он упрямо отстаивал какую-нибудь систему, несмотря на то, что благоразумие требовало давно отказаться от нее, потом, внезапно усвоив доводы противников, он делался страстным защитником совершенно противоположной политики. Так было, когда он сурово, почти жестоко, боролся с Каннингом, который требовал эмансипации для католиков. А после смерти Каннинга сам сделался эмансипатором католиков. Так было и теперь: избранный земледельцами для отстаивания протекционистской политики, он, очертя голову, бросился проводить принцип свободной торговли. Часто случалось, что, когда он сам был глубоко убежден в своей искренности и в последовательности своих взглядов, в глазах других он казался перебежчиком. Дизраэли правильно учел направление, в котором надо было вести атаку, и решил вести ее до конца.

Первая вылазка была вызвана резким ответом Пия. Как-то Дизраэли сделал несколько замечаний, причем просил министра не принимать его слов за проявление враждебного чувства, а, наоборот, видеть в них исключительно дружескую откровенность. Пиль встал и, обернувшись к Дизраэли, с презрительной злобой произнес стихи своего знаменитого предшественника Каннинга:

Пусть наступает на меня мой явный враг — борец,
Я буду биться с ним без страха и боязни,
Но изо всех ужасных кар твоих не посылай, Творец,
Одной, — расположенья друга, полного приязни.

Цитата была неосторожно выбрана человеком, который сыграл при Каннинге роль именно этого опас-

ного, как многие говорили, вероломного друга. Депутаты переглядывались, наблюдали за Дизраэли; он молчал. Но несколькими днями позже он вновь встал, протестуя против системы обращения к лояльности тори с тем, чтобы заставить их голосовать за политику вигов. «Достопочтенный джентльмен, — начал Дизраэли, — застал вигов в бане и унес их одежду. Он оставил их наслаждаться либеральной позицией, а сам выступает как строгий консерватор, правда в одежде вигов». Вся Палата смеялась и аплодировала. С невозмутимой серьезностью Дизраэли продолжал: «Если достопочтенный джентльмен находит иногда нужным выговаривать кому-либо из членов своей партии, возможно, что мы заслуживаем этого. Лично я вполне готов преклониться перед его указкой, но, если бы достопочтенный джентльмен, не прибегая к порицанию, всегда пользовался цитатами, он мог бы быть уверен, что это сильнейшее оружие. Этим оружием он владеет мастерски, и, когда в стихах или прозе ссылается на чей-нибудь авторитет, он может быть уверен в успехе. Отчасти потому, что он никогда не приводит случаев, которые не были бы в прошлом одобрены парламентом, особенно же потому, что его цитаты всегда так удачны. Достопочтенный джентльмен прекрасно знает, какое значение имеет в споре ссылка на великое имя, он знает, что это производит эффект, действующий почти как электрический ток. Он никогда не ссылается на автора, который не был бы любим всеми и велик, как, например, Каннинг. Вот имя, которое, как я уверен, никогда не будет произнесено в Палате общин без волнения. Мы все восхищаемся гениальностью Каннинга. Мы все, или почти все, оплакиваем его преждевременную кончину, все с сочувствием вспоминаем о его борьбе с господствующими предрассудками и окружающей посредственностью, с явными врагами и искренними друзьями. Достопочтенный джентльмен может быть уверен, что цитата из такого автора всегда будет производить впечатление. Возьмем хотя бы стихи, написанные мистером Каннингом и цитированные недавно достопочтенным джентльменом. Тема, поэт, оратор — какая счастливая комбинация! (Долгие и шумные крики одобрения.) Действие ее в споре может быть подавляющим, и я уверяю, что, если бы она относилась ко мне, мне осталось бы только публично поздравить достопочтенного джентльмена с его превосходной памятью и крепкой совестью».

Эти легкие и ядовитые фразы бросались с редким мастерством. Вначале мнимая приниженность, тихий однообразный голос, медленное приготовление. Внезапно слова «Каннинг, например...» доставили слушателям удовольствие от предвкушения нападения, тем более неотразимого, что оно маскировалось отточенностью формы и вкрадчивой мягкостью голоса. Эффект был необычайный, восторг достиг таких размеров, что один из министров, вставший, чтобы ответить, должен был долго стоять молча. Пиль, опустив голову, поблбднв, дышал с трудом. Один Дизраэли был невозмутим, точно человеческие страсти не имели над ним власти. «Эта сцена заставила бы Вас плакать от радости», — писал Смит Мэри Энн. В Брэдэнхэме старый слепой отец, сидя рядом с Сарой, повторял: «Тема, поэт, оратор — какая счастливая комбинация!»

Пиль чувствовал, что надвигается гроза. Он был самолюбив и избалован уважением. Он еле сдерживался. Как Палата могла допустить, чтобы величайший парламентский деятель был так оскорблен наглецом? И какая несправедливость... Каннинг! Ну да, он любит Каннинга, но обстоятельства были так запутанны, вина обоюдной, как всегда в таких случаях. Он сделал попытку объяснить, но слушатели были враждебны. Тогда, под влиянием неподдающихся контролю настроений, он проникся сильной враждой к интересам тех землевладельцев, которые поставили его к власти. Бюджет дал излишки, и многие консерваторы просили, чтобы эти излишки были ассигнованы на помощь фермерам. Пиль, не потрудившись лично ответить, отказал через одного из своих министров. Теперь Палата с радостным и тревожным нетерпением ждала выступления Дизраэли; было тяжелым зрелищем видеть, как бледнеет и содрогается благородное лицо сэра Роберта, но тем не менее это зрелище нравилось. Так, когда на арену выходит прекрасный бык с блестящей шерстью, пышущий здоровьем и силой, публика наслаждается и содрогается при мысли о бандерильях, которые приведут его в ярость.

На этот раз Дизраэли обращался к своим друзьям-протекционистам и иронически бранил их. К чему неразумные жалобы на поведение премьера? «Конечно, есть разница между поведением достопочтенного джентльмена в бытность его лидером оппозиции и поведением королевского министра.

Но ведь это вечная история. Нельзя же удивляться контрасту между короткими мгновениями завоевания и долгими годами обладания. Совершенно верно, что достопочтенный джентльмен изменился. Я помню его речь о протекционизме. Это была лучшая речь из всех мною слышанных. Не безделицей были слова достопочтенного джентльмена: «Я предпочту быть лидером английских джентльменов, чем пользоваться доверием королей...» Да, это не было безделицей. Теперь нам не часто говорят об английских джентльменах. Но в чем дело? Кто мешает им наслаждаться прелестью былого, предаваться радостным воспоминаниям? Они были его первой любовью, и если теперь он не преклоняет перед ними колена, как в мгновения страсти, они могут вспоминать о прошлом. Нет ничего более бесполезного и жалкого, чем сцены взаимных попреков и упреков. Мы все знаем, что, если предмет любви перестал нравиться, тщетно обращаться к чувству. Вы знаете, что я говорю правду. Каждый мужчина, или почти каждый, прошел через это. Мои почтенные друзья жалуются на достопочтенного джентльмена. Достопочтенный джентльмен делает все, что может, чтобы принудить их к спокойствию: то он замыкается в надменном молчании, то он обращается с ними с упорной холодностью. Если бы они хоть немного знали человеческую душу, они бы поняли и молчали. Но они не хотят молчать. Что же случилось? Что случается всегда в подобных случаях? Достопочтенный джентльмен, вынужденный, к большому своему сожалению, действовать, посылает своего слугу, и тот весьма грациозно заявляет: «Мы не можем выносить этих стонов у наших дверей». Таков в точности, сэр, случай с земледелием, этой красавицей, за которой ухаживал весь свет и которой ныне изменил возлюбленный».

Трудно представить себе, каков был эффект. Много значил еще тон всей речи. Все было сказано тихим и монотонным голосом, умолкающим, когда аплодисменты и смех слишком усиливались. Потом без всякого напряжения вновь текли ровные слова беспрестанным потоком юмора и порицания, падая на внушительную фигуру министра. Палата была в восторге, но всем было немного стыдно; все еще покорные могуществу человека, которого они оскорбляли, депутаты аплодировали, опустив глаза. Пиль надвинул шляпу на самые глаза и не мог скрыть нервных жестов. Лорд Джон

Рассел бормотал про себя: «Все это правда», и даже дикий Эллис смеялся, а Маколей казался очень довольным.



Парламентские каникулы дали сэру Роберту некоторую передышку. Он с радостью отправился в деревню к своей семье: этот суровый министр был нежнейшим мужем и отцом. Наверно, Дизраэли, которому так знакомы были чувства семьянина, пожалел бы его, если бы мог прочесть письма, получаемые леди Пиль. «Моя любовь, я не могу больше переносить разлуки с Вами. Мною овладевают тоска и усталость. Возвращаться в два или три часа ночи в опустошенный дом, входить в нашу комнату, где Ваш туалетный стол и Ваши флаконы, видеть покинутую детскую, пустые и молчаливые залы — иногда это выше моих сил. Маленькой Джулии скажите, что ее часики при мне, я их завожу каждый вечер и слежу за ними». Но истинное лицо человека почти всегда скрыто для тех, кто знает его только в политической жизни. Пиль и Дизраэли боролись, оба несправедливые друг к другу, оба достойные уважения и оба замкнутые. Боролись два рыцаря в масках; их копья ударялись в сталь; никогда в жизни ни тот, ни другой не поднимут забрала.

Вдали от парламента Пиль стал увереннее. В обществе своей прелестной жены, в своем прекрасном Драйтонском замке он вновь обрел тот гармоничный мир, где был неограниченным владыкой, вновь был окружен атмосферой веры в него и похвал, от которых крепла надежда. Ведь в общем сессия не окончилась поражением: он был могущественнее, чем когда-либо. Вигам, не имеющим достаточного большинства, чтобы самим взять власть, было выгодно поддерживать его; правда, его ненавидели теперь мелкие землевладельцы, но они все еще боятся его и пойдут за ним, как стадо баранов. Он потерял их расположение, но не их голоса. Кобден все еще говорил: «Ни турецкий султан, ни русский император не имеют такой власти, как Пиль». В отдалении ничтожный Дизраэли казался этому льву жалким комаром.

Но июль был дождливым, и дождь, заливший турнир Эглинтон, медленно скоплялся в поток, которому суждено было снести Пиля.

Сара на вопрос Диззи об урожае писала: «Дождь льет с такой силой, что никакой голубь не найдет сухого местечка в этом потоке. Урожай будет очень плохим».

Пиль узнал, что картофель поразила какая-то болезнь. Страх перед голодом в Англии так вязался с теориями свободной торговли, которыми он все больше и больше увлекался, что Пиль со страстью бросился проводить эту политику. Сейчас же он пустил в ход слово «голод». Не будет картофеля — значит будет голод в Ирландии; не будет хлеба в Англии — значит нельзя будет помочь Ирландии. Спасение только в отмене хлебных законов и в разрешении свободного ввоза продуктов питания. Да! Надо открыть порты, отменить эти чудовищные хлебные законы. Что скажет партия? Не поднимет опять крика о предательстве? Все равно. Пиль сжигала жажда мученичества. Кобден и Брайт его поддержат. Дизраэли произнесет язвительную речь, которой Палата позабавится в течение часа, но в глазах потомства Пиль будет тем благодетелем, который сумел пожертвовать интересами партии в интересах всей страны.

Вскоре в Лондоне узнали, что на одной неделе было четыре заседания кабинета; узнали, что Пиль, отказываясь от политики, которая привела его к власти, хочет отменить хлебные законы; узнали, что лорд Стэнли грозил подать в отставку и что правительство больно опаснее, чем картофель. Панический испуг Пиль всех изумил. Лорд Стэнли говорил, что он ничего не понимает: ничего нельзя будет сказать определенного об урожае раньше, как через два месяца, ввоз же хлеба не накормит ирландцев, у которых нет ни гроша. К тому же Пиль говорил о том, чтобы в течение трех лет сохранить умеренные пошлины на хлеб, а через три года о голоде не будет слышно. Премьер отвечал, что кризис достиг размеров мирового, что все государства запрещают вывоз продуктов питания. «Тогда, — сказал Стэнли, — если нечего ввозить, к чему менять всю таможенную политику нашей страны?» Он не видел, что решение Пиль идет от чувства, а не от рассуждений. В общем волнении возникал вопрос: «Что думает герцог?» Герцог не нравилась вся эта авантюра. Он говорил: «Во всем виноваты эти гнилые кар-

тошки; они довели Пиля до его окаянного страха». И он ворчал: «Никогда еще я не видал человека в таком паническом состоянии». Но герцог, все более и более застывающий в суровой покорности, ставил себе за честь беспрекословное повиновение своим приказаниям; он готов был еще раз скомандовать: «Милорды, поворот направо, марш». Дизраэли узнал все эти новости в Париже, куда он опять поехал на каникулы. Он подумал: «Гнилые картошки изменят судьбы мира». Тьер сказал ему: «Если голод окажется действительно голодом, Пиль великий человек. Если это мнимый голод, он будет только смешон».

Когда Пиль окончательно принял решение, Стэнли подал в отставку; все министры последовали за ним. Королева призвала лорда Джона Рассела, но он вернул обратно Пилю протянутый ему отравленный кубок. Пилю понравилась отравка. Он сказал королеве: «Что бы ни случилось, я останусь вашим министром». Он писал одному из своих друзей: «Странный сон, я чувствую себя как человек, который возвращается к жизни». То, что другие называли предательством, было в его глазах благочестивым прозрением. Королева и принц Альберт, сами пламенные сторонники свободной торговли, внушали ему, что он спасает страну. Он считал себя непобедимым, так как никто не хотел его заменить. Все пойдет хорошо. Он, как Улисс, один мог натянуть лук.

Парламент собрался. В Палате лордов против Пила образовалась со Стэнли во главе протекционистская партия. Крокер, ездивший для расследования положения дел в Ирландию, предупреждал своего шефа, что голод, как говорил Тьер, оказался преувеличенным. Джон Маннерс писал Дизраэли: «С голодом вышла прескучная история, и виды на будущий урожай превосходны». Но Ирландия, собственно говоря, так же мало значила в решении Пила, как, например, Камчатка. Он переживал кризис своих политических взглядов, и ничто не могло его остановить.

В первом же заседании он уведомил партию, что все его экономические воззрения изменились в корне. Деревенские джентльмены с ужасом выслушали его декларацию, но она была объявлена в таком авторитетном тоне, что никто не посмел даже что-либо проворчать. Впрочем, вообще, несмотря на искание мученического венца, премьер сохранил все свое самообла-

дание тактика. Как-то Гладстон, собираясь начать говорить, шепотом спросил сэра Роберта: «Говорить надо коротко и ясно?» «Нет, — отвечал лидер, — говорите долго и сбивчиво». Он сам в этом мучительном заседании прибег к подобному же методу. Перед изумленной Палатой он говорил без конца о ценах на лен и на шерсть, вставил рассуждение о свином сале, затем о контрактах на солонину для морского ведомства. И все это было так шаблонно, так бесцветно. Слушатели, видя привычный облик сэра Роберта, стоящего перед красным ящиком, и против него отчаянное лицо сэра Джона, как всегда полускрытое широкополой шляпой, спрашивали себя, не приснилась ли им вся разыгрываемая перед ними драма. Так велико было искусство этого мастера парламентских дебатов, знавшего, как важно в иных случаях снизить тон прений, придать им характер незначительности и, как говорил Дизраэли, спуститься от паровой машины до самовара.

Несмотря на все, казалось, что занавес опустился над сценой победы министерства. Но тут поднялся Дизраэли. Сказав несколько фраз о тоне премьеры, совершенно недопустимом со стороны человека, только что объявившего о полной перемене своей политики, он продолжал ровным голосом, заложив большие пальцы в проймы жилета:

«Сэр, трудно найти в истории нечто, подобное положению достопочтенного джентльмена. Единственный случай, который мне приходит на ум, относится к последней войне на Востоке. Я припоминаю, что во время этой великой войны, когда вопрос шел о самом существовании Османской империи, султан приказал соорудить для защиты своего государства необъятный флот. Экипажи состояли из избранных людей, офицеры были лучшие из лучших, и все — и команды и офицеры — были награждены до боя. Никогда еще со времен великого Солимана не отходила от Дарданелл такая блестящая эскадра. Султан собственной персоной присутствовал на проводах, все муфтии молились за экспедицию, так же как у нас все муфтии молились за успех последних выборов. Флот двинулся, но каково же было разочарование султана, когда он увидел, что великий адмирал взял направление прямоком во вражеский порт. Сэр, великого адмирала очень осуждали за это обстоятельство. Его тоже называли предателем, и он тоже оправдывался. «Правда, — ска-

зал он, — что я встал во главе этой могущественной армады, правда, что меня обнял мой повелитель и что все муфтии империи молились о победе экспедиции, но я не люблю войны. Я не вижу причин продолжать эту войну, и моей единственной целью было, приняв командование, закончить кампанию, тотчас же изменив своему повелителю». (Шумные крики одобрения со стороны тори.)

Пусть будет политика свободной торговли или политика протекционизма, — Дизраэли вполне признавал, что можно выбрать ту или другую, — но недопустимо, чтобы парламент, избранный для проведения одной, гордился бы отстаиванием другой, недопустимо, чтобы человек, указанный государю партией, облеченный ее доверием, мог говорить, что доверие государя позволяет ему теперь пренебречь партией и что ему дела нет до одобрения Палаты, так как он уверен в одобрении потомства.

Крики одобрения не прекращались несколько минут; теперь они относились не только к артисту, к оратору: государственный деятель встал на твердую почву. После конца заседания деревенские джентльмены окружили Дизраэли и заговорили об образовании для борьбы с премьером протекционистской партии в Палате общин.

* *
*

В течение последних трех лет Дизраэли часто встречался с одним членом парламента, очень непохожим на него самого. То был лорд Джордж Бентинк, сын герцога Портлендского. Лорд Джордж Бентинк был особенно известен как владелец одной из лучших в королевстве скаковых конюшен. Диктатор в мире скачек, он изгнал оттуда недобросовестных жокеев. Его там искренно уважали. Несмотря на большую строгость, конюхи его обожали. Они ценили совершеннейшую искренность и силу его страсти к лошадям. За всякую лошадь, происходящую от его производителей, хотя бы во втором поколении, держал пари лорд Джордж, всякая лошадь, попавшая в его конюшни, не выходила оттуда до самой смерти: он считал неблагодарным продать старую лошадь только потому, что она не могла больше скакать. Он был членом парламента в течение восьми лет, но ни разу еще не брал

слова. Он смотрел на Палату как на клуб. Часто, когда он входил вечером, из-под его широкой белой мантии слегка виднелся красный воротник охотничьего костюма. Его влияние основывалось на том, что он был близким другом и товарищем всех членов парламента, интересовавшихся лошадьми (а таких было очень много), а еще больше основывалось на уважении, которое все в Палате чувствовали к его нравственным качествам. Знали, что он груб, но верен в дружбе так же, как постоянен в ненависти, и знали, что, несмотря на отсутствие образования, суждения его были ясны и здравы.

С 1842 года Дизраэли стал настойчиво посещать лорда Джорджа. Казалось, что невозможна дружба между страстным охотником, почти всецело живущим на открытом воздухе и редко открывающим книгу, и несколько изнеженным писателем, для которого верховая езда была обязанностью, иногда налагаемой им на себя. Но, вероятно в силу контраста, Дизраэли неудержимо влекли к себе такие великолепные и нетронутые существа. Сам мучительно сознавая почти болезненные проявления своей излишней впечатлительности, он восхищался этой чудесной непосредственностью. Из дружбы к лорду Джорджу он вместе с ним участвовал в покупке чистокровной кобылы Китти, дочери одной из победительниц на дерби. Старший конюх Джон Кент недоверчиво смотрел на этого бледного странного человека, который так неловко пробирался по конюшням и говорил о лошадях на языке профана. Ему казалось, что чудной посетитель только притворяется, что интересуется скачками и лошадьми, и что не лорд Джордж втягивает его в культ лошади, а он пытается отвлечь лорда в политику. Иногда по вечерам, когда старший конюх приходил с отчетом о дневных пробегах, он заставлял своего хозяина и его приятеля сидящими около камина и изучающими «Синие книги». Лорд Джордж устало потирал глаза, а Джон Кент выходил из комнаты с грустным и беспокойным чувством.

В тот день, когда сэръ Роберт Пиль объявил о перемене фронта, лорд Джордж нарушил свое молчание с яростью дикого зверя, выскочившего из пещеры. У него было природное отвращение ко всякой нечестности, и он пламенной всех требовал немедленного образования протекционистской партии. Дизраэли

сейчас же предложил ему стать лидером этой партии в Палате общин. «Я человек без образования и почти без интереса к политике, я сознаю свою неспособность, но, если я нужен, я согласен на все». Он был нужен: его высокое происхождение и звание много значили для тех, кто колебался бы идти за Дизраэли. Впрочем, он оказался гораздо более сильным борцом, чем можно было ожидать. У него был смешной тоненький голос, который, казалось, с трудом выходил из его могучего тела, и странные жесты; начав говорить, он не умел остановиться, но у него была непреклонная воля. Кропотливой работой он собирал цифры и факты и с неслыханной силой умел пускать их в ход. В полной мере понять искренность и силу чувства, заставившего его заняться политикой, можно только по тому факту, что в день, когда он согласился стать лидером протекционистов, он отдал приказание распродать всех лошадей. Мрачные предчувствия Кента оправдались в полной мере. С тех пор Бентинка видели аккуратно на всех заседаниях, а так как фамильной чертой в его семье было засыпать после обеда, он ежедневно не ел ничего вплоть до выхода из Палаты. Такой режим в связи с усиленной умственной работой оказал очень скверное влияние на здоровье этого человека, привыкшего постоянно быть на вольном воздухе.

«Бентинк и Дизраэли — хорошенькая парочка!» — говорили, смеясь, друзья Пиля. Но голосование хлебных законов после первого чтения показало, что только 112 членов партии пошло за Пилем, остальные 240 вместе с Бентинком «сохранили свою честность во всей ее неприкосновенности». У министерства было большинство, в громадной степени состоявшее из оппозиционной партии либералов; было ясно, что они оставят его, едва только будет проведен новый закон. С этого дня поражение Пиля стало очевидным. В течение всех трех чтений закона Дизраэли и Бентинк не щадили его. Теперь казалось, что ему можно говорить все, что угодно. Чем оскорбительнее были обращенные к нему слова, тем Палата казалась более удовлетворенной. Дизраэли называл его «насильником над умами», «грабителем систем», говорил о политическом спекулянте, покупающем партии по низкому курсу и перепродающем их по высшему. Менее изобретательный Бентинк был зато грубее, отсутствием такта он смущал кроткого и рыцарски настроенного Джона Маннерса. Когда

Пиль вставал, чтобы ответить, и произносил слово «честь», Палата встречала его насмешливыми криками и жестами презрения. Несколько раз взволнованному и беспомощному спикеру казалось, что великий министр сейчас разразится слезами.

После этих жестоких прений, часто кончавшихся в четыре-пять часов утра, Дизраэли, возвращаясь домой, находил ожидающую его Мэри Энн, жаркий огонь в камине и свет во всех комнатах. «Света, побольше света», — требовала Мэри Энн, которой хотелось, чтобы возвращающегося мужа охватывало дома чувство уюта и радости. Иногда она в карете подъезжала к подъезду парламента и поджидала его часть ночи, держа на коленях холодный ужин. Рассказывали, что ее преданность была так велика, что однажды, когда она в день важных прений сопровождала Диззи в Палату, ей раздробило руку дверцей, которую слишком быстро закрыл за ней лакей. Но у нее хватило мужества промолчать об этом до тех пор, пока она не рассталась с мужем: она боялась взволновать его в минуту, когда ему так нужно было спокойствие. Леди Пиль, живя в деревне, тоже поддерживала мужа трогательными письмами: «Я читаю газеты до тех пор, пока не потеряю мужества... Я спрашиваю Вас только об одном: уверены ли Вы по крайней мере, что сможете доказать Ваше бескорыстие и благоразумие Вашей политики? Воздадут ли Вам должное после всех этих жестоких оскорблений? Если это так, я буду мужаться... Увы, я верю теперь в судьбу; я знаю, что моя судьба помрачилась. Да сохранит Вас бог и да направит он Вас во всех делах. Я только жалкий тростник, но опирайтесь на меня. Вы всегда найдете во мне верность и нежность».

Лорды могли бы приостановить закон, но герцог Веллингтон заставил его голосовать. Мрачный, надвинув шляпу на глаза, он был в собачьем настроении и отвечал оппозиционерам: «Я вполне разделяю ваше мнение, сэр, это какая-то проклятая кутерьма... Но я обязан охранять мир в стране и спокойствие королевь». «Панч» напечатал маленькую сценку «Двоеженство»: «Человек по фамилии Пиль предстал вчера перед судьей, мистером Булем, как обвиняемый в том, что женился на женщине, именуемой «Свободной торговлей», в то время как его первая жена «Земледелие» еще находится в живых».

К концу того дня, когда новый хлебный закон был

принят в третьем чтении, сэр Роберт благодаря коалиции протекционистов и вигов потерял власть. Сосед пробормотал ему на ухо: «Говорят, что мы побиты 75 голосами». Сэр Роберт ничего не ответил и не повернул головы; он стал очень серьезен и выдвинул вперед подбородок, что было его привычкой, когда он страдал и не хотел говорить.

VII ЛИДЕР

*Великие умы должны ждать
победы великих истин,
великих талантов
и больше ничего.*

Дизраэли

Горечь победы! На долгом пути к смерти люди устраивают себе приятные привалы; еще несколько шагов — и будет закончен дневной путь и можно будет отдохнуть у огня. Но в непрестанном беге времени нет ни отдыха, ни привалов. Каждый вечер прошлое кажется сном, а будущее покрыто тайной.

Гигант, презрительно смеявшийся над Давидом, поверженный лежит поперек дороги. Толпы консерваторов, разбитые наголову, бегут в противоположные стороны. Лорд Джон Рассел со своими либералами, не зная соперников, становится у власти.

Что же будет среди этой великой сумятицы с Бенджамином Дизраэли?

Диззи многому научился за пять лет парламентской борьбы. Маннерс и Бентинк, люди очень требовательные, считали его честным соратником. Он завоевал их доверие и знал, что заслужил его. Несмотря на то, что он сознавал себя значительно выше Бентинка и что ему безумно хотелось стать лидером партии, он решил без задней мысли служить в качестве помощника до тех пор, пока руководство будет в руках Бентинка. Он узнал теперь, что честность и мужество приносят человеку не больше пользы, чем блеск его костюмов или речей, он узнал, что дутое величие долго держаться не может, что верность партии, хотя бы и неблагоприятной, необходимая политическая добродетель.

тель. О, насколько он был теперь лучше молодого денди, вступившего в 1837 году в парламент.

Но его положение было непрочно. Друзья Пиля — Гладстон, Грэхем, весь интеллектуальный цвет партии — ненавидели его и поклялись никогда не объединяться с ним.

При дворе — королева, и особенно принц Альберт, строгий и чистый сердцем человек, — смотрели на него как на беспринципного честолюбца, который из зависти терзал их достойного милого сэра Роберта. Деревенские джентльмены, в пылу борьбы слепо следовавшие за ним, теперь спохватывались. Хотя Диззи одевался во все черное, уже самая форма его лица придавала ему среди них вид ибиса или фламинго, затерявшегося на английском птичьем дворе. Когда солнце освещало скамьи консерваторов, все лица белели, его же чернело. Его эрудиция их беспокоила. Чтобы примирить их с собой, он старался погасить блеск своего ума. После долгого разговора с ним один крупный землевладелец заявил однажды, что мистер Дизраэли не слишком умен, но человек безусловно порядочный. Хороший отзыв, но, увы, он не часто слышал его.

В сущности говоря, консерваторы, свалив Пиля, пришли в ужас. Свидетели этого падения, они все еще не верили в него. Каким чудом этот чернокудрый чародей-еврей заставил исчезнуть с горизонта прекрасное и важное лицо премьеры? Дизраэли не казался им теперь смешным, он был овеян мрачным обаянием. Сброшенная маска денди открыла лик могучего, но безбожного чародея. Самое важное было то, что лорд Стэнли, лидер партии протекционистов в Палате лордов и ее настоящий вождь, никогда не любил Дизраэли. Конечно, он не сказал бы, как говорил когда-то: «Если здесь будет этот негодяй, я ухожу». Он признавал, что поведение Дизраэли в течение всех этих пяти лет не давало поводов сомневаться в его честности. Но он чувствовал к нему почти физическое отвращение. Стэнли был барин в духе XVIII века, беспечный и насмешливый, высокомерный и веселый. Он гордился тем, что все делал довольно хорошо, но ничего не делал слишком хорошо. Он переводил Гомера приличными английскими стихами. Одна из его лошадей на дерби пришла второй. Но у него не было политической программы, и ничто не показалось бы ему таким безмерно скучным, как составление ее. Он прямо-таки боялся разговора

о принципах и мотивах поведения. Ему нравилось, когда люди были спокойны и небрежны. Картофельная паника Пиля его раздражала; честолюбие Дизраэли было ему не менее противно. Человек порыва, быстро устающий от борьбы, он с опаской относился к упорному трудолюбию плебеев.

Признавая таланты и, пожалуй, порядочность Дизраэли — кто его разберет? — он считал себя вправе не приглашать его к себе обедать, а следовательно, и не иметь его своим товарищем по руководству партией.

* *

*

В эти дни, когда так важно было успокоить подозрительность парламента и развеять ореол необычайности, окружавший его имя, Бенджамин Дизраэли, член парламента, сделал самый неразумный поступок, какой можно только себе представить: он напечатал мистический роман.

Этот роман, под заглавием «Танкред», рассказывает историю одного юного английского вельможи, который с целью понять азиатскую мистику совершает путешествие ко Гробу Господню. Для автора роман был прежде всего поводом развить свою теорию иудаизма и выявить свой взгляд на церковь. Дизраэли считал обязанностью церкви отстаивать в материалистическом обществе некоторые семитические принципы, изложенные в обоих заветах; важнейшим из них было учение о значении божественного и духовного начала в мире. Было принято среди людей неглубокого ума определять Дизраэли как «человека Востока». Неправильное, чересчур элементарное и грубое определение и суждение! Воспитанный как англичанин, развившийся на английской философии, окруженный друзьями-англичанами, наконец, страстно привязанный к Англии, Диззи был от восточного еврея еще дальше, чем от человека, подобного Джорджу Бентинку. Но он все же очень отличался от своих друзей — англичан по крови. В частности, подобно людям Востока, душа его жила в раздвоении: он жадно стремился к жизненным благам и остро сознавал их тщетность.

«Танкред» был странной, смелой и неосторожной книгой. Она многих возмутила. Карлейль объявлял невыносимыми «жидовские разглагольствования» Дизраэли и спрашивал: «Доколе же Джон Буль будет

позволять этой нелепой обезьяне плясать на его брюхе?» К счастью для Дизраэли, многие члены его партии никогда ничего не читали. Но вскоре после падения министерства Пиля обстоятельства позволили ему изложить свои религиозные теории перед всей Палатой общин. Лайонел Ротшильд был избран от лондонского Сити в парламент, но не мог принять участия в заседаниях, так как закон требовал, чтобы депутат клялся «истинной верой христианина». Лорд Джон Рассел, верный принципу либералов: «всякий англичанин, родившийся в Англии, имеет право на все преимущества конституции», предложил отменить формулу присяги. Вся протекционистская партия голосовала против Рассела, за исключением Дизраэли и Бентинка, и этот последний только по дружбе к Дизраэли. Диззи произнес большую речь, где доказывал изумленной Палате, что самая безбожная ересь для консервативной партии — это преследование евреев, народа по существу консервативного, но которого жестоким обращением толкают в революционные и анархические партии. В них евреи вносят внушающие опасение организационные и умственные силы. Что до него лично, то он, как христианин, будет голосовать за евреев. «Вы своих детей учите истории евреев; в праздники вы читаете рассказы о подвигах еврейского народа; по воскресеньям, когда вы желаете вознести хвалу всевышнему или найти утешение вашей скорби, вы ищете выражения этих чувств в песнях еврейских поэтов. И чем сильнее и искреннее ваша вера, тем более вы должны стремиться воздать эту необходимую справедливость...» Палата слушала нетерпеливо, и с разных сторон кричали: «Ого! Ого!» Но Дизраэли спокойно закончил: «Я не могу заседать в Палате, если останется неясность относительно моих мнений на этот счет. Каковы бы ни были последствия, я не могу голосовать за то, что не соответствует моим религиозным принципам. Да, как христианин, я не возьму на себя страшной ответственности отвергать тех, кто принадлежит к религии, в недрах которой родился мой господь и спаситель».

Он кончил среди глубокого молчания. Ни один из членов его партии не аплодировал. Но на скамьях либералов лорд Джон Рассел, повернувшись к соседу, с восхищением сказал: «Какое мужество должно быть у вождя партии, чтобы защищать теории, от которых сотоварищи его приходят в ужас».



Партия довела до сведения Бентинка, что его поведение в деле Ротшильда не одобряется. Он снял с себя звание лидера. Несколько дней спустя его нашли мертвым в поле: он упал ничком; врачи констатировали паралич сердца. Это был человек, непривычный к умственной работе; перемена всех привычек, к которой он принуждал себя, отказ от обычных физических упражнений — все это подорвало его здоровье. К тому же его постигло большое горе. Его единственной честолюбивой мечтой было выиграть дерби, и это ему никогда не удавалось. И вот одна из лошадей, проданных им, когда он решил посвятить себя политике, первой пришла в эти скачки. Это было для него тяжелым горем, но лорд Джордж никогда не жалел о том, что сделал, считая участие в политике своим долгом. В последние дни, когда друзья уговаривали его немного отдохнуть, он обычно отвечал: «Тот, кто сберегает свою жизнь, тот теряет все». Его смерть очень опечалила Дизраэли. Он всем сердцем привязался к своему суровому, но справедливому другу, не раз отвечавшему тем, кто сомневался в его лейтенанте: «Я не претендую на большие знания, но в лошадях и людях я понимаю тебя».

С исчезновением Бентинка Дизраэли терял свою самую прочную опору. Когда заговорили о выборе нового лидера, называли несколько имен: его имени никто не произнес. Стэнли прислал ему вежливое по форме и дерзкое по существу письмо, где предлагал служить под начальством номинального лидера. Дизраэли нес бы все обязанности, а другой имел бы звание лидера. Диззи отказался взять на себя весь риск, отдав другому почет. Уход Пиля и его друзей оставил протекционистов без единого оратора. В то время как в прежней консервативной партии, богатой Гладстоном и несколькими другими, Дизраэли долго пришлось бы дожидаться продвижения, обстоятельства делали теперь из него, независимо от желания других, вождя.

Стэнли крепился, сколько мог. Наконец он предложил, чтобы партией протекционистов в Палате общин руководил комитет из трех: Грэнби, Геррис, Дизраэли. «Съейес, Роже Дюко и Наполеон», — сказал, узнавши новость, один старый министр.

Прошло три недели, и о тех двух не было и речи; Дизраэли предстал перед всеми как официальный лидер оппозиции. Еще живший в то время лорд Мельбурн припомнил тогда кудрявого юношу, который когда-то ответил ему у Каролины Нортон: «Я хочу быть премьер-министром».

«Ей-богу, — сказал он, — парень добьется своего».

Стать официальным вождем большой партии в Палате общин — это, конечно, было большим шагом на пути к власти, но для Дизраэли становилась все более и более ясной мысль, что в Англии в известной политической среде человек не имеет никакого значения, если он не владеет землей. Этот предрассудок не казался ему нелепым. Крупный землевладелец, прогуливаясь по своему поместью и беседуя с фермерами, узнает их чувства и нужды, слышит жалобы земледельцев, проверяет на практике действие законов, за которые он голосовал. Житель Лондона, проводящий свою жизнь в Палате и в гостиных, может быть только теоретиком. Человеческий ум время от времени нуждается в слиянии с землей. После городского сезона безмятежная красота растительного царства так успокоительно действует на вихрь мыслей. Дизраэли страстно любил деревья и цветы; его давнишней мечтой было приобрести большой дом в графстве Бакс, к которому он привязался.

Такой дом продавался поблизости от Брэденхэма: то был замок Хэггендэн, Дизраэли и его братья часто бывали там в юности, играли, потом флиртовали. Они хорошо знали прекрасный парк, обширные буковые и сосновые леса, волнистую крутизну полей, маленький ручеек в долине с засеваемой в нем форелью; террасу, укрытую цветущими деревьями. Им сотни раз рассказывали историю поместья: оно было пожаловано Вильгельмом Завоевателем Одону, епископу Байё; здесь жил Ричард де Монфор и знаменитый граф Честерфилд; ничто не могло бы доставить Дизраэли большей радости, чем стать владельцем Хэггендэна. Но у него не было средств. К моменту его брака долги его молодости, увеличенные процентами, которых требовали ростовщики, и долгами его друзей, за которых он поручался, дошли до двадцати тысяч фунтов стерлингов. Его часть отцовского наследства равнялась десяти тысячам фунтов. Мистер Исаак д'Израэли охотно теперь же выделял эту сумму, но замок и леса оценивались в тридцать пять тысяч фунтов. Где их взять?

Когда лорд Джордж Бентинк был еще жив, Дизраэли как-то поделился с ним своей мечтой, и лорд Джордж, считая действительно желательным, чтобы один из вождей землевладельческой партии стал сам землевладельцем, предложил вместе со своими братьями одолжить ему эту огромную сумму. Договорившись в принципе, Исаак д'Израэли купил Хэггендэн для своего сына. Несколько времени спустя он, в возрасте восьмидесяти одного года, умер почти незаметно, не переставая до последнего часа слушать чтение Сары. В тот же год, когда еще не был оплачен замок, умер в свою очередь и лорд Джордж Бентинк, но Дизраэли встретил в обоих братьях своего друга то же великодушие. Он объяснил им с наивной и дерзкой откровенностью, что жизнь будет безрадостна для него и бесполезна для партии, если он не сумеет «повести крупную игру». Бентинки оказались людьми, способными понять, что невозможно жить, не ведя крупной игры, и Диззи мог сообщить Мэри Энн: «Все сделано, и вы госпожа замка Хэггендэн».

Это приобретение было бы справедливо осуждено благоразумными людьми. Но мог ли Дизраэли из-за отсутствия нескольких золотых монет упустить случай приобрести замок, так похожий на замки в его романах, с маленькой церковью, возвышающейся в самом парке, с длинной аллеей буков, дворцом, сооруженным природой, где листья скрещивались стрельчатым сводом над ковром из травы и мха? Уже Мэри Энн как настоящая владелица замка намечала дорожки в сосновом лесу, который они прозвали Германским лесом, и размещала грубо сделанные скамейки, а Дизраэли совершал пешком большие прогулки; жена сопровождала его в маленькой коляске, запряженной пони.

Октябрь. Деревья надевают свои осенние уборы: липа и лиственница окрашивают багрянцем пожелтые листья, медные буки пылают на солнце, там и сям дуб или вяз зеленеют, как в разгаре лета. Владелица и владелец Хэггендена возвращаются потихоньку к дому. Ему сорок пять лет, ей пятьдесят семь, но он склоняется к ней с нежностью, а она кокетливо смотрит на него. На террасе сверкающие и важные павлины распускают хвосты. «Моя дорогая леди, к чему была бы нужна терраса, если бы на ней не было павлинов?»

VIII ПРЕПЯТСТВИЯ

«Ей-богу, парень добьется своего». Лорд Мельбурн был оптимист; он был более оптимист, чем Дизраэли, который между властью и собой видел еще длинный пробег, усеянный трудными препятствиями.

Первый барьер. Несмотря на то, что он стал лидером партии в Палате общин, он чувствовал, что его не уважают. Консервативная партия была Фаустом, Дизраэли — Мефистофелем. «Я верну тебе силу и юность, но при одном условии: я всегда буду около тебя». Фауст терпел Мефистофеля, но не любил его. Признавали, что новый лидер хорошо ведет дело. Когда он был занят в Палате, он просматривал «Синие книги», делал из них выписки, готовил речи. Мэри Энн одна поддерживала теперь отношения с обществом. Дизраэли дал наконец волю тому глубокому презрению к легкомыслию, которое он так долго скрывал, будучи вынужденным нравиться. Часто, сидя у близких друзей, он за целый вечер едва ли произносил несколько слов. Он казался настолько углубленным в свои мысли, что с ним не решались заговаривать.

Но партийные шпионы посылали Стэнли о Дизраэли такие донесения, какие обычно колониальные чиновники посылают губернатору о только что покоренном туземном вожде: «Я полагаю, что он скомпрометировал себя и останется верен». Во время парламентских каникул продолжали наблюдать даже за его лицом: «Я слышал, что Дизраэли отпустил усы; это очень досадно; он должен был бы привлекать внимание талантами, а не утрированной внешностью или костюмом. Надеюсь, что он позволяет себе это только в деревне, в своих хэггендэнских буковых лесах, и что в январе он появится в обществе в более приличном виде».

Напрасные опасения: его внешность была безукоризненна. Исчезли кольца и цепи. Зимой и летом темный костюм. Если в начале его деятельности могла не нравиться его лихорадочная живость, то теперь Палата могла быть довольна его неподвижностью. Во время заседаний он сидел обычно на своем месте, выпрямив голову, тесно прижав к телу скрещенные руки и полукрыв глаза. При взгляде на него невольно вставали в памяти старинные египетские каменные изображе-

ния. Если на него яростно нападали, он притворялся спящим. Если нападки задевали его за живое, он искоса смотрел на кончик своего сапога или слегка подергивал манжеты рубашки. То были единственные признаки жизни, которые мог заметить в нем самый внимательный наблюдатель. Он даже по кулуарам скользил бесшумной тенью и, казалось, не замечал окружающих предметов. Когда он говорил, он не делал теперь ни одного жеста и совсем не напрягал голоса. Только перед тем как сказать что-нибудь очень насмешливое, он вынимал платок из левого кармана, брал его в правую руку, слегка покашливал, проводил платком около носа, бросал словечко и вновь перекладывал платок в левую руку. Впрочем, внешняя выдержка дисциплинировала и ум. Дизраэли, раньше такой нервный, теперь был внешне совершенно невозмутим. Если ему противоречили, он отвечал: «Возможно» — и сейчас же менял тему разговора.

Второй барьер. У протекционистской партии не было настоящей программы. «Как? — сказал бы Стэнли. — А протекционизм?» Протекционизм не мог служить программой для крупной партии. В партии должна быть вера во что-нибудь. Невозможно же покорять воображение людей таможенными законами, а только воображение двигает людей вперед. К тому же события показали, что преступление Пилля не так велико, как казалось. «Что мы возражали Пиллю? — говорил Дизраэли. — Что свободная торговля разорит фермеров и не удешевит продуктов питания?» Но продукты питания подешевели, а фермеры процветали не меньше, чем в эпоху хлебных законов. Возможно, это была только случайность; возможно, это зависело от погоды и от урожая; может быть, в будущем и при другом климате опять пробьет час протекционизма, но Дизраэли, как реалист, не мог отрицать факта: землевладельцы не были разорены. Восстанавливать хлебные законы было бы безумием: это вызвало бы возмущение в стране и доконало бы партию. Протекционизм не только умер. Он был проклят.

Создавшееся положение раздражало всех. Либералы очень хотели, чтобы их противники на целый век связались с этой окаянной протекционистской политикой. Лорд Стэнли спрашивал не без основания: «Стоило ли так поносить сэра Роберта Пилля, раз мы приходим к тому же самому, чего добивался и он?»

У Стэнли не было ни времени, ни охоты подумать над реальной ценностью свободной торговли. Он был занят бильярдом и лошадьми. Он связал себя с протекционистской политикой и — к черту все последствия! Верный Джон Маннерс тоже полагал, что долг чести требует возглашать: «Долой налоги на доходы и да здравствуют пошлины». Опять начинали всплывать старые рассказы о политическом предательстве.

«Панч» рисовал карикатуры на Дизраэли: он изображал его то блуждающим огоньком, который тщетно догоняют разочарованные фермеры, то хамелеоном, которого Джон Буль посадил на свой стол и с любопытством разглядывает, то деревенским обольстителем, которого строгий отец спрашивает, указывая на свою дочь «Земледелие», каковы же ваши намерения?

Третий барьер. Пока будет жив сэръ Роберт Пиль, невозможно без него воссоздать емкую консервативную партию и невозможно воссоздать ее с ним. Вначале Дизраэли очень смущало то, что он сидит на той же скамье, где сидит человек, жизнь которого он разбил. Их отделял друг от друга только Гладстон. Победив сэра Роберта, Дизраэли стал чувствовать к нему симпатию. Он отзывался о нем всегда только с похвалой. Если отсутствие Гладстона грозило поместить их рядом, Дизраэли просил кого-нибудь из приятелей сесть между ними: он хотел избавить сэра Роберта от тягостного соседства. Но Пиль смотрел на него без гнева и внимательно наблюдал его. Посмертный, так сказать, успех его политики удовлетворял его самолюбие. Его лицо было снова спокойно и почти счастливо. Как-то вечером, когда Дизраэли после прекрасной речи садился на свое место, Гладстон, бывший соседом Пилия, услышал, что тот тихонько выражает свое одобрение.

В ту ночь заседание продлилось до пяти часов утра. Как всегда, когда Дизраэли возвращался, дом был весь освещен: он лег, хорошо спал, проснулся поздно и позволил жене уговорить себя прокатиться вместе с ней. Когда они проезжали Риджент-парк, два едущих верхом иностранца остановили их карету. «Мистер Дизраэли, — сказали о н и , — вам, вероятно, будет интересно узнать, что сэра Роберта Пилия сбросила лошадь и что его доставили домой в очень тяжелом состоянии». «Тяжелом? — сказал Дизраэли. — Надеюсь, что нет. Эта утрата была бы тяжелым несчастьем для нашей страны». Оба иностранца, по-видимому сильно удивившись, отъехали от него.

Известие было верно: Пиль утром выехал кататься верхом, он чувствовал себя усталым после ночного заседания; норовистая лошадь сбросила его наземь. Страдания были так сильны, что врачи не могли как следует осмотреть ран; леди Пиль была в ужасном отчаянии, и ей не разрешали входить в комнату больного, так как ее слезы слишком волновали его. Толпы взволнованных обывателей не отходили от дома, ожидая известия.

В этот день Лондондерри устраивали в своем цветущем розами коттедже на берегу Темзы сельский праздник. Леди Лондондерри подносила своим гостям чай в золотых массивных чашках. Встревоженный хозяин дома дружески пожал руку Дизраэли, потом исчез куда-то. Вернувшись много времени спустя, он пробормотал: «Никакой надежды...» Он верхом доскакал до дома Пиля, в то время как в его доме играли скрипки и гостей угощали мороженым.

На следующий день в «Карлтоне» Гладстон говорил: «Пиль умер, примирившись со всеми, даже с Дизраэли».

Вечером играла Рашель: шел «Баязет» на французском языке. Весь Лондон был в театре. Было странно думать, что никогда больше сэр Роберт не займет своего места в парламенте. «Он исполнил свое жизненное назначение, — сказал Булвер Дизраэли. — Ни один человек не живет дольше того, сколько нужно для того, чтобы он исполнил предназначенное ему». Почему так? Булвер начал говорить очень нравоучительные вещи. Совершенно искренне Дизраэли жалел о своем соседе. Но в то же время казалось, что после смерти Пиля будет легче примирить сторонников Пиля с консервативной партией. Но они оказались непреклонными. Они считали оскорблением памяти Пиля такое быстрое объединение с его врагами и не хотели служить под начальством Дизраэли, так как были в давнишней вражде с ним. Они с удивлением узнали, что Диззи готов был передать руководство партией в Палате общин кому-либо из ветеранов — приверженцев Пиля. Такое самоотречение поразило их до недоверия. Оно не вязалось с тем обликом, который они создали о нем. Вскоре представился случай испытать его искренность.

Оставшийся в меньшинстве по какому-то радикальному предложению, лорд Джон Рассел подал в отстав-

ку. Лорд Стэнли был призван к королеве. Она ждала его с некоторым беспокойством. Королевская чета была сторонницей свободной торговли. Стэнли с присущей ему элегантною откровенностью сказал королеве, что в его партии мало талантливых людей и что он не представляет себе возможности создать министерство из ее членов. Он совещался с Дизраэли. «Можно ли будет, не прибегая к помощи сторонников Пиля, найти в Палате общин шесть или семь хоть сколько-нибудь интеллигентных консерваторов?» Сам Стэнли в это не верил. Дизраэли убеждал его, что, если бы партия могла ценой отказа его, Дизраэли, от звания лидера получить поддержку Гладстона и его друзей, он готов на эту жертву. Потом он назвал несколько кандидатов в министры, среди них какого-то Хэнли. Лорд Стэнли пожал плечами, но не возражал. Таков был его обычай.

На следующий день около полудня Стэнли заехал к Дизраэли на Гровнор-гейт. Его пригласили в первый этаж, в голубую гостиную. Лицо лорда сияло довольством, глаза смеялись; он приподнял, как делал это часто, свои насмешливые брови и сказал: «Ну-с! Вот и мы пошли в ход». Потом, ставши серьезным: «Я обещал королеве постараться создать министерство». Она спрашивала его, кому он думает поручить руководство Палатой общин, и он назвал Дизраэли. Королева прервала его, сказав: «Я не слишком хорошего мнения о мистере Дизраэли. Мне не нравилось его поведение по отношению к бедному сэру Роберту Пилю, и кончина сэра Роберта только усилила во мне это чувство...» Лорд Стэнли ответил: «Государыня, мистеру Дизраэли приходилось создавать себе положение и приобретать репутацию блестящего оратора. Люди, которым приходится самим завоевывать свое положение, часто говорят и делают вещи, которых могут избежать те, кто нашел свое место в жизни готовым. Никто столь-ому не научился в парламентской школе, как мистер Дизраэли, и тон его совершенно изменился». «Это верно, — подтвердила королева, — но надеюсь, достигнув такого высокого положения, он станет более умеренным. Я принимаю его под вашей гарантией».

«Теперь, — сказал лорд Стэнли Дизраэли, взволнованному этим рассказом, — я напишу Гладстону, чтобы он зашел переговорить со мной».

Свидание с Гладстоном закончилось полнейшим поражением. Наследники Пиля условием своего участия

в министерстве ставили официальный отказ от протекционистской политики, то есть требовали чего-то, похожего на публичное покаяние. Гордый Стэнли не мог пойти на это. Несмотря ни на что, он сохранял веселое расположение духа и на следующий день пригласил к себе своих друзей из Палаты лордов и указанных Дизраэли членов Палаты общин. Но когда последний увидел собравшуюся в великолепной столовой лидера жалкую компанию, он потерял уверенность. Этот мистер Хэнли, которого он так расхваливал, сидел на стуле, опершись обеими руками о тяжелую трость; со своими черными, сходящимися у переносицы бровями, с глазами, лишенными всякой мысли, он похуж был на тюремного сторожа, который ждет нагоняя за грубость. Другие вполне стоили его. Как только они заговорили, лорд Стэнли обменялся взглядом с Дизраэли, и тот тотчас понял, что делалось в уме его шефа. Разве мог этот изысканный, остроумный человек долго выносить такое зрелище? Он все пошлет к черту. А Дизраэли уже намечал обширную программу, мечтая о длительном министерстве, о благоприятных выборах. И дело срывалось, еще не начавшись. Ах, если бы Дизраэли был начальником, с каким терпением попытался бы он постепенно образовать своих коллег! Но он не был начальником и должен был подчиняться капризам этого нетерпеливого знатного барина. Цель, почти достигнутая, вновь отодвигалась, и может быть за пределы достижения.

Лорд Стэнли сделал знак Дизраэли встать и увел его в другой конец комнаты.

— Ничего тут не выйдет, — сказал он.

— Ничего не выйдет слишком блестящего, но не топнитесь.

Стэнли вернулся к столу. Он сказал, что считает себя обязанным отказаться от образования министерства главным образом из-за недостатка подходящих членов Палаты общин. Один из членов партии, Бересфорд, привскочил и начал уверять лорда Стэнли, что в «Карлтоне» есть несколько очень достойных людей, которые только ждут приглашения. «Кто же в «Карлтоне»?» — нетерпеливо спросил лорд Стэнли. «Дидс», — сказал Бересфорд. «Ну-у! Нет, таких господ я не могу предложить королеве. Итак, милорды и джентльмены, я очень благодарен вам за ваше любезное посещение, но разговор окончен».

Все расходились очень сконфуженные. Хэнли свирепо молчал. У Бересфорда был вид человека, потерявшего все свое состояние в рулетке, но он продолжал уверять, что, правда же, Дидс человек первого сорта.

Когда Стэнли в Палате лордов объяснял, чем вызван его отказ от министерства, он провел блестящую параллель между ничтожеством собственной партии и блеском маленькой группы приверженцев Пиля.

Не всегда легко было быть лейтенантом лорда Стэнли.

IX

ЖЕСТОКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ МИСТЕРА ГЛАДСТОНА

Бывает при игре в регби, что хороший горячий игрок, не унывающий, несмотря на все неудачи, двадцать раз подает мяч беззаботным партнерам, не пытающимся даже перейти в наступление, так точно и Дизраэли не один раз направлял власть в руки беззаботного Стэнли. Диззи ставил своей задачей перевоспитать партию; он пытался вывести ее из дебрей протекционизма; членов ее он хотел поднять от чувства кастового сознания до сознания общенационального; хотел научить их думать об общественном благе и о престиже всего государства. Взамен протекционизма он отважно предлагал новую программу — имперскую реформу парламента; он хотел допустить колонии к участию в управлении государством, уравновесить их голосами демократические голоса городов, ввести таким образом в политическую жизнь свежие элементы и покончить наконец с бессмысленным соперничеством Города и Деревни, Промышленности и Земледелия. «Романтические бредни», — решил благородный лорд, вновь вернувшийся к своим привычным развлечениям.

Еще один раз мяч был подтолкнут к Стэнли, и королева вызвала его в Виндзор. Вот уже несколько месяцев как после смерти отца он стал лордом Дерби. Снова он заехал на Гровнор-гейт и был введен в голубую гостиную. На этот раз он сказал Дизраэли: «Вы будете канцлером казначейства». «Я ничего не понимаю в финансах», — сказал Дизраэли. «Вы понимаете столько же, сколько понимал Каннинг. Канцелярии будут доставлять вам нужные цифры». На следующий день

министерство было образовано. Партия была так бедна людьми, что из всех членов нового кабинета только трое были уже министрами. Королева полагала, что все министерство — это сам лорд Дерби. Сам же он на вопрос, как он поживает, отвечал: «Я здоров, и мои малютки тоже». Герцог Веллингтон просил назвать ему фамилии новых министров; так как он был очень стар и очень туг на ухо, а все фамилии были ему совершенно неизвестны, то он все время прерывал своего собеседника вопросом: «Кто это? Кто это?» Газеты подхватили словечко, и министерство стало известно под кличкой «Кто это? Кто это?». Что же касается назначения Дизраэли на пост канцлера казначейства, то оно казалось особенно смешным. Но что ему до того? Он чувствовал себя как молодая девушка в день своего первого бала. Великий старец Линдхерст напомнил ему их разговор в дни его молодости, когда тот высказывал свои юношеские мечты, теперь осуществившиеся. Сару в глубине ее деревенского уединения осаждали просьбами местные жители; почтальон хотел получить место в городе и говорил с мисс д'Израэли робким и дрожащим от смущения голосом. Диззи отправился за мантией канцлера: то была черная шелковая мантия, вся обшитая золотыми галунами, по прямой линии переходящая от великого Питта. «Она вам покажется очень тяжелой», — заметил принимавший его чиновник. «Она мне кажется чрезвычайно легкой», — ответил Дизраэли.

* *
*

Сначала все шло как будто не слишком плохо. Королева даже забавлялась докладами о заседании, которые должен был доставлять ей каждый вечер лидер Палаты общин: «Мистер Дизраэли (он же Диззи) пишет мне прекурьезные рапорты, совершенно в стиле своих книг». Дерби был почти доволен своими новичками.

Палата ждала перевыборов. Эти последние оказались неблагоприятными для консерваторов, и несчастный канцлер понял, что ему недолго дадут наслаждаться ролью, которая доставляла ему столько удовольствия. Гладстон особенно настораживался.

Помимо желания обоих политическая жизнь постепенно принимала характер поединка между ними. Внешне они теперь были почти друзьями. Их жены

бывали друг у друга. Случалось даже, что после довольно бурного заседания Гладстон заходил пожелать доброго вечера Мэри Энн. В теории оба они были консерваторами. Гладстон со своей страстью к неподдающимся определению оттенкам говорил, что «он предпочитает быть в либеральном крыле консерваторов, нежели в консервативном крыле либералов». Но их характеры были слишком различны, а интересы карьеры сталкивались и переплетались. Без Дизраэли Гладстон был бы естественным преемником Пия. Таково было мнение последнего. «Гладстон будет премьер-министром от консерваторов», — говорил он незадолго до смерти. «А Дизраэли?» — «Его мы сделаем генерал-губернатором Индии».

Каждый из них был строг к другому. В глазах Гладстона Дизраэли был человеком без религии, без политических убеждений, Дизраэли же смотрел на Гладстона как на ханжу, который мнимой шепетильностью маскирует свои ловкие маневры политика. Гладстон прожил всю свою жизнь как маленький примерный мальчик из воскресной школы. В Итоне он утром и вечером совершал молитву. В Оксфорде юноши в 1840 году стеснялись пить, так как в 1830 году там учился Гладстон. В парламенте он тотчас же стал старательным последователем и любимым учеником Пия.

Дизраэли и в школьные годы, и в начале своей политической карьеры вел беспутную жизнь богемы. Он раньше нашел дорогу в дома ростовщиков, чем во дворцы епископов и министров. Враги Дизраэли говорили о нем, что он нечестен; враги Гладстона говорили о нем, что он честен в самом худшем смысле этого слова. Враги Дизраэли говорили, что он не христианин; враги Гладстона говорили, что он, может быть, прекрасный христианин, но, безусловно, отвратительный язычник. Дизраэли учился чтению на Мольере, на Вольтере; Гладстон считал «Тартюфа» комедией третьего разряда. Циник Дизраэли, помогая старому и суровому мистеру Брайту надеть плащ, шептал ему на ухо: «В конце концов, мистер Брайт, мы оба прекрасно знаем, что нас привело сюда: честолюбие». Гладстон, безотчетно обманывая себя, утверждал: «Ей-ей, не думаю, чтобы я мог обвинять себя в том, что делаю что-либо из честолюбия». О Гладстоне говорили, что он во многом может убедить других, а себя — в чем угодно. Дизраэли умел убеждать других, но над самим собой не имел власти. Гладстон

в своих симпатиях исходил из отвлеченного принципа: он был склонен думать, что его желания вполне совпадают с желаниями всевышнего. Его обвиняли не в том, что у него всегда был зажат в кулаке козырный туз, а в том, что он уверял, что этого туза вложил в его руки сам бог. Дизраэли чувствовал просто отвращение к отвлеченным принципам. Его, правда, увлекали некоторые идеи, но только те, которые зажигали его воображение. Проверку их он предоставлял практической деятельности. Если Дизраэли изменял свои мнения, как было, например, с протекционизмом, он открыто признавал это, и его считали неустойчивым. Гладстон строил свое постоянство на соломинке, но был убежден, что это прочнее доски. Дизраэли не сомневался в том, что Гладстон далеко не праведник, но Гладстон часто думал, не дьявол ли Дизраэли?

И каждый из них ошибался в другом. Гладстон принимал всерьез все циничные заявления Дизраэли, которые тот часто делал из вызова. Дизраэли считал лживыми все фразы, которыми Гладстон добросовестно обманывал самого себя. Дизраэли, будучи доктринером, кичился своим оппортунизмом; Гладстон, будучи оппортунистом, кичился своим доктринерством. Дизраэли, делавший вид, что презирает рассудочность, рассуждал здраво; Гладстон, полагая, что он очень рассудочен, действовал исключительно под влиянием страсти. Гладстон при большом состоянии вел ежедневную запись доходов и расходов; Дизраэли, обремененный крупными долгами, мотал деньги без счета. Оба они любили Данте, но Дизраэли преимущественно читал «Ад», Гладстон — «Рай». Дизраэли, которого считали легкомысленным, был молчалив в обществе; Гладстон при своей репутации серьезного человека настолько чаровал всех светской болтовней, что надо было избегать встреч с ним, чтобы продолжать ненавидеть его. Гладстона интересовали только две вещи — религия и финансы; Дизраэли интересовался тысячью вещей, в числе которых были финансы и религия. Ни один из них не верил в искренность другого, и тут оба они опять ошибались. Дизраэли был бы страшно удивлен, если бы узнал, что мистер Гладстон и его жена, когда у них был повод чему-нибудь очень радоваться, обнявшись, покачивались перед камином и напевали:

Бездельные супруги мы, но мы друг с другом неразлучны,
Сумеем жизнь прожить чрез все препятствия благополучно.

Когда в мрачный декабрьский день 1852 года оба соперника в прениях о бюджете поднялись один вслед за другим, всем показалось, что Гладстон с четко вырезанным профилем, с агатовыми глазами и гривой черных волос, могучим движением откинутой назад, был духом океана. Слегка согбенный силуэт Дизраэли с его блестящими кудрями и длинными гибкими руками напоминал скорее духа огня. Когда оба заговорили, всем стало ясно, что Дизраэли талантливее, но Гладстон взял тон морального превосходства, а этот тон больше нравился Палате.

Никогда еще не нападали так в парламенте на какой-либо бюджет, как напали на бюджет Дизраэли. Его заставили жестоко поплатиться за нападки на Пиля. В течение целой недели его ночь за ночью осмеивали, поносили, обдавали презрением. Все блестящие экономисты Англии один за другим говорили о его невежестве и безрассудстве. Все с иронией подчеркивали его отход от протекционизма.

Дизраэли сидел неподвижно, скрестив руки и ноги, полузакрыв глаза. Лицо было бледно и точно подернуто апатией. Может быть, он припомнил иронические фразы, которые когда-то бросал Пилю: «Мы не часто слышим теперь о земледельцах». Теперь ему говорили: «Мы что-то немного слышим о пресловутом протекционизме». Казалось, он не слышал и не чувствовал ничего. И только когда он заговорил, то по затаенной горечи его сарказмов можно было понять, как больно он задет. Он вынуждал себя к спокойному и сдержанному тону, но время от времени у него вырывались фразы, полные такой горькой иронии, что они производили почти страдальческое впечатление. Начало его речи: «Я не прирожденный канцлер казначейства, нет. Я принадлежу к парламентской черни» — было полно странными отзвуками Руссо, весьма неожиданными в устах лидера консерваторов. Сильная гроза грохотала в течение его долгой речи. Сверкавшие вспышки молнии, грохотавшие раскаты грома служили подходящим фоном для демонической фигуры, какой он представлялся своим противникам. Когда встал Гладстон, все почувствовали облегчение. Гроза умолкла. Торжественные и добродетельные слова приятно баюкали совесть слушателей. Елейная мягкость тона несла успокоение.

Тончайшая поэзия английского бюджета является, может быть, самой сокровенной тайной искусства для

несчастливца, который, подобно Дизраэли, не был с младенчества взлелеян вестминстерскими музами. В этой области таинственные, но непреложные законы приводят к тому, что лишняя пенни на сахар создает внезапно ужасный диссонанс (и все старые завсегда-таи скрежещут зубами, смотря с сожалением на нового капельмейстера), в то же время пенни на пиво могло бы порадовать слух слушателей дивной гармонией. Цена на солод и экономия на флоте чередуются в сложнейших, но строгих контрапунктах — и, конечно, только инстинкт может раскрыть их прирожденным канцлерам казначейства. Гладстон, природный мастер этого высокого и чистого искусства, без труда разоблачил ошибки новичка.

Дизраэли слушал, по-прежнему скрестив руки. Время от времени он усталыми глазами смотрел на стенные часы. Дерби на хорах дожидался голосования, которое должно было решить судьбу его министерства. Несколькими минутами он внимательно слушал Гладстона, потом, уронив голову на руки, произнес только: «Плашмя».

В четыре часа утра министерство было сброшено тремястами пятью голосами против двухсот восьмидесяти шести. Пребывание у власти было кратковременным. Трудно представить себе прелесть прощальной речи Дизраэли. Он не проявил ни тени огорчения, но только просил у собрания прощения за необычную горячность своей первой речи. Лорд Джон похвалил его за мужество, с которым он боролся, — и занавес опустился. Вечером Гладстон заносил в своем дневнике, что он один знает, как тяжело ему было послужить избранным орудием для свержения Дизраэли. «У этого человека бесспорно большие таланты. Я очень буду молиться, чтобы он сумел употребить их во благо».

В либеральное министерство, которое было тогда образовано, вошел вместе с некоторыми своими друзьями-политиками и Гладстон, порвавший наконец со своим консервативным прошлым. Этот кабинет был до того блестящ, что в противоположность министерству «Кто это? Кто это?» его прозвали «Все таланты».

Х ТЕНИ

Пятьдесят лет. Пятьдесят один. Пятьдесят пять. Годы избородили морщинами лицо, две глубокие борозды шли от крыльев носа и доходили до углов рта. Под глазами кожа стала темной, нижняя губа уже тяжело свисает; он стареет хуже, чем англичане со светлой кожей, этот пересаженный на чуждую почву бедуин. Молодые женщины, не знавшие его во времена вышитых жилетов и золотых цепей, во времена блестящих кудрей, находят его некрасивым. Мэри Энн другого мнения. «Мистер Дизраэли, — говорит ей кто-нибудь, — очень красноречиво говорил сегодня вечером в Палате. Как он хорошо сейчас выглядит». «Ах, не правда ли? — говорит она. — Вы находите, что он хорошо выглядит? Люди говорят, что он некрасив, но это неверно, он прекрасен. Ах, как я хотела бы показать его им, когда он спит».

Дизраэли стал еще молчаливее, и, кажется, во всем Лондоне не более двух человек помнили, когда он улыбался. Он не утратил вкуса к крупной игре, но выиграет ли он когда-нибудь? Он сам начинает в этом сомневаться. Сотни раз произносил он речи, о которых говорили, что это лучшая из слышанных когда-либо речей в Палате. Десятки раз делал он вылазки против оппозиционной партии, но то лорд Дерби спасует перед последними препятствиями, то образованное им министерство просуществует всего несколько месяцев. Потом Крымская война заставила обе соперничающие партии заключить какое-то подобие священного союза. К тому же партия, ослабевшая благодаря уходу сторонников Р. Пиля, никак не могла восстановить свои силы и осталась немощной.

Лорд Дерби стал его другом. Когда ему теперь задают старый, надоевший вопрос: «Почему никто не доверяет мистеру Дизраэли?», он отвечает: «Но я ему доверяю». У лорда Дерби стали частыми припадки подагры, и тогда он не любит, чтобы с ним говорили о политике. Бывает, что Дизраэли заходит поговорить об избирательной реформе, а он читает ему свой перевод французской поэмы «Листопад» Мильвуа:

Вы, сердцу милые и грустные леса,
Вещаете и мне печаль своей судьбы.

Лорд Дерби доволен этими стихами. А что думает о них милейший Диззи, когда-то бывший сам поэтом? Милейший Диззи вздыхает, но принимает независимый вид. Эта деланная, аффектированная независимость забавляет старого вельможу. Ему-то что за дело до министерства? Ничто не мешает ему быть четырнадцатым графом Дерби, в то время как о первом упоминается у Шекспира, а двенадцатым основано дерби.

Когда после очередного отказа от власти заходит к нему его сын Стэнли, он обращается к нему: «Алло, Стэнли, чем я обязан вашему приходу? Не зарезался ли Диззи или, может быть, вы собираетесь жениться?»

Но, когда ему предлагают заменить в Палате общин Диззи Стэнли, Дерби становится серьезным. Капитан так же лоялен, как и лейтенант. Вся враждебная им часть партии считает их ответственными за долгие неудачи консерваторов; недовольные прозвали их «Жид» и «Жокей».

Дизраэли начинает чувствовать некоторую усталость. Он знает, что делал все как только мог лучше, он был честен и отдал свою жизнь партии. Был ли он уверен до сих пор, что любовь к славе единственное, что вдохновляет людей на великие дела? Был ли он циничен? Несомненно, он циничен, но сколько романтического скрывается за этим цинизмом. Впрочем, не один раз честолюбие и цинизм приносил он в жертву верности партии. Даже самому Гладстону он написал благородное письмо, в котором предлагал мир. Это было рискованным шагом, так как он смог привлечь в партию единственного опасного для себя соперника. Но Гладстон ответил холодно, ссылаясь на моральные соображения, которые заставили его порвать с консерваторами. Вскоре он, конечно, будет премьер-министром от либералов. Между тем Гладстона все считают святым, а на Дизраэли смотрят как на чудовище. Ведь Диззи считает, что он очень непопулярен, гораздо больше даже, чем это есть на самом деле. В детстве, будучи задетым в своем самолюбии, он стал очень чувствителен ко всякой обиде. «Ах, дорогая Дороти, — пишет он Дороти Невилл, — не моя политика им не нравится, не нравлюсь им я сам».

Прежних друзей не стало. Леди Блессингтон умерла в Париже в 1851 году. Она принуждена была бежать из Лондона вместе с д'Орсеем, промотав все до последнего пенни. Она все же успела до своей смерти при-

слать несколько приветственных слов новому лидеру, своему прежнему протеже, ставшему теперь великим человеком. Д'Орсей немногим пережил ее; они похоронены оба в Шабурси около Нанта под одной общей гранитной пирамидой. Смит, циничный и очаровательный Смит, прообраз «Конингсби», родоначальник «Молодой Англии», умер почти в нищете. Он Диззи завещал стихи:

Что жизнь? В борьбе короткой победы миг пустой,
Где скрыт обман для игрока удачною игрой.

Диззи часто повторяет это двустишие: «Что жизнь?»...

Герцог, этот железный человек, казавшийся бессмертным, наконец умер. Войска шпалерами стояли до самого Святого Павла. Две тысячи голосов пели Генделя; когда хористы перевертывали страницы, казалось, проносится порыв ветра. Дизраэли произнес речь. Он сделал оплошность, заимствовав ее у Тьера; это было замечено, и все были шокированы.

Старый Линдхерст еще жив; ему 88 лет; он ослеп, но сохранил необычайную живость ума. Не будучи больше в состоянии читать, он заучивает наизусть и молитвенник, и своих любимых поэтов. Его внучка, которой еще нет 8 лет, задает ему уроки.

Булвер очень изменился. Он тоже стал консерватором, но на него положиться нельзя. Он живет в постоянном страхе перед сумасбродной Розиной, преследующей его бессмысленной ненавистью. Эта фурия совсем поработила Булвера, он мечтает теперь только о назначении в Палату лордов, о богатстве и о покое.

Каролина Нортон все еще прекрасна; пряди волос, обрамляющие ее лоб, красивого фиолетово-черного цвета, но и она сделалась желчной. У бывлой царицы красоты, леди Сеймур, сын 30 лет. Вставая из-за стола, она принуждена опираться на руку соседа.

Тяжелая утрата постигла Диззи: верная Сара умерла в 1859 году. Семейный уют, надежное пристанище, средоточие заботы и нежности больше не существует. Мэри Энн пришлось теперь стать женой, матерью, сестрой, и она великолепно справляется со всеми этими ролями. Она всегда понимает своего Диззи и никогда ему не надоедает. В ее глазах он величайший гений всех времен, и она бережно сохраняет мельчайшие клочки бумаги с его пометками. Иногда даже в обществе она берет его руку и смиренно целует ее. Она по-прежнему сла-

вится своими словечками. В Виндзоре, например, она говорит принцессе королевской крови:

— Может быть, моя дорогая, вы не знаете, что значит иметь любящего мужа!

Джордж Смит, холодный и дерзкий, осмелился как-то спросить у Дизраэли, не стесняют ли его иногда разговоры его жены.

— Нет, она меня никогда не стесняет и не раздражает.

— Ну, Диззи, вы обладаете необычными качествами.

— Ошибаетесь, у меня одно только качество, которого, правда, очень часто не хватает людям: благодарность.

А другому он говорит:

— Она уверовала в меня в те времена, когда все люди меня презирали.

Ежегодно в годовщину их свадьбы он посвящает ей маленькую поэму.

Странное существо вошло в их жизнь. Уже давно Дизраэли получал письма от одной незнакомки-поклонницы, миссис Бридж Уильямс из Торкуэй, которая объявляла себя, подобно ему, крещеной еврейкой. «Знаете ли вы старую чудачку из Торкуэй?» — спрашивал он своих друзей. Однажды миссис Бридж Уильямс попросила его быть ее душеприказчиком и принять от нее довольно значительное наследство. Он отправился вместе с Мэри Энн к ней с визитом и увидел семидесятипятилетнюю огромного роста женщину, смешную и симпатичную. Супруги Дизраэли и старая дама быстро подружились. Хэггендэн посылает фиалки в Торкуэй, а оттуда летят в Хэггендэн розы. Ежедневные записочки к миссис Бридж Уильямс заменяют Диззи письма к Саре.

«Высшее для меня наслаждение в этом году — это Ваши розы. Больше недели прожили они у меня в комнате на столе. Мне кажется, я никогда не видел еще таких прекрасных по форме роз, таких ярких и с таким дивным ароматом. Мне думается, что Ваши розы прибыли из Кашмира». — «Где Вы достали омара, которого я получил сегодня к завтраку? В гротах Амфитриты? Он был так свеж. От него веяло солоноватой сладостью океана».

И еще другие женские привязанности скрашивают его довольно мрачное существование. Леди Лондондерри, леди Дороти Невилл.

«Дорогая Дороти, Ваша клубника так же свежа и прекрасна, как Вы сами. Я получил ее так кстати, в тот момент, когда чувствовал себя совсем больным и усталым». Он живо помнит бал, когда увидел ее впервые. «Ради бога, — спрашивал он тогда, — скажите, кто эта молодая особа, которая как будто сошла с картины времен Георга II?» О, как в те времена женщины были очаровательны и остроумны! Теперь, в 1860 году, у молодых девушек одна мечта: они хотят, чтобы их принимали за дам с камелиями. Все они прогуливаются в юбках, приподнятых до колена и открывающих хорошенькие ножки. Молодых людей они зовут просто Том, Джон или Дик и обсуждают с ними последние скандалы, изобретенные в Уитсе.

Сменяют друг друга государи. Благоразумного Луи Филиппа, когда-то на обедах в Тюильри посылавшего Дизраэли отлично нарезанные ломтики ветчины, Дизраэли видел изгнанником, плачущим на убогой кровати. Зато в тех же залах Тюильри Дизраэли был принят императором, когда-то катавшим его на лодке по Темзе. Мэри Энн, сидя по правую руку от Наполеона III, напомнила ему об этом неудачном катанье и о том, как он любил братья за вещи, которых не умел делать. Император очень смеялся, а императрица заметила: «Да, это очень похоже на него». Вкус Диззи к сказочным богатствам «Тысячи и одной ночи» был удовлетворен Парижем Второй империи. «Лебединую шею императрицы украшало ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подобных тем, которые таились в подвалах Аладина». Дизраэли верен своей симпатии к Франции: часто через тайных агентов он дает императору великолепные советы, которыми тот, увы, мало следует.

Молоденькая королева, на прием к которой Диззи когда-то сопровождал своего старого друга Линдхерста, стала суровой и могущественной государыней. Она понемногу привыкает к Дизраэли и благосклонно обращается с ним и с его женой. Принц Альберт умер в прошлом году.

Есть еще нечто, что убеждает Дизраэли в том, что жизнь его прожита не даром: восторженное отношение к нему молодежи. Их увлекает некоторая фантастичность его политики. Молодой восторженный секретарь Монтэгю Корри привязался к нему и относится с трогательной преданностью. Сын Дерби, Стэнли, — его последователь, правда последователь чрезмерно осторож-

ный, но благодарный. «Видите ли, — говорит ему Дизраэли, — у вас, у лордов Дерби, нет воображения». Както греки в поисках короля предложили престол Стэнли. Стэнли, не бывший Байроном, отказался. Ах, если бы кто-нибудь предложил греческий престол Диззи!

В 1853 году он отправился в Оксфорд, где был избран доктором *honoris causa*. Он ехал с некоторым беспокойством, зная насмешливость студентов и припоминая, что часто они очень высокопоставленных лиц встречали свистками и шиканьем. Но никогда еще со времен герцога Веллингтона не устраивали они никому такого приема. Бледный, бесстрастный шел Дизраэли навстречу канцлеру, а амфитеатр не умолкая гремел аплодисментами. «*Placet ne vobis, Domini?*»*, — спросил канцлер. «*Maxime placet! Immense placet!*»** — кричали студенты.

Неподвижное лицо слегка дрогнуло: он направил монокль на трибуну дам и, найдя Мэри Энн, послал ей рукой почти невидимый поцелуй.

* *
*

Шестьдесят лет. Шестьдесят один. Годы текут то медленно, то быстро. Человеческий ритм сессий переплетается с божественным ритмом времен года. Дизраэли стареет. Конечно, он уже никогда не будет премьер-министром. Он будет служить еще раз или два в кабинете Дерби, потом придет очередь Стэнли. У знатных фамилий свои привилегии. А жаль: он так любит власть. Но не надо слишком много думать о том, чего нет; то, чего он достиг, не так уж плохо, особенно если вспомнить об унижениях первых шагов. «*Forti nihil difficile* [Храброму ничто не трудно]», — говорил он когда-то. Ребяческий девиз. Все трудно. С годами он взял себе другой девиз: «*Never explain, never complain* [Ничего не объяснять, ни на что не жаловаться]». Поменьше лишних слов.

Миссис Бридж Уильямс умерла, оставив своим старым друзьям около тридцати тысяч фунтов. Это дало возможность покрыть часть долгов. Другая часть стала не так велика благодаря одному скромному и великодушному человеку. Андре Монтэгу, богатый йоркшир-

* «Одобряете ли вы этот выбор, господа?»

** «Весьма одобряем! Весьма!»

ский помещик, поклонник Дизраэли, скупил у ростовщиков все векселя, почти на пятьдесят семь тысяч фунтов, и свел проценты к трем на сто. Старая дама завещала похоронить себя на кладбище Хэггендена. Она покоится там, недалеко от маленькой церкви. Возможно, скоро последует за ней и Дизраэли: его здоровье никогда не было крепким, а жизнь не щадила его. Парк стал восхитителен. Мэри Энн наделала в нем чудес. На террасе в белых флорентийских вазах розовые герани чередуются с голубыми...

Дом реставрирован в том виде, в каком он был во времена Стюартов. В спускающихся террасах сада, где статуи богинь охраняли входы в аллеи, изображение рисовало облики кавалеров, прогуливающих со своими возлюбленными.

Жизнь четы Дизраэли течет однообразно и уединенно; изредка это однообразие прерывается приездом друзей, а по воскресеньям посещением церкви.

Сидя на скамье владельцев Хэггендена, Дизраэли мечтает о чем-то. Во время богослужения настоятель Клабб с тревогой поглядывает на могущественного человека, который, может быть, скоро будет назначать епископов. Псалом 102:

«Господи! Услышь молитву мою, и вопль мой да придет к тебе... Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня... Я уподобился пеликану в пустыне: я стал как филин на развалинах... Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле... Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною... Дни мои, как уклоняющаяся тень; и я иссох, как трава. Ты же, господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род...»

Он возвращается домой пешком, рядом с маленькой кареткой Мэри Энн, которая, управляя пони, с увлечением рассказывает о том, что она проделала в парке. Она говорит. О, как много она может говорить, Мэри Энн! В пруд она только что пустила двух прекрасных лебедей, которых Диззи зовет Геро и Леандр, — она не совсем понимает, почему так. Передельывая сад, она спугнула сов, которые ютились в старых тисах, но Диззи заявил, что это птицы Минервы, и начал благоговейно заботиться о них. Вечерами они иногда стучат в окна своими кривыми клювами, и их большие круглые глаза блестят в темноте.

XI

НА ВЕРХУШКЕ КАЧАЮЩЕЙСЯ МАЧТЫ

*Как можем мы смотреть на наше время,
как на эпоху утилитаризма? Наоборот,
оно бесконечно романтично.*

*Рушатся троны. Короны раздаются,
как в волшебной сказке.*

*Могущественнейшие в мире люди —
мужчины и женщины — всего несколько лет тому назад
были изгнанниками и авантюристами.*

Дизраэли

В 1859 году «Панч» опубликовал рисунок, изображающий спящего льва, которого Брайт, Дизраэли и Рассел стараются разбудить уколами раскаленных пик. На каждой пике надпись: «Реформа». Точный символ того, что происходило тогда в стране. После урезанной реформы 1832 года, давшей избирательные права такому ограниченному кругу избирателей, все партии поочередно старались заинтересовать британского льва в новых мероприятиях. Но хорошо упитанный лев продолжал свою спячку, и парламентский рай был населен теньями мертворожденных реформ. То консервативное министерство предлагало дать избирательные права каждому обывателю, платящему свыше десяти фунтов жилищной платы, и либеральная оппозиция вопила о позоре и о том, что восемь фунтов — это естественный предел прав человека; то министерство вигов устанавливало норму в семь фунтов, и Дерби, устами пророка своего Дизраэли, утверждал, что это значит бросить Англию в объятия худшей демагогии. Фактически же весь вопрос состоял в том, чтобы выяснить, какую из обеих крупных партий будут поддерживать новые избиратели. Но Гладстон с негодованием говорил о тех, кого интересовала статистика выборов и кто народные массы рассматривал как вооруженные силы завоевателей. «Те люди, о которых тут так говорят, — наши братья, такие же христиане, как в мы, плоть и кровь наша». На это один из консерваторов задал ему вопрос, почему же плоть и кровь наша простирается только до семи фунтов жилищной аренды. Некоторые из вигов тоже нашли, что вся эта сантиментальная галиматья уж слишком безвкусна; они вышли из партии, и Брайт окрестил их адулламитам, потому что, когда «царь

Давид скрылся в пещерах Адуллама, все, у кого были долги и кто был недоволен, объединились вокруг него». Дизраэли, опираясь на адулламитов, свалил безутешного лорда Джона и пылкого Гладстона. Тогда лорд Дерби, поцеловав руку королевы, вместе с Дизраэли взял на себя министерство. Еще раз они встали у власти, будучи в меньшинстве и опираясь только на случайную коалицию, и еще раз казалось, что их министерство будет недолговечным.

* *
*

С первых дней правления Дерби британский лев, неизвестно почему внезапно проснулся в дурном расположении духа и разбил прутья своей клетки, роль которой играла решетка Гайд-парка. Три дня подряд собирались на улицах толпы, требовавшие реформы избирательного права. Были вызваны войска. Министр внутренних дел разразился слезами, Мэри Энн смотрела на манифестантов из окна, и, так как ей показалось, что они забавляются, она прониклась к ним симпатией. Королева вызвала Дерби в Бальморал и сказала ему, что раз этот вопрос волнует страну в течение тридцати лет, то надо же когда-нибудь его разрешить, и будет лучше, если его разрешит консервативное министерство. Внезапно Дизраэли увидел, какой тут можно сделать блестящий шаг.

В глубине души он был давнишним сторонником того, чтобы избирательные права распространялись на верхушку рабочего класса, на наиболее серьезную часть его. Союз аристократии и простого народа, который он проповедовал в «Сибиле», будет таким образом осуществлен, и, может быть, самая рискованная мера окажется и самой благоразумной. «Почему, — говорил он Дерби, — не дать право голоса по семьям отдельным домохозяйствам, независимо от квартирной платы, с подобающими ограничениями времени и местопребывания?» По крайней мере тут будет налицо безусловно консервативный принцип, при этом такой, который легко защищать; можно смело сказать, что домовладельцы всегда заинтересованы в благосостоянии страны, в то время как все эти предельные нормы в десять фунтов, пять фунтов, шесть фунтов нелепы и их невозможно защищать. К тому же партия, которая рискует на эту реформу, будет иметь некоторые шансы привлечь новых избирателей на свою сторону. У либералов же будет

отнять наиболее популярный пункт их программы. Поистине стоило рискнуть. Но пойдет ли на это партия?

Партия проявила удивительную сообразительность. У тори не было оснований очень держаться созданной их противниками избирательной системы 1832 года, благодаря которой они в течение тридцати лет были отстранены от власти. Консерваторов увлекла мысль ловким ходом выбить из рук либералов их лучшую карту. За исключением нескольких оппозиционеров, большинство консерваторов приняло предложенный план кампании. Они сейчас же почуяли зарю большой победы. Многие из либералов, захваченные врасплох, решили, что раз консерваторы проводят в жизнь их программу, то почему же их не поддержать. Гладстон был совершенно сбит с толку. Самым мудрым исходом для него было бы торжествовать, но он задышался от гнева при мысли, что «Дух зла» несёт ангельское знамя. Он с неслыханной яростью набросился на своего хитроумного противника, а тот не преминул деланной беззаботностью подчеркнуть образ безумного гнева, воплощением которого был Гладстон. «Достопочтенный джентльмен, — говорил о н, — разговаривает со мной в таком тоне, который, надо сознаться, редко здесь употребляется. Это не значит, что я придаю большое значение проявляемой им горячности, но, в самом деле, его манеры так несдержанны, а жесты так угрожающи, что с облегчением вспоминаешь, что в Палате обе борющиеся между собой партии, сидя по ту и другую сторону стола, разделены такой широкой и прочной мебелью».

При голосовании министерство получило большинство в двадцать один голос. Дизраэли в настроенном враждебно парламенте провел закон, который в течение тридцати лет не могли провести либеральные министерства. Это была большая парламентская победа. Гладстон это почувствовал и отметил в своем дневнике: «Поражение почти беспрецедентное». Он был глубоко уязвлен. «Я встретил Гладстона за завтраком, — пишет один наблюдатель. — Он, видимо, совершенно ошеломлен демонической ловкостью Диззи». Дерби был в восторге, он признавал, что сделанный шаг был «прыжком в неизвестное», но прибавлял, потирая руки: «Разве вы не видите, в какое замешательство мы привели вигов?»

После голосования консерваторы приветствовали Дизраэли продолжительными и бурными аплодисмен-

тами. Все хотели пожать ему руку. После выхода из Вестминстера многие из них собрались в «Карлтоне» и импровизировали ужин. Дизраэли, возвращаясь домой, на несколько минут зашел в клуб и был снова встречен бесконечными аплодисментами. Друзья просили его отужинать с ними, но он знал, что Мэри Энн ждет его, что она тоже приготовила ужин, и не хотел огорчать ее. На следующий день она с гордостью говорила приятельнице: «Диззи вернулся прямо домой; я приготовила ему пирог и бутылку шампанского. Он съел половину пирога, выпил все шампанское и сказал мне: «Дорогая моя, вы для меня скорее любовница, чем жена». Ей было тогда семьдесят пять лет.

* *
*

Успех сильно изменил положение Дизраэли в парламенте. В поражении Гладстона не было того элемента трагического, который был в поражении Пилы. Оно было скорее забавно и в то же время изумляло всех. Два вождя партии, и притом одни из самых крупных, каких когда-либо знала Палата общин, рискнули на протяжении двадцати лет бороться с этим Диззи, и оба были разбиты. Этот человек, так часто говоривший об азиатских тайнах, сам не был ли овечья тайной? Чего он хотел? Каковы были его намерения? Какие мысли таились за маской бесстрастия в то время, когда он выслушивал все оскорбления Гладстона?

Воображение публики рисовало новый образ — Сфинкса. «Панч» опубликовал рисунок «Торжество Дизраэли». На этом рисунке был изображен громадный каменный сфинкс с лицом Диззи, которого толпы обнаженных невольников влекли к храму Реформы. В числе рабов можно было узнать Гладстона, а подгонял их бичом Дерби.

Никто из тех, кто в те времена встречал Дизраэли, не мог отделаться от сложного впечатления могущества и чародейства. Лицо его действительно приобрело неподвижность камня, и он глубоко отличался от окружающих его смертных. «Мне казалось, что я сижу за столом с Гамлетом, или Лиром, или Вечным жидом, — пишет современник и прибавляет: — Многие говорят: какой он актер! А между тем в конечном счете остается впечатление полнейшей искренности. Иные относятся

к нему, как к чужеземцу. «Что ему Англия и что он Англии?» Вот тут-то они и ошибаются. Быть ли вигом, или радикалом, или тори — это, по-видимому, ему действительно безразлично, но эта могущественная Венеция, эта царственная республика, над пределами которой никогда не заходит солнце, этот образ чарует его, — или я очень ошибаюсь. Англия — Израиль [обетованная страна] его воображения, и, если ему повезет, он перед смертью будет первым имперским премьер-министром».

* *
*

Вопреки всяким ожиданиям ему повезло. Приступы подагры у Дерби так участились, и он так редко мог исполнять свои обязанности, что все это привело его к мысли о необходимости уйти в отставку. Дизраэли умолял его остаться, берясь исполнять всю работу, лишь бы Дерби продолжал нести звание премьер-министра. Но Дерби ответил, что напишет королеве о своей отставке и что он надеется, что ее величество обратится к Дизраэли как к заместителю его. Сам же он, Дерби, будет продолжать и после отставки поддерживать Дизраэли всем авторитетом своего имени. «Я не могу сообщить вам этого без того, чтобы в то же время не отметить с благодарностью вашего честного и сердечного сотрудничества как в тяжелые, так и в счастливые минуты этого долгого периода».

Дизраэли тем более искренне просил своего шефа остаться, что он уже знал, что в случае отставки Дерби королева призовет его. Она сама ему об этом сказала. В день решительной отставки Дерби посланный от королевы пригласил Дизраэли в Осборн. Чародей, который сам слегка верил в свои чары, не преминул отметить, что этот посланный, генерал Грей, был не кто иной, как тот полковник Грей, который во времена его первого выступления в качестве кандидата от Уайкомба был его счастливым и косноязычным соперником. Первое поздравительное письмо было от лорда Дерби: «Вы честно и с честью достигли высшей ступени политической лестницы. Желаю Вам долго сохранить это положение».

На следующий день королева приняла Дизраэли в Осборне. Она казалась сияющей, протянула ему руку и сказала: «Можете поцеловать мою руку». Он склонил колено и с глубоким почтением поцеловал маленькую

жирную ручку. Он был глубоко счастлив. Снаружи сияло ослепительное солнце. В конце концов, стоило жить. Одним из первых членов парламента, которых он встретил, был Джеймс Клей, тот самый Клей, который, будучи молодым человеком, так беспокоил его на Мальте своими талантами в игре на бильярде.

— Ну-с, Дизраэли, — сказал Клей, — когда мы с вами сорок лет тому назад путешествовали вместе, кто подумал бы, что вы будете премьер-министром?

— Верно, Клей, как мы говорили на Востоке: Аллах велик! И теперь он более велик, чем когда-либо.

Прием, оказанный новому премьеру, был в общем благосклонен. «Торжество труда, мужества и терпения», — говорили даже противники. Когда он в качестве премьер-министра вошел в первый раз в Палату общин, кулуары были полны людьми, которые хотели его приветствовать. Джон Стюарт Милль, в это время говоривший, должен был на несколько минут прервать свою речь.

Спустя месяц Мэри Энн, жена премьер-министра, давала большой вечер в залах министерства иностранных дел, которые были ей любезно предоставлены лордом Стэнли. Погода была ужасная. Ливень и ураган бушевали на улицах Лондона. Тем не менее все приглашенные явились: вся консервативная партия, некоторые либералы, среди которых Гладстон с Женой, много друзей. Диззи во всей своей славе расхаживал по всем залам с принцессой Уэльской, принц вел под руку миссис Диззи, которая казалась очень старой и очень больной. С месяц как у нее начался рак, и она знала об этом, но не хотела говорить мужу. Это смешение славы и дряхлости придавало торжественному вечеру оттенок меланхолии. После долгой борьбы чета Дизраэли стала всем симпатична. Их как бы усыновили. Не было салона в Лондоне, где не говорили бы просто «Мэри Энн», говоря о жене премьер-министра. Дизраэли сам отдавал себе отчет в том впечатлении удивительной акробатики, которое производило его возвышение.

— Да, — отвечал он на поздравления, — я вскарабкался на верхушку скользкой мачты.

Его друг, сэр Филип Роуз, сказал ему:

— Если бы только ваша сестра была жива, и видела ваше торжество, как она была бы счастлива!

— Бедная Сара! — ответил Диззи, — бедная Сара! Да, мы потеряли многих зрителей.

Часть
третья



*Слышишь, как носится ветер?
Листья вздымаются в круче,
Летний минует вечер,
Хмуры октябрьские тучи.
Старый пригнется бук
И встрепенется снова.
Ближе идем к очагу.
Вспомним о море былого.
Ищет в волнах приключений
Ветром вздуваемый парус.
Юность полна устремлений.
Медленно движется старость.*

Гумберт Вольф
(Перев. С. Лопашева)

I

КОРОЛЕВА

Был выбран новый канцлер казначейства. Первый министр так извещал об этом королеву: «Мистер Дизраэли должен поставить в известность Ваше Величество о том, что наружность мистера Уорда Хэнта необычайна, но не неприятна. Ростом он шести локтей, но кажется очень высоким, потому что пропорционален в объеме. Как происходит обычно при посещении собора Святого Петра в Риме: с первого взгляда он не дает представления о своих настоящих размерах. Да к тому же по сообразительности, как и по своей форме, мистер Хэнт настоящий слон». Письмо, написанное верховной правительнице, изумляет своим легковесным тоном. Зато сама правительница была в восторге.

Дизраэли, который в течение своей жизни вызвал возмущение не в одном мужчине, попадал на снисходительных и терпимых женщин. Все в нем располагало к себе женщин: и его страх перед абстрактным рассуждением, и его старомодная учтивость, и незаметный цинический привкус надуманно цветистых фраз. Все это вызывало не чувственно-любовное влечение, а скорее нежность, высшую и вместе с тем покорную, какое-то смутное и сладкое братское чувство. Он любил упрямство женщин, их неведение и наивность. Женщины, как миссис Остин, нашедшая ему издателя его романа «Вивиан Грей», или сестры Шеридан, леди Корк, леди

Лондондерри — все они выводили его в свет; наконец, женщина же — Мэри Энн — добилась для него места в парламенте. В каждом клочке своих воспоминаний он мог увидеть ту или другую благодетельную головку, разделявшую его неприязни и его беспокойства. Опытным глазом взглядывал он на августейшую вдову в белом тюлевом чепце, поджидавшую его на верхней ступеньке дворцовой лестницы, и чувствовал себя легко и свободно.

Со времени смерти своего возлюбленного мужа королева жила в величественном уединении. Она поклялась чтить все повеления и все привычки Альберта. Закутанная в креп, она бродила из замка в замок, из Виндзора в Осборн, из Осборна в Бальморал. Население было недовольно ее затворничеством, и сама она страдала, чувствуя себя непопулярной. Никто ее не понимал, и никто не понимал Альберта, который раньше также страдал... Никто, исключая мистера Дизраэли. И это было удивительно: ведь сама она вспоминала о том недоверии, которое он внушал им обоим с мужем в период падения бедного сэра Роберта. Тогда еще Альберт говорил, что у этого самого Дизраэли во всей его натуре не было ни крупицы джентльменства. А между тем чем ближе к концу жизни, тем сильнее чувствовал принц Альберт порой какое-то неясное удовольствие от разговоров с лидером оппозиции. Он находил его культурным, более осведомленным в истории Англии, чем кто-либо из иных государственных деятелей, и признавал, что его поведение относительно королевского трона превосходно.

Но более всего на высоте оказался мистер Дизраэли после смерти Альберта. Никто не написал королеве такого прекрасного письма, никто лучше не говорил о принце в Палате общин. Королева решила, что он единственный человек, который действительно ценил покойного. Она поблагодарила его, прислав ему сборник речей Альберта в белом сафьяновом переплете: «Королева не может отказать себе в удовольствии лично выразить мистеру Дизраэли глубокую признательность за отзыв об ее великом, любимом и обожаемом муже. Чтение его речи заставило ее пролить немало слез, но верная оценка безупречного характера принца принесла отраду ее разбитому сердцу».

Таким образом тень Альберта много способствовала сближению, но были и другие узы, привязывавшие

королеву к министру, их интеллекты, казавшиеся разными, имели на самом деле много общего. Оба мечтали с одинаковой наивной гордостью о великой восточной империи, которой бы стали вдвоем управлять отсюда, с Северного острова: маленькая, полная и властная женщина и старый, сгорбившийся царедворец. Оба они, кроме того, отличались отсутствием какой-либо пошлости в мыслях. Правда, было немало наивности в некоторых излюбленных идеях королевы и не меньше искусственности в проектах Дизраэли. Но оба обладали и смелостью и широтой. Благодаря Дизраэли королева ощущала больше, чем когда-либо, прелесть власти. Он с такой очевидной радостью отводил ей главное место на блистательном празднике жизни! Когда он рассказывал ей об ее владениях, ей казалось, что власть ее безгранична. Работая с министром, изображавшим заседания кабинета в виде фантастических сцен и видевшим в политике всего-навсего авантюрный, слегка сентиментальный роман, королева находила в делах былую прелесть, как когда-то, при жизни Альберта. Дизраэли, зная, что развлекает ее этим, с удовольствием писал ей иронические и совершенные по форме письма. Всегда ли она их понимала? Она понимала много больше, чем обычно думали ее приближенные. Она с удовольствием забавлялась искусными фокусами, потом с присущей ей любовью к ясности твердо направляла фокусника к нужным ей действиям.

Если у первого министра возникала необходимость слегка успокоить разволновавшуюся Ирландию и для этого надо было наследному принцу попутешествовать по ней, Дизраэли писал королеве: «Господин Дизраэли берет на себя смелость указать, что в течение двух веков королевская династия провела в Ирландии всего 21 день. Его королевское высочество мог бы заняться там охотой с препятствиями. Так можно было бы совместить определенным образом выполнение общественного долга с приятным времяпрепровождением; известно, что такое совмещение приличествует жизни высоких особ». Королева одобрительно написала: «Однако при непременно условии, что расходы по этому королевскому посещению будут отнесены за счет тех властей, которые предложат принцу приехать. Чтобы поправить свое здоровье или отдохнуть, ни один человек не выбрал бы Ирландии». Часто министр отстаивал свое мнение. Когда его потом спрашивали, в чем заключался секрет

его успеха у королевы, он отвечал: «Я никогда не отказывал, я никогда не возражал, иногда я забывал». Это сказано для того, чтобы блеснуть эпиграммой. На самом деле Дизраэли часто возражал. Когда умер архиепископ Кентерберийский и королева настаивала, чтобы назначить ему преемником Тэта, епископа лондонского, господин Дизраэли привел серьезные возражения: «Об епископе лондонском существует такое мнение: не говоря уже о явной мрачности его взглядов, в его ограниченности чувствуется какой-то странный источник энтузиазма. Таким качеством не должен обладать ни архиепископ Кентерберийский, ни первый министр Англии». Королева настояла на своем. Уж она-то знала, что епископ Тэт был лишен всякого энтузиазма. Не могла ли она сказать то же самое о первом министре Англии?

Мэри Энн получила как-то из Виндзора корзину со свежими примулами в сопровождении письма от принцессы Христианы: «Мама просила меня послать Вам от ее имени эти цветы для господина Дизраэли. Маме пришлось однажды слышать от него, что он очень любит май месяц и все прелестные весенние цветы, почему она и соглашается послать ему эту корзину, которая придаст его комнате очень веселый вид». Мэри Энн ответила фразами, которые, очевидно, сочинил для нее Диззи: «Я выполнила приятный долг следовать приказаниям Ее Величества. Господин Дизраэли страстно любит цветы, а свежесть и запах присланных возросли, оттого что посланы милостивой рукой, осыпавшей нас всеми дарами весны».

Министр посылал королеве свои романы. Королева давала министру «Дневник жизни в Шотландии». С этих пор Дизраэли часто повторял: «Мы, писатели, государыня», и маленький рот его повелительницы улыбался. Каждую неделю виндзорские примулы и осборнские фиалки прибывали в Гровнор в корзинах, выстланных мхом. И деловая переписка превратилась в интересную смесь пастушеской поэзии и реалистической политики.

* *
*

В Англии все же нашелся человек, которому быстрая карьера Дизраэли и фамильярность династии с фокусничающим евреем казались невыносимым позором.

Это был Гладстон. 24 марта 1868 года в «Панче» появилась карикатура. Она изображала ложу в театре. Перед зеркалом господин Бенджамин Диззи, тощий актер-комик, одетый в костюм Гамлета, со снисходительным видом твердит: «Быть или не быть — вот в чем вопрос... Гм, да...» А в глубине ложи господин Гладстон, трагик в городском костюме, смотрит с завистью и презрением, говоря: «Ему первая роль... Ему, актеру на вторых ролях! Дирекция с ума сошла!.. Но настанет время...»

Отношения Гладстона и Дизраэли были, впрочем, сложнее, нежели простое соперничество двух пробиравших себе дорогу людей. Без сомнения, Гладстон перенес бы с покорностью и скромностью успех хотя бы, например, Стэнли. Но, как боги древности, страсти иногда действуют под чуждой им личиной, и честолюбие смущало Гладстона вместе с мыслью об оскорбленной добродетели. В течение двадцати лет, пока личность Гладстона постепенно вырастала под непрерывный рокот восхищения окружающих его лордов, Гладстон неизменно видел и растущую рядом с ним страшную и враждебную ему фигуру; никого, кроме нее, не встречая в тех высоких и опустевших от соперников сферах, куда привел Гладстона его талант, он поневоле оценивал ее, сравнивал с собой и считал себя превзойденным всеми, раз превзошел его Дизраэли. «Одной из наиболее горестных загадок для царя Давида было процветание злых. Автору легкомысленных историек о Вивиане Грее и Конингсби удавалось перехватывать скипетр из рук создателя прекрасных и серьезных произведений на тему «Ессе Ното»; ему, человеку, злословящему эпиграммами, блестящему, наглому, случалось вырывать у Гладстона, который никогда в своей жизни не унижался до эпиграмм, всегда был серьезен и скорее бы умер, чем признал, что обладает одной пядью ума больше, чем его л а к е й, — разве всего этого не было достаточно, чтобы заставить порядочного человека разодрать свои одежды, посыпать пеплом главу и сесть в прах, отдавшись безутешному горю?»

Но Гладстон не принадлежал к числу людей, которые горюют, сидя в прахе, и даже если он восклицал из псалма: «Доколе, о господи, ты покидаешь меня! Доколе враг мой будет вознесен превыше меня», то затем прибавлял, как царь Давид: «Отверзи мне очи мои, чтобы никогда не уснул я сном смерти от страха, что враг мой скажет: я одолел его».

Гладстон так неудачно скрывал свое раздражение, что вопреки всем парламентским обычаям с первой же недели власти Дизраэли стал искать повода затеять с ним ссору. Проведя избирательную реформу, Дизраэли частично выбил из рук либеральной партии ее оружие, но, по счастью, для дальнейших реформ оставалось сколько угодно объектов. Можно было провести реформу в Палате лордов, в церкви, в королевских делах, в армии, в воспитании. Гладстон был готов реформировать солнечную систему, лишь бы не допустить Дизраэли наслаждаться несправедливым счастьем. Но, обладая очень здравым чутьем в области реальной политики, Гладстон избрал арену своих действий именно церковь, и главным образом церковь ирландскую. То, что католическая Ирландия поддерживала церковь протестантского государства, противоречило, само собой разумеется, свободе религии. В это время в Ирландии царило глубокое возбуждение. Преступления и убийства совершались там сотнями, а наказать преступников являлось делом невозможным, так как весь остров в целом был их сообщником. Гладстон стал поддерживать в парламенте мнение, что, отделив в Ирландии церковь от государства, «разгосударствив» протестантскую церковь в Ирландии, этим самым можно уничтожить одну из причин, и вероятно главную, существующего недовольства.

И Дизраэли понял, что его соперник решил победить на выборах, играя на вопросах религии.

В мировоззрении Дизраэли этот пункт не являлся самым сильным местом. Был ли он верующим? Он не мог, подобно Гладстону, страстно увлекаться теологическими противоречиями. Дизраэли думал, что человеческие умы затопляются периодически потоками экклезиастических идей, но что эти бури не страшны: стоит волнам схлынуть, как опять можно видеть тот же ковчег, неподвижно стоящий на вершине горы. Этот ковчег — откровение семитическое и христианское. Библия, дополненная Евангелием, в этом и есть вся тайна религии. Дизраэли верил от всего сердца, что мир — божественного происхождения; он не мог думать о жизни, и в особенности о своей, иначе как о чуде; его раздражали биологические науки, из которых настал благодаря Дарвину и Гексли такой пышный расцвет и которые пытались превратить чудеса в формулы. Дизраэли не считался с этими науками, и его презре-

ние к ним не уступало его невежеству. За несколько лет до этого он, произнося в Оксфорде одну из своих знаменитых речей, защищал Евангелие против новаторов: «Милостивые государи, человек — это существо, рожденное, чтобы верить. И если какая-нибудь церковь не возьмет на себя роли его руководителя и не преподнесет ему своих наставлений в виде истины, опирающейся на освященные веками традиции и на убеждения несметного числа поколений, человек обретет себе идолов и храмы в своем собственном сердце и воображении... Говорят, что научные открытия не совпадают теперь с откровениями церкви... Так ведь вопрос вот в чем: кто человек — обезьяна или ангел? Милостивые государи, я на стороне ангелов». Взрыв смеха потряс здание. На самом деле, разве Дизраэли был похож на ангела? Вся Англия держалась за бока от хохота. «Панч» не упустил удобного случая. В нем появилась карикатура: Диззи с ярко выраженными еврейскими чертами, в белых одеждах, с большими крыльями. А тем не менее Дизраэли никогда не был столь серьезен. Он считал, что человек нечто большее, чем машина, и что помимо материи, подчиненной физическим и химическим законам, существует еще некая субстанция, которая может быть названа душой, божеством, гениальностью, — словом та, из которой делают ангелов. Что касается сущности той или другой религии, возможно, что Дизраэли вовсе об этом не думал. Но все-таки он придерживался определенного образа мыслей на этот счет.

Первой мыслью была необходимость официально установить ради спокойствия граждан и государства определенную религиозную догму. Дизраэли абсолютно не верил каким-либо этическим или эстетическим псевдорелигиям. «Все религии, поклоняющиеся Красоте, кончаются оргиями», — говорил он. Аббату Стэнли, стороннику церкви неограниченной, то есть, говоря проще, свободного понимания церковных текстов, он однажды иронически сказал: «Не будет догм, не будет и аббатов, господин аббат». Дизраэли с юных лет восхищался незыблемостью римской церкви. И, если не считать Рима, только англиканская церковь представлялась ему единственным средством избежать брожения умов в стране.

Вторая мысль заключалась в необходимости связи между правительством и церковью. С этой точки зре-

ния положение в Англии складывалось, по мнению Дизраэли, исключительно счастливо. Король являлся одновременно и князем церкви, куда он сам назначал служителей. Таким образом церковь, далекая от того, чтобы стать государством в государстве, *Imperium in imperio*, укрепляет авторитет государства. Эта связь такого рода, какую не следовало рвать; возможно, что отделение церкви от государства могло быть и правильным мероприятием, но Дизраэли считал его очень опасным шагом и нарушением конституции. Итак, он приготавлился к ведению избирательной борьбы на почве, облюбованной Гладстоном. В этой борьбе звучало парадоксом, что самым мощным защитником церкви против самого неожиданного в этом деле противника, Гладстона, являлся Дизраэли.

II ГОРЕ

Хотя Гладстон достиг почтенного возраста (ему было шестьдесят лет), но исключительная сила его темперамента требовала по меньшей мере гигантской работы. Ожидая в своем имении в Говардене результатов выборов, он иногда совершал прогулки, проходя за день по тридцать три мили, и все-таки, вернувшись вечером, еще жаждал деятельности; очень часто он занимался рубкой деревьев. Это было его излюбленным удовольствием; он ожесточенно набрасывался на внушительные стволы, словно на те старозаветные предрассудки, с которыми он боролся. 1 декабря 1868 года он, засучив рукава, только что собрался приняться за работу дровосека, как ему вручили телеграмму. Королева сообщила о выезде к нему генерала Грея. Гладстон сказал одному из своих приятелей: «Очень знаменательно...» — и продолжал свою работу. Через несколько минут удары топора прекратились, и Гладстон с глубокой торжественностью произнес: «Моя миссия — умиротворение Ирландии». А в своем дневнике он записал: «Я чувствую, что всемогущий поддерживает меня и избирает для какого-то великого дела, хотя я знаю, что я недостойн его. Да прославится имя его».

Таким образом, поддерживаемый небесными силами и опираясь на серьезное большинство в Палате, Гладстон, могучий телом и сильный духом, чувствовал себя непобедимым. Под ударами его законодательной секиры

в лесу должны были упасть наиболее ветхие дубы, но зато воздух и свет смогут проникнуть свободнее к молодняку на просеках.

«Говарден, 13 января. Подготовил план моих мероприятий в отношении ирландской церкви. Работал над Гомером. Срубил тополь. — 15 января. Срубил ясень. Беседа с вице-королем о церкви в Ирландии. Работал над Гомером всю ночь».

Иногда Гладстон отмечал бурные, как море, дни. А в это самое время Дизраэли, страдая от ревматизма и астмы, грелся на солнце на террасе в Хэггендэне, наблюдал птиц, любовался цветами и размышлял над своим вновь задуманным романом.

Когда Дизраэли узнал о результатах выборов и о своем поражении, первое, что пришло ему в голову, это уйти от политической жизни вовсе. По традициям того времени он мог, получив звание пэра, найти почетный приют в Палате лордов. После долгих размышлений он счел неудобным покинуть партию, понесшую поражение, и оставить в Палате общин пост лидера оппозиции. Когда королева пожелала узнать, какой он хотел бы награды, он попросил, чтобы Мэри Энн получила титул, подобающий жене пэра, а он сам остался бы по-прежнему просто Дизраэли. После того как королева очень мило одобрила этот проект, Дизраэли выбрал для своей жены фамилию Биконсфилд, по имени маленького городка в Бэкингемском графстве. Дизраэли знал, что великий Бёрк, если бы он жил дольше, пожелал бы сам стать лордом Биконсфилдом; Дизраэли в романе «Вириан Грей» создал тип лорда, назвав его этим именем. Дизраэли всегда любил переносить действие своих романов в жизнь. Мэри Энн стала виконтессой Биконсфилд, а Диззи так и остался Диззи.

* *
*

Те из друзей Дизраэли, которые ожидали блестящих атак с его стороны против министерства либералов, обманулись в своих расчетах. Они думали, что нахождение у власти соперника Дизраэли вдохновит их лидера и он превзойдет самого себя, но никогда Дизраэли не был более спокоен, бездеятелен и апатичен. Его речь по вопросу об ирландской церкви, речь грациозная и поверхностная, походила «на тюлевую, покрытую блестками юбочку Коломбины». Консервативная пар-

тия, удивленная поступками Дизраэли, спрашивала себя, о чем думал человек-загадка, произнося такую речь. Может, с него было довольно единственный раз вкусить от полноты власти? Собирался ли он во время боя покинуть свои войска? Но за непроницаемой и грустной маской, забавляясь происходящим, бодрствовал живой ум. Вести борьбу против полного сил большинства, против этого превосходного боевого коня с пышущими огнем ноздрями, каким был Гладстон? Безумие! Дизраэли хорошо знал их, эти большинства. Опытный берейтор отпускает повод у молодой лошади всегда подлиннее. Благодаря этому она только скорее покоряется ему. У Гладстона много сил. Ну и пусть себе их расходует. Пускай попробует умиротворить Ирландию законодательными мерами. На Ирландии ломали себе шею и не такие умники! Пусть его секира опустится в гущу финансов, воспитания, армии. Он встретит сопротивление, станет вялым, лезвие притупится. Тогда-то наступит время свергнуть божество, уже пошатнувшееся на своем пьедестале; а пока — терпение, терпение... Пусть наше спокойствие поражает, как приятный контраст по сравнению с этой суетливостью.

Драматический эффект от столкновения этих двух противоположных характеров был так велик, что даже самим действующим лицам он, казалось, доставлял удовольствие. Иногда комедия, разыгрываемая в парламенте, доходила до фарса. Однажды Гладстон, поднявшись во весь рост, изумительный, мечущий молнии, осыпал с министерской скамьи соперника громовыми и дерзкими эпитетами. Каждый из них заставлял Дизраэли все ниже и ниже опускать голову. Когда его подбородок коснулся груди, спина его начала сгибаться. Он был, казалось, буквально раздавлен бьющим по нему, как молот, голосом Гладстона. Наконец Гладстон закончил речь таким сильным ударом кулака по большому столу, разделявшему соперников, что перья и бумага в беспорядке полетели на пол. Он сел. Безмолвная и затихшая Палата усомнилась на мгновение в том, что Диззи сможет встать и оправдаться. Вдруг увидели, что это почти упавшее тело медленно оживает: сначала поднялась голова, потом выпрямилась грудь. Наконец Дизраэли встал и сказал так тихо, что его едва было слышно: «Многоуважаемый джентльмен говорил с большой страстью, красноречием и — гм! — даже с буйством... (Пауза... длинная пауза.) Но ущерб может быть возме-

щен». Дизраэли с трудом наклонился, поднял один за другим все предметы, разбросанные грозным Гладстоном, поставил их педантично на обычное место на священном столе, с удовольствием посмотрел на восстановленный порядок и начал возражать самым звучным голосом. Это маленькое драматическое выступление, бывшее очень символичным, имело заслуженный успех.

Но подобные сцены повторялись редко. Было ясно, что в настоящий момент Дизраэли не собирался свергать Гладстона. Его эпиграммы носили характер любезностей. Однажды, когда Гладстон запнулся среди фразы, он подсказал с готовностью: «Ваше последнее слово? Революция!» Когда одна из дочерей соперника спросила, встретившись с Дизраэли у кого-то на обеде, что представляет собой один иностранный министр, он ответил: «Это самый опасный человек в Европе, кроме меня, если верить вашему отцу, и кроме вашего отца, если верить мне».

Ум Дизраэли был настолько не занят, что он еще раз перешел от действия к творчеству и работал над романом «Лотар».

Лотар был молодым благородным англичанином, наследником состояния во вкусе Дизраэли, то есть неисчислимого.

За влияние на Лотара боролись три силы, воплощенные в трех женщинах: они изображали римскую церковь, интернациональную революцию и британскую традицию. Победу одерживала, конечно, поборница английской церкви, леди Коризанда. Сюжет был опасен, исполнение изумительное. Типы римских прелатов, революционеров, английских политических деятелей были нарисованы с изумительной отчетливостью. Книга имела очень большой успех. Никогда еще английские книгопродавцы не предлагали романа, написанного бывшим премьером. В гостиных говорили только о Лотаре. Лошадям, детям, духам давали название Лотара и Коризанды. Эта мания перекинулась даже в Америку. Один только парламент был враждебно настроен. Партия консерваторов почувствовала острый стыд за то, что вождем у нее был романист, да еще к тому же умный.

* *
*

Между тем Мэри Энн была очень больна. У нее с 1866 года образовался рак желудка; она знала это

и старалась скрыть от Диззи; он, думая, что она ни о чем не подозревает, делал вид, что смотрит легко на ее болезнь. Она мужественно продолжала вести светскую жизнь. В 1872 году молодой французский дипломат увидел в одной из гостиных странное существо, разукрашенное, как индийская пагода, которое он принял за старого раджу. Это была Мэри Энн, а сзади нее стоял Диззи, нарумяненный, похожий на труп, со своим последним крашеным локоном, прильнувшем к плешивому лбу. На груди у Мэри Энн, напоминая икону, висел огромный медальон с портретом мужа. Ей исполнилось восемьдесят лет, ему шестьдесят восемь. Пара была смешной и трогательной.

Им становилось трудно заботиться друг о друге. Иногда, оба больные, они переписывались, лежа в разных комнатах.

Диззи к миссис Диззи: «Я должен лежать на спине; простите, что пишу карандашом. Вы только что прислали мне самое забавное, самое очаровательное письмо, которое я когда-либо получал; Вы превосходите Ораса Уолпола и госпожу де Севинье. Гровнор-гейт превратился в госпиталь, но госпиталь с Вами лучше, чем дворец с другой. Ваш Диззи».

Она рассказывала друзьям: «Благодаря его вниманию моя жизнь была длинной вереницей счастливых дней». Он говорил в свою очередь: «Мы были женаты тридцать лет, я ни разу не соскучился с ней». Мэри Энн почти ничего уже не могла есть. Однажды на вечеру у друзей у нее сделался такой приступ боли, что она была не в состоянии ее скрыть, и ей пришлось навсегда отказаться от выездов. Муж принужден был иногда покидать ее, но он никогда не уходил, хотя бы и не надолго, чтобы не послать ей бесчисленных записочек.

Диззи к миссис Диззи: «Мне нечего сказать Вам, кроме того, что я Вас люблю, но боюсь, что Вы найдете это немного банальным».

Миссис Диззи к Диззи: «Мой дорогой, Вас мучительно недостает, я так благодарна Вам за постоянную доброту и нежность».

Так как она боялась, что не вынесет путешествия, они вместе провели лето в Лондоне. Катались в экипаже, осматривали незнакомые части города и старались забыть, что парк, раскинутый у них под окнами, назывался Гайд-парк. Потом, так как ей становилось все хуже, она заставила себя поверить тому, что Хэггендэн

был ей полезен. Но ничто не могло ее исцелить: желудок отказывался принимать какую бы то ни было пищу. Хотя она буквально умирала от голода, она еще принимала кое-каких друзей, делала это очень приветливо и прогуливалась с ними в маленькой колясочке, запряженной старым пони. Как только она на минутку выходила из комнаты, Дизраэли начинал говорить о страданиях жены. Посетители в первый раз увидели это лицо, всегда такое бесстрастное, искаженным волнением и горем. Когда стало очевидно, что ей не выжить, он вызвал телеграммой Монтэгу Корри, так как чувствовал, что не в силах один перенести катастрофу. Она умерла 15 декабря 1872 года. Вот письмо, которое нашли в ее бумагах:

«Мой дорогой муж, если я умру раньше Вас, прикажите, чтобы нас похоронили в одной могиле... А теперь да благословит Вас бог, мой добрый, мой милый... Вы мне были идеальнейшим мужем. Прощайте, дорогой Диззи, не оставайтесь один, любимый. Я надеюсь от всего сердца, что Вы найдете кого-нибудь, кто будет вам так же предан, как Ваша Мэри Энн».

* *
*

Даже самые равнодушные люди, и, быть может, самые жесткие, чувствуют величие подлинной скорби. Все живо сочувствовали Дизраэли. Гладстон, забыв политическую вражду, написал растроганное письмо: «Мы женились, мне кажется, в одном году: нам выпала на долю удача целых полвека наслаждаться бесценнейшим счастьем.

Хотя мне и не пришлось перенести того удара, который постиг Вас, я все же могу понять, чем была для Вас эта смерть, что она для Вас сейчас...» Кроме того, он заверял, что в этот час испытаний он глубоко страдает за него и с ним. Он был искренен, и, без сомнения, на минуту каждый из двух соперников показал себя другому таким, каким он был на самом деле, а не искаженным страстью борьбы. Так бывает иногда с сумасшедшим, который приходит в себя на несколько минут и забывает о безумном бреде. Потом опять окружающие линии кривятся, лица превращаются в гримасы и ухаживающий за больным кажется чудовищем.

При жизни Мэри Энн справедливо гордилась тем, что избавляла Диззи от всех мелочных забот, способ-

ных изнурять ум мужчины. Со дня его женитьбы дом, слуги — все превратилось для него в удобные машины, и о них совсем не надо было думать. «Не было заботы, которой она не смогла бы смягчить, затруднения, которое бы она мужественно не перенесла. Я никогда не знал женщины, более внимательной и умевшей лучше ободрить и поддержать». Мэри Энн умерла и больше не могла ничем помочь своему великому мужу. Она имела право пользоваться своим состоянием только пожизненно, даже дом переходил к ее наследникам. Диззи должен был выехать оттуда и ютиться в отеле. Лишиться Гровнор-гейт, где он провел тридцать три счастливых года своей жизни, — это значило вторично лишиться Мэри Энн. Это был дом, где она ждала ночь за ночью его возвращения из Палаты общин, всегда освещенный дом, огоньки которого светили ему сквозь туман, когда он шел к себе после трудного заседания! Это был очаг, полный тепла и уюта, где душа и тело отдыхали, где критика звучала, как похвала, а недовольство казалось лаской. Ему, без сомнения, уже никогда не суждено вкушать сладость настоящего очага! Одиночество гостиниц, самое ужасное из всех, нелепая мебель, тоскливые обеды, незнакомые соседи — вот какова будет отныне его жизнь в Лондоне. Когда он говорил кучеру «Домой», он вдруг вспоминал, что у него нет дома, и слезы выступали у него на глазах. Без секретаря Монтэгю Корри, который ходил за ним, как сын, без таких друзей, как Маннерсы и Ротшильды, обласкавшие его, он стал бы обломком крушения. Но дружба, как бы она ни была деликатна, не может заменить нежности женщины. В тишине одинокой комнаты отеля он ловил ускользящее воспоминание ее веселого голоса.



Его политические друзья боялись, как бы горе не стало для него предлогом для того, чтобы окончательно выйти в отставку. Но случилось наоборот. Не находя в себе ничего, кроме мрачных мыслей, он стал стремиться к деятельности и, чтобы забыться, опять бросился в борьбу.

Момент был как раз благоприятен. Тактика выжидания имела хорошие результаты. Дизраэли когда-то отпустил повод Гладстону; Гладстон начал действовать в тысяче направлений; оставалось только воспользоваться ошибками, неизбежно протекающими из каждой

активности. «Моя миссия — умиротворить Ирландию», — сказал когда-то говарденский дровосек, опершись на свою крепкую секиру. Чтобы выполнить эту задачу, он уничтожил в Ирландии протестантскую церковь и провел целый ряд законов, защищавших фермеров и крупных землевладельцев. Но Ирландия была умиротворена меньше, чем когда-либо. Люди в массах бросались бить палками чиновников, закалывали полисменов кинжалами, дома взлетали на воздух. «Миротворец» долго переносил все эти бесчинства, потом, придя в отчаяние, обратился к помощи войск. «Вспомни на ю, — саркастически заметил Дизраэли, — что один из министров Ее Величества говорил, если не ошибаюсь, в прошлом году: «Всякий сможет управлять Ирландией при помощи войск и пушек». Действительно всякий, и даже этот глубокоуважаемый джентльмен».

В иностранной политике Гладстон взял на себя арбитраж во всех вопросах, в которых была замешана Англия. Но, оказалось, арбитраж был всегда не в его пользу. Самолюбие народа было задето. В одном из комических театров изображали Гладстона принимавшим китайское посольство, которое просило у него уступить Шотландию. Первый министр размышлял, потом решил, что у него есть три выхода: тотчас же уступить Шотландию, выждать и потом уступить или, наконец, прибегнуть к посреднику. Публика нашла шарж очень верным. Королева была на стороне публики. Она никак не могла привыкнуть к Гладстону. Ее пугала его манера ругать все, как деревья, направо и налево. Она предпочитала, чтобы лес стоял на месте. У королевы был простой и прямой ум, и она не понимала изгибов этого сложного интеллекта. Она тщетно перечитывала представляемые им проекты законов, а когда он прилагал к ним объяснительные записки, то они казались ей еще более смутными, чем проекты. После Дизраэли, всегда такого понятного и говорившего ей: «Прежде всего надо выполнить волю Вашего Величества», она не могла выносить жесткого шотландца, который с бесконечным почтением отказывал ей во всем, чего ей хотелось. Королева заботилась о престиже Англии и считала, что Гладстон ему вредит. Она была протестанткой, а Гладстон разгонял ирландских протестантов. Она слишком уважала конституцию, чтобы противиться постановлениям парламента, но она желала от всего сердца падения министерства Гладстона.

Начиная с 1873 года стало ясно, что ей недолго ждать. Все предварительные выборы были в пользу консерваторов. Дизраэли тщательно подготавливал избирательную кампанию. Уже задолго до нее каждый избирательный округ наметил в кандидаты консерватора. В Уайтхолле было учреждено нечто вроде центрального бюро консервативной партии, где постоянный директор и главари партии вели запись всех избирательных округов, уже представивших кандидатов или собиравшихся их представить. В каждом городе должна была быть организована ассоциация консерваторов, в которой были бы представлены все классы общества. В особенности стремились привлечь рабочих. Дизраэли сам следил за тем, чтобы эта работа всюду выполнялась. Но, сдерживая нетерпение своих сторонников, он не хотел брать власть в свои руки прежде, чем энергия Гладстона не истощится окончательно в новых неудачах. Опыт показал ему непрочность министерств, не поддержанных сильным большинством. К тому же налицо были все симптомы приближавшегося конца. В речи, произнесенной Дизраэли в Манчестере, он описал агонию умирающего министерства: «Это ненормальное возбуждение, достигнув своего пароксизма, окончилось прострацией. Некоторые пришли в уныние, а знаменитый вождь колебался между угрозами и вздохами. Я сидел в парламенте против их скамьи, и мне все время казалось, что я вижу один из приморских пейзажей, которые часто встречаются на берегах Южной Америки. Перед вами ряд потухших вулканов. Пламя ни на минуту не вспыхнет над этими безжизненными хребтами. Но они еще опасны; земля от времени до времени дрожит и слышен глухой рев моря».

III

В ОБЩЕСТВЕ БАБУШЕК

Несмотря на постоянный успех в политической жизни, зима в этом году после смерти Мэри Энн прошла ужасающе печально. Диззи не только потерял самое любимое в мире существо, но у него осталась безмерная жажда нежности, которую нечем было удовлетворить. Одной только Мэри Энн поведал Сфинкс свою скрытую от всех тайну: это была робость. Робость зародилась у Дизраэли в детстве, во время преследований в школе; она усиливалась (хотя и прикрытая маской наружной

дерзости) от враждебности лордов, смягчилась в зрелом возрасте нежнейшей дружбой и наконец совсем пропала от уверенности, которую дает власть; но природная робость успела изменить характер Дизраэли и наложила отпечаток на все его черты. В частности она мешала ему находить подлинную радость в обществе людей. Чтобы чувствовать себя равным, он должен был над ними властвовать. Каждый англичанин, оставшись один, стремился бы проводить свободное время в клубе. Но он ненавидел этот обычай. «Много есть в жизни отвратительного, — говорил он, — но хуже всего обед в обществе мужчин».

Когда-то он написал Мэри Энн: «Мне нужно, чтобы моя жизнь была вся любовь». С тех пор его возраст увеличился вдвое, но потребность в любви была все та же. «Я хочу или абсолютного одиночества, или абсолютной симпатии», — писал он теперь. Естественное стремление раненого сердца!

Несколько месяцев подряд он бывал только у очень близких друзей и проводил все свободное от парламентских заседаний время в Хэгендэне, где занимался разборкой бумаг покойной жены; он бывал тронут до слез, находя обрывок бумаги, где ее рукой было нацарапано несколько слов, он чувствовал себя таким одиноким, что сколько-нибудь нежное письмо было для него, как парус для выброшенного крушением на необитаемый остров. Все корреспондентки покойной тоже умерли, и с ними очарование и радость тысячи мелочей, ценных только тогда, когда ими можно с кем-нибудь поделиться, и которые одни только могут скрасить долгую комедию жизни. Весной, придя к кому-то, он случайно встретился с друзьями своей юности, с двумя сестрами — леди Честерфилд и леди Блэдфорд. Анне, графине Честерфилд, было семьдесят лет, Селине, графине Блэдфорд, пятьдесят пять, и обе они были бабушками. Дизраэли вспомнил с ними детство, когда они были его соседками (они жили в то время недалеко от Брэденхэма), поговорил о блестящем костюмированном вечере, где леди Честерфилд появилась одетая султаншей, ее сестра, красавица миссис Ансон, была греческой рабыней с распущенными волосами, а леди Лондондерри — Клеопатрой, увешанной рубинами. Миссис Ансон уже не было в живых, Фанни Лондондерри также умерла, но леди Честерфилд и леди Блэдфорд все еще были довольно привлекательны.

Встреча обрадовала их; было взаимно обещано писать и видаться. Когда наступило лето, Дизраэли получил приглашение на несколько дней к одной из сестер, потом к другой, а уже зимой он жил «только ради восхитительного общества двух самых любимых мною особ».

Сестры не походили друг на друга. Леди Честерфилд, более пожилая, была спокойнее и нежнее, леди Блэдфорд кокетливее. Леди Честерфилд прочла все романы Дизраэли, леди Блэдфорд начинала их читать, зевала и перепутывала всех героев. Леди Честерфилд, обладавшая ровным характером, была лучшим другом, но леди Блэдфорд, более причудливая и менее верная, возбуждала более нежные чувства. Дизраэли писал им обеим более чем дружеские письма. Семидесятилетняя вдова, леди Честерфилд, только улыбалась; леди Блэдфорд, имевшая идеального мужа и дочерей невест, сердилась и несколько раз грозила прекратить переписку, если она будет вестись в таком пламенном тоне. Дизраэли вообще никогда не выносил разлуки, хотя бы на несколько дней, с теми, кого любил; чтобы закрепить за собой навсегда общество двух сестер, он предложил леди Честерфилд жениться на ней. Она отказала ему, во-первых, потому, что брак в ее возрасте был бы смешон, а главным образом потому, что Дизраэли был влюблен в ее сестру. Она стала поверенной и другом.

Лидер оппозиции находил каждый день время для записочки то к одной, то к другой из несравненных сестер: «Самая соблазнительная из женщин никогда не была так восхитительна, как сегодня. Я мог бы сидеть там всегда, любуясь ее движениями, из которых каждое — воплощенная грация, и слушать ее блестящую беседу... Но, увы! Порою ужасная мысль мелькала в моей голове: это свидание, думал я, может быть, прощальное свидание. Неужели вечно придется расставаться? Я убежден, что самое большое несчастье — это иметь сердце, которое не хочет стареть».

Достигший власти старик, измученный заботами и несший на себе ответственность за целую страну, чувствовал себя так, как будто он все еще прежний молодой человек. Может быть, стариком он был даже более склонен к романтике. В сердце молодого человека честолюбие когда-то боролось с любовью: «Я достаточно жил и знаю, что сумерки любви по-своему ослепительны и богаты. И, быть может, старики обладают даже боль-

шей жадностью к счастью». Он был ослеплен тем, что ему еще желанно чье-то присутствие, что для него радость видеть, как дышит женщина, сознавал всю сладость дней, проведенных с нею, помнил, что вообще уже дней осталось немного, и не мог себе представить разлуку с любимой. «Видеть Вас или хотя бы получать Ваши письма абсолютно необходимо для того, чтобы я был жив... Видеть Вас в обществе — радость, но радость совсем другая, чем видеть Вас одну. Оба рода удовлетворения чарующи, каждый по-своему, как сияние луны и блеск солнца». Он охотно стал бы ее посещать, но леди Блэдфорд была занята и положила предел. «Три раза в неделю? Как мало!» Где-то устроили бал-маскарад, и старый министр захотел пойти туда, нарядившись в домино. Когда он попросил Селину приколоть на грудь цветок, чтобы он смог ее узнать, она холодно посоветовала ему не ходить на бал. Он немного надулся и пожаловался своей ненаглядной леди Честерфилд. Она передала сестре, что он несчастен, и он получил письмецо немного помягче, «которое он прижал к губам». Так заигрывал этот старый Альцест с очаровательной и перезрелой Селименой.

Но он совсем не забыл о Мэри Энн. Всю свою жизнь после ее смерти он писал письма, и даже любовные письма, на траурной бумаге с черной каймой, и это не было фальшью. Леди Блэдфорд, случайно получив один раз письмо на простой белой бумаге, написала ему, что рада этому. «Вы говорите, что были довольны тем, что я пишу на белой бумаге. Да, странно это... Мне всегда казалось, что, не желая снимать траура, королева поддавалась какому-то болезненному чувству, а теперь я сам поступаю, как она, и так буду, вероятно, поступать».

Он кончал разбирать бумаги, оставшиеся в Хэгендэне, на каждом шагу он встречал тысячи воспоминаний о заботливой привязанности жены.

* *
*

Наконец Гладстон назначил выборы. Общественное настроение было таково, что Дизраэли рассчитывал на разделение голосов и, может быть, даже на победу консерваторов. В период выборов он каждый день писал леди Блэдфорд. Вскоре он смог сообщить ей, что его партия выиграла сначала десять мест в парламенте,

потом двадцать, потом сорок, и, наконец, что Гладстон окончательно провалился. Консерваторы получили на пятьдесят голосов больше, чем все партии в целом, и на сто больше партии либералов. Наконец было доказано, что весь народ, как Дизраэли всегда и думал, может при выборах стать на сторону консерваторов. Все старые противники партии забыли прежнее недоброжелательство. Клуб «Карлтон» наполнился возбужденной толпой, которая требовала к себе вождя, подобно своре собак, зовущей лаем егеря в первый же день оттепели.

Гладстон решил подать в отставку, не дожидаясь созыва парламента, и объявил, что он не останется лидером партии. Он хотел быть простым депутатом и не собирался регулярно посещать заседаний. Ему исполнилось шестьдесят пять лет; это был тот возраст, задолго до которого все общественные деятели этого времени заканчивали свою политическую жизнь. Он хотел только одного — погрузиться в религию и приготовиться к смерти. Своим решением он поделился с королевой. Ее Величество согласилась с ним охотно, и только для приличия вежливо, и опять призвала Дизраэли. Одной из первых забот нового министра было обеспечить своей дорогой Селине влиятельное положение во дворце королевы.

Когда опять собрался парламент, Дизраэли сказал несколько слов, выразивших симпатию к Гладстону. Последний сознавал, насколько великодушен был этот поступок. Дизраэли умел брать выигрыш так же, как умел его терять. И все-таки каждый раз, когда он думал об этом человеке, Гладстона охватывало негодование и в нем закипал гнев — «неутолимый гнев Ахилла».

IV

ВОЖДЬ

«Вождь!» Вот как отныне консерваторы называют Дизраэли, и это слово прекрасно выражает перемену в его судьбе. Гениальный авантюрист, чей авторитет более или менее признавался одними и оспаривался другими, кого называли то нежно, то презрительно «Диззи», — этот авантюрист стал предметом уважения. Помог этому и возраст. Старость — вообще достоинство для политического деятеля, в Англии же особенно.

Ни один народ не восхищается так красотой, наложенной на все временем: англичане любят старых государственных деятелей, истрепанных и отшлифованных борьбой, как любят старую кожу и старое дерево. Консерваторы не всегда хорошо разбирались в политике своего вождя, но он привел их к самым блестящим победам, когда-либо выпадавшим на долю любой партии. Его ворожба, не всегда понятная, была все-таки сильна.

За исключением нескольких стариков, почти все члены партии помнили его как вождя консерваторов, то совместно с лордом Дерби, то одного. Многие связывали с его именем какой-то намек на тайну Востока, но не пугались этого. Как прекрасные ворота арабской архитектуры, перенесенные по одному камню колонистом, снова высятся на аккуратной подстриженной лужайке, одеваются в плющ и ползучие розы, постепенно приобретая чисто английскую прелесть, и, не внося диссонанса, вливаются в общую гармонию листвы, так и старик Дизраэли, усвоивший все достоинства, недостатки и предрассудки британской нации, стал естественным украшением парламента и общества, и если внимательный прохожий мог иногда различить под темной листвой немного странный изгиб арки или причудливую линию арабесков, то эта легкая дисгармония прибавляла только лишнюю красоту благородной развалины, сообщая ей едва уловимый оттенок поэзии и мощи.

С этого времени со стороны партии, кроме уважения, начинает проглядывать настоящая любовь. Открытых врагов мало. Почти все признают благородство и доброту вождя. Даже противники знают, что, если он умеет жестоко покарать врага, равного ему по силе, он всегда щадит более слабого оратора. Пример с Пилем и Гладстоном показал, что он никогда не бьет лежачего. Во время своего короткого пребывания у власти в 1868 году он установил пенсию детям Лича, карикатуриста из журнала «Панч», безжалостно преследовавшего Дизраэли в течение тридцати лет. Теперь, в 1874 году, его первым делом было предложить самое лучшее положение Карлейлю, который когда-то спрашивал: «Долго ли еще Джон Буль позволит этой нелепой обезьяне танцевать на своем животе?» Когда кто-то из более злопамятных единомышленников удивился его доброте, Дизраэли сказал: «Я никогда не забочусь о мести, но, если меня кто-нибудь обидит, я пишу его имя на клочке

бумаги и запираю в ящик стола. Поразительно, с какой быстротой забываются эти этикетки с именами».

Опираясь на сильное большинство, поддержанный королевой, которая с нескрываемой радостью встретила его возвращение на пост министра, он достиг того, о чем мечтал всю жизнь, — достиг власти. Забылись все раны, нанесенные ему в молодости. Он говорит леди Дороти Невилл, прежней поверенной всех его горестей: «Теперь все хорошо. Я чувствую, что мое положение прочно». Уверенность в победе освобождает его от постоянной напряженности. Никогда еще он не был настолько самим собой. А главное, он знает, что теперь его примут таким, какой он есть. Он даст себе волю. Ум его не так черств и менее саркастичен. Он не так скрытен во всем, что относится к его грустной юности. Он рассказывает другим свое прошлое, которое он теперь искупил настоящим. Гуляя с леди Дерби под буками и показывая ей Брэденхэм, он говорит внезапно: «Здесь я провел несчастнейшую молодость». — «Почему несчастнейшую? Наверное, вы были здесь счастливы!» — «Нет, не был. Меня глодало невыносимое честолюбие, и не было никакой возможности его удовлетворить». Нет больше оснований для снобизма. Когда какой-то герцог старается его смутить, он говорит: «Что мне герцоги? Я сам их делаю». И это правда. Далеко то время, когда Исаак д'Израэли спрашивал: «А откуда ты, Бен, знаешь герцогов?»

Принцесса королевской крови для него просто молодая женщина, для которой он не желает встать пораньше. Королева — нечто привычное, свое, старый друг, немного требовательный, но любимый. Да, на этот раз он дошел до вершины. Больше он не испытывает беспокойной потребности идти все выше и выше, обгонять других. Наконец-то он должен быть счастлив.

Но другу, приносящему ему поздравление, он говорит: «Видите ли, все это опоздало на двадцать лет. Дайте мне ваше здоровье и ваш возраст». Кто-то слышит, как он шепчет: «Власть! Она слишком поздно пришла. Было время, когда, просыпаясь по утрам, я чувствовал себя в силах свергать государства и династии, но это время прошло». Он всегда был таким страстным поклонником юности — и растратил свою только потому, что ему пришлось начинать слишком издалека; понадобилось сорок лет, чтобы достичь того места, откуда отправлялись Пиль, Гладстон и Маннерс. Не-

счастьем было его происхождение, несчастьем самым тяжелым, потому что оно было несправедливо. А теперь «все пришло, но поздно». Он едва только стал министром, а тело его уже трещит по всем швам: у него приступ подагры, и приходится отправляться в парламент в домашних туфлях, у него астма, и его утомляет публичная речь. И никого нет возле, кроме верного Монтэгу Корри, поухаживать, когда он болен. Славе только одна цена: ее можно положить к ногам тех, кого любишь. А что делать с этой славой, совершенно ненужной? «Может быть и даже вероятно, я должен быть счастлив, но скажу вам всю правду... Я утомлен до изнеможения, я глубоко несчастлив... Не думаю, чтобы в мире было существо несчастнее меня. Успех, состояние, слава, даже власть могут увеличить уже существующее счастье, но никогда не создадут его. Счастье только в привязанности. Я одинок, и у меня нет никакой поддержки, кроме нескольких слов, выражающих симпатию на бумаге, да и то скупую. Это — ужасное существование, почти невыносимое».

Какую реальную радость может дать власть? — спрашивает себя Дизраэли. Только одну: обилие дел, дающих возможность забыться. Но зато сколько неприятностей: стоит куда-нибудь поехать, на каждой станции восторженная толпа кричит: «Вот он!» — и мальчики бегут позади, с разинутым ртом толпятся перед купе, девушки просят дать автограф, музыканты встречают у дверей отеля... Дизраэли не был создан для такой популярности. Однажды, когда он в ожидании в Суиндоне поезда медленно шагал по платформе, к нему подошел какой-то путешествующий коммерсант, сердечный и грубоватый. «Я всегда голосовал за вас, мистер Дизраэли, вот уже двадцать лет, и мне хотелось бы пожать вам руку». Дизраэли поднял на него усталые глаза и покачал головой. «Я вас не знаю», — сказал он и зашагал дальше. При подобной встрече Гладстон пожал бы поклоннику обе руки и занес бы все это в дневник. Но Гладстон обладал экспансивностью здорового дровосека, а Дизраэли был стар, болен и утомлен. Все еще повторяют его словечки, но они звучат уже совсем в другом тоне. Еле уловимый оттенок иронии все еще мерцает в этом море печали. «Вам там совсем хорошо, мистер Дизраэли?» — «Никому не бывает совсем хорошо...» И если хозяйка дома спрашивает, чем бы его развлечь, он отвечает: «Ах, дайте мне просто спокойно пожить».

В побежденном теле живет еще только одна страсть — любовь к фантастике. Когда он остается один, обреченный из-за болезни молчать, не двигаться и даже не читать, он с радостью художника вспоминает свою чудесную жизнь. Найдется ли в сказках «Тысячи и одной ночи», где сапожник становится султаном, что-нибудь изумительнее Дизраэли? Не воплотил ли он в мельчайших деталях мечтания юноши, лежавшего под деревьями в итальянском саду, прислушиваясь к дедушкиной мандолине? «Я наконец воплотил свою мечту». У него все еще сохранилась склонность к рыцарству и рыцарским поступкам. «Молодая Англия» еще жива в этом старом сердце. Среди своих «бабушек», как насмешливо говорит русский посол, он мнит себя в судилище «королевы красоты». Он учреждает орден из своих приятельниц и раздает каждому новому члену брошь в виде пчелы. Правда, в этот орден входят главным образом бабушки — леди Честерфилд, леди Блэдфорд, но иногда и молоденькие девушки, как принцесса Беатриса с разрешения королевы. И, без сомнения, гроссмейстером является сама королева, причем она называется уже не королевой, а феей.

Осборн. Тенистая зелень баюкает взор после ослепительного калейдоскопа путешествия. Из замка видна синяя бухта, испещренная белыми парусами. Старый гость едва успевает присесть в отведенной для него комнате. Царственная хозяйка дома зовет его к себе. Он спускается вниз: она встречает его с такой радостью, что он сомневается одну минуту, не хочет ли она его поцеловать? Она так сияет улыбками, что кажется молодой и почти красивой. Она щебечет и порхает по комнате, как птичка. Она счастлива: с ней опять любимый министр, единственный, с которым она чувствует себя уверенно. Потому что жизнь королевы не была легкой. Она непопулярна, очень непопулярна. Она видела, как в Лондоне поворачивались спиной к ее карете. Сначала это было из-за бедного Альберта, так как народ не мог ему простить его немецкого происхождения; наконец, королеву упрекали за траур, и никто из министров не встал на ее защиту. Все эти виги завидуют тому, кто на троне. Один Дизраэли разделяет взгляды королевы на монархию. Конечно, он не считает возможным, чтобы монарх мог противиться постановлениям парламента, но он думает, что опыт и мудрость бесстрастного и постоянного советника являются ценным балластом для го-

сударственного корабля. Дизраэли так хорошо выражает все эти мысли, давно приходившие в голову королеве! «Ах, подумать только, что у вас подагра! Как вы, должно быть, страдаете. Вам нельзя стоять. Сейчас вам принесут стул».

Дизраэли ошеломлен этой небывалой милостью. Никто еще никогда не сидел на аудиенции у королевы. Когда-то лорд Дерби рассказал ему, как королева, заметив однажды, что он совсем болен, сказала ему в виде большой милости: «Очень сожалею, что этикет не позволяет мне попросить вас сесть». Дизраэли вспоминает все это, удовлетворенно вздыхает, но отказывается. Он может постоять. Королева становится все более милостивой, она открывает ему свое сердце и, зная, что он любопытен, дает читать секретную переписку. Она говорит без умолку. Она говорит, как когда-то Мэри Энн, как только женщины умеют говорить. Но королева очень возвысилась во мнении Дизраэли. У нее много здравого смысла, и она верно оценивает характеры. Например, она ясно видит, что представляет собой Гладстон. Какое счастье для Дизраэли, что в Англии — королева, а не король. За обедом ведется живой и приятный разговор. Дизраэли никогда еще не чувствовал себя так смело. Он говорит все, что ему хочется сказать, в самых изумительных выражениях, и королева думает, что никогда не видала более интересного существа. Она восхищена дерзкой простотой, с которой он спрашивает у нее через стол: «Правда ли, что лорд Мельбурн говорил Вашему Величеству: вы это сделаете, а этого делать не будете?..» Иногда, когда они остаются одни, комплименты министра становятся цветистыми и почти неприкрытыми. Но королева объясняет это его восточным происхождением. Королева любит Восток. Ей нравится, когда за ее стулом стоит слуга-индус, а во главе ее государства — этот великий визирь, искусный и чувствительный.

Она его приглашает всюду. Она просила его приехать в Бальморал, в Шотландию, где жизнь проще, естественнее. К сожалению, гость часто болен. Его утомляют длинные путешествия. Королева посылает в комнату Дизраэли своего придворного медика сэра Уильяма Дженнера. Сэр Уильям требует, чтобы премьер полежал в постели. Утром королева сама идет его навещать. «Как Вам это покажется? — пишет он леди Честерфилд. — Министр, принимающий королеву в халате

и туфлях!» Видя его таким беспомощным, она становится заботлива, как мать. Теперь отношения между ними — просто человеческие отношения. Она говорит об Альберте, а он — о Мэри Энн. Министр и королева, оба когда-то были счастливы в браке; это еще больше их связывает. Вернувшись в Лондон, он получает корзину цветов.

«Мистер Дизраэли приносит смиренную признательность Вашему Величеству: вчера вечером ему доставили в Уайтхолл корзину, чрезвычайно хрупкую на вид. Когда он открыл ее, он сначала подумал, что Ваше Величество прислало ему все существующие звезды и ордена. И иллюзия эта была так сильна, что, отправляясь вечером на банкет, в общество людей с лентами и орденами, он не удержался от искушения приколоть себе на грудь несколько подснежников, желая показать, что и у него есть звезды, пожалованные обворожительной монархиней.

Позже, ночью, ему пришло в голову, что все это просто волшебство, что это сказочный дар, присланный другой королевой — феей Титанией: она рвет со своими придворными цветы на зачарованном острове и дарит смертным подснежники, которые, слышал я, кружат голову всем, кто их получает».

V

СЛОВО И ДЕЛО

*Думать легко; действовать трудно;
действовать согласно тому, как думаешь,
самое трудное в мире.*

Гёте

В хорошо организованной стране со старой и нетронутой культурой скорее власть распоряжается человеком, чем человек властью. Бонапарту, вступившему на престол в государстве, где после революции все начиналось сначала, было легко заставить нацию целых сто лет думать, как думал он. Дизраэли же, став первым министром Англии, может развивать свою деятельность только в очень узких рамках. События ежедневно толкают на поступки, часто нежелательные. Дни уходят на то, чтобы исправлять ошибки какого-нибудь дурака

или бороться против упрямства друга. Бесполезно было бы вырабатывать широкий план действий: Дизраэли слишком много жил, чтобы не знать этого.

С первых же дней организации нового министерства духовенство и королева заставляют министра защищать проект закона против обрядностей, то есть против римских обычаев в англиканской церкви; священники преследуются, если их пышные облачения или блестящие алтари оскорбляют взор протестанта. Дизраэли до смерти боялся вмешиваться в жизнь церкви; он знал, что это заставит страсти разбушеваться. Даже в маленьком приходе Хэггендена и то уже идет целая война между сторонниками тарелочек для сборов и сторонниками закрытых кружек. Но епископы настойчивы. Королева вмешивается в это дело: «Ее искреннее желание, чтобы мистер Дизраэли сделал все, что можно, но так, чтобы не создать затруднений для правительства». И министр должен убить первые недели своего властвования на то, чтобы сначала исправлять, потом защищать проект, который он считает неуместным. Но эти меры, не одобряемые им самим, увеличивают на время его популярность. Странная вещь жизнь!

Ему хочется связать свое имя совсем не с репрессиями. Наоборот, он хотел бы, чтобы господство консерваторов ознаменовалось мягкой политикой. Настал момент провести в жизнь мысли, изложенные в «Конингсби» и в «Сибиле». Один за другим издаются законы: равенство взаимных обязательств рабочих и работодателей, расширение прав профессиональных союзов, сокращение рабочего дня до 56 часов в неделю, работа по субботам до полудня и много мер по оздоровлению и санитарии. Лозунгом партии, говорит Дизраэли, должно быть: «*Sanitas sanitatum et omnia sanitas*». «Политика чистильщика нечистот», — говорят противники.

Другая мысль, взлелеянная еще в юности и наконец вместе с ним ставшая могучей, — мысль об империи, о том, что Англию нельзя рассматривать отдельно от ее колоний. Еще двадцать лет тому назад он предложил Дербю разрешить колониям иметь своих представителей и образовать имперский парламент; сорок лет тому назад он воспевал федерализм, предвидя его гениальное будущее. Всякий раз, когда кто-нибудь из утилитаристов доказывал в парламенте, что колонии, особенно Индия, — драгоценность, слишком дорого стоящая

короне, и что лучше было бы от них отказаться, Дизраэли вставал и напоминал о том, что Англия — ничто, если она не станет метрополией огромной колониальной империи, и что противники колониальной политики, имея в виду только финансовые интересы, пренебрегают требованиями политической мощи страны, которая одна делает нации великими. У Дизраэли выработана целая программа организации этой империи: автономия колоний, сопровождаемая имперским таможенным тарифом, правом короны занимать вновь открытые земли, общим военным соглашением и, наконец, созданием в Лондоне имперского парламента. Эта политика настолько нова и кажется такой дерзкой, что нельзя — Дизраэли это знает — сейчас же ее применять, но он пользуется каждым случаем, чтобы блестяще доказать свое мнение и важность избранного им империалистического пути.

15 ноября 1875 года один журналист, Фредерик Гринвуд, заходит в министерство иностранных дел повидать лорда Дерби *. Накануне Гринвуд обедал с одним финансистом, хорошо знающим Египет, и узнал, что хедив, нуждаясь в деньгах, хочет заложить свои сто семьдесят тысяч акций Суэцкого канала. Всего суэцких акций было четыреста тысяч, и большинство из них сосредоточивалось в руках французских капиталистов. Гринвуд полагает, что в интересах Англии приобрести акции хедива, так как Суэцкий канал — путь в Индию. Дерби не очень поддается на это: он боится широких замыслов. Но у Дизраэли разгорается творческое воображение. Он телеграфирует английскому агенту в Египте и узнает, что хедив был бы рад вступить в договор с Англией, но деньги ему нужны немедленно. Однако сессия парламента еще не скоро, а четыре миллиона фунтов стерлингов — это такая сумма, которую нельзя взять из бюджета: нужен кредит. «Так спешно, что еле сможешь вздохнуть, но операцию эту все-таки надо проделать», — пишет Дизраэли королеве. Французское правительство не чинит никаких препятствий; наоборот, герцог Деказ очень ищет поддержки Дизраэли против Бисмарка и уговаривает француз-

* Конечно, речь идет о 15-м графе Дерби, который под именем Стэнли был учеником и другом Дизраэли. Его отец умер.

ские банки, отказывающие в содействии. И так, для этого нужно четыре миллиона фунтов. В тот день, когда кабинет обсуждает этот вопрос, Монтэгю Корри ждет в передней. «Вождь» просовывает голову в приоткрытую дверь и говорит: «Да». Через десять минут Корри уже у Ротшильда, которого застает за обедом, и говорит ему, что Дизраэли нуждается в четырех миллионах к следующему утру. Ротшильд, заедая обед гроздью винограда, берет ягоду, давит ее и говорит: «Какая гарантия?» — «Британское государство». — «Хорошо!» Мистер Дизраэли «со смиренным почтением» пишет Ее Величеству: «Все готово: они у Вас, сударыня, эти четыре миллиона фунтов. И почти в одну минуту. Есть только один человек, который смог их дать: это Ротшильд. Он вел себя изумительно, дал деньги под очень маленький процент, и все акции хедива теперь в руках Вашего Величества».

Королева была в восторге. Дизраэли никогда не видел ее такой сияющей; она оставила его обедать и осыпала его множеством дружеских шуток. Больше всего восхищала «фею Титанию» мысль, что Бисмарк — в ярости, так как несколько дней тому назад он дерзко заявил, что Англия потеряла всякую политическую мощь.

Во времена Гладстона Англия вела нейтральную политику, Франция была изнурена войной, и немецкий канцлер привык играть роль господина Европы. При Дизраэли Англия приобрела успех во внешней политике, и у нее были свои желания, с которыми приходилось уже считаться. В 1875 году, когда Бисмарк после угроз по адресу Бельгии принял за Францию, Дизраэли написал леди Честерфилд: «В самом деле, Бисмарк — второй, но старый Бонапарт, и надо его наконец обуздать». Он поговорил об этом с королевой, она согласилась и предложила написать русскому императору. Англия и Россия одновременно нажали на Берлин. Бисмарк забил отбой. Возвращение Англии к континентальной политике было большим успехом. Королева расцвела. Какой сильной чувствовала она себя за спиной у такого советника, как Дизраэли!

* *

*

Неожиданно она потребовала себе титул императрицы Индии. В 1858 году, когда Индия была присоеди-

нена к короне, вопрос об этом уже поднимался, и в принципе Дизраэли не возражал, но в 1875 году момент был неблагоприятен, Дизраэли знал, что эту затею не в английском духе припишут любви первого министра к восточным побрякушкам. Он приложил все усилия, чтобы уговорить королеву выждать несколько лет. Все было тщетно. Она не уступала, и пришлось выработать проект закона.

Публика возмущалась. Англичане не любят перемен. Королева всегда была королевой: пусть она и останется ей. «Титул императора, — говорили пуритане, — связан с представлением о битвах, репрессиях и даже о разврате». Сочинили памфлеты: «Как маленький Бен, метрдотель, переменял вывеску на харчевне королевы: «Гостиница императрицы с ограниченными правами» и как из этого вышло «Диззи-Бен-Диззи, или багдадский сирота». Иностранные посольства находили все это комичным. «У Диззи все это — фантазия художника, любящего создавать королей, а у королевы — фантазия парвеню; ей кажется, что она будет иметь большее значение и что ее дети лучше устроятся под защитой императорского титула. Мне кажется, что они напрасно приподнимают завесу, которая должна скрывать происхождение королей: с этим не играют. Надо родиться императором и королем, но очень опасно делаться им искусственно».

Диззи пришлось всех успокаивать. Когда речь шла о дурных воспоминаниях, связанных с именем императора, он замечал, что золотой век человечества был как раз в эпоху императоров из династии Антонинов; что же касается титула, то королеву будут называть в Англии королевой во всех документах, имеющих отношение к Европе, и только в правительственных актах, касающихся Индии, и в офицерских послужных списках (так как офицеры могут посылаться на службу в Индию) после слов «защитница веры» будут прибавлять: «и императрица Индии». Королева была очень огорчена, что «ее» закон встретил такое сопротивление, а главное, ей были неприятны личные выпады, невольные вызванные ею против ее «милого министра Дизраэли», но это заставило ее только еще сильнее привязаться к нему. Когда она получила наконец желанный титул, она написала ему благодарственное письмо, и радуясь как ребенок, подписала: «Виктория королева и императрица». Потом новая императрица устроила обед и появи-

лась на нем, наперекор своим обычаям, залитая восточными драгоценностями, принесенными ей в дар индусскими принцами. К концу обеда Дизраэли сознательно, против всех правил этикета, встал, предложил тост за здоровье императрицы Индии и произнес короткую речь, образную, как персидская поэма. Королева, несколько не возмущенная нарушением этикета, ответила улыбкой и поклоном, почти что реверансом.

* *

*

Политический корабль, качаясь на волнах судьбы, завися от благоприятных ветров, от одобрения Палаты лордов и капризов королевы, шел неплохим ходом. Но рулевой был очень болен. Его здоровье становилось так плохо, что он не раз напоминал королеве о своем желании уйти от власти. Но этого-то она и не допускала; она решила, что ей будет легко провести премьеру в Палату лордов, «где усталости будет меньше и откуда он сможет всем управлять». На этот раз Дизраэли согласился. Он принял имя, которое когда-то было пожаловано Мэри Энн, Биконсфилд, но покойная была всего навсего виконтессой, а Дизраэли превратился в виконта Хэггендена, графа Биконсфилда. «Ах, граф? — сказал с иронией Гладстон, узнав о новой метаморфозе с Дизраэли. — Не могу ему простить, что он не назвался герцогом!»

Чтобы избежать сцены ухода, трогательной, но дурного тона, Дизраэли выступил в последний раз в Палате общин накануне того дня, когда должен был быть объявлен его переход в Палату лордов. Тайна была строго соблюдена, и депутаты не подозревали, что они слушают своего лидера в последний раз. Когда заседание окончилось, он медленно прошел по залу и дошел до барьера в конце его. Там он обернулся и смотрел с минуту на скамьи, галереи, на место, с которого он когда-то произнес свою первую речь, на скамью казначейства, где он некогда видел массивную фигуру и прекрасное лицо Пилия, на ряды оппозиции, где он так долго был сам. Потом он вернулся, прошел мимо кресла спикера и, завернувшись в широкое белое пальто, опираясь на руку секретаря, вышел. Проходивший мимо юноша увидел с недоумением, что у старика на глазах были слезы.

Когда на другой день началось заседание и депутаты узнали новость, они взволнованно столпились группами; все говорили тихо, как будто в зале стоял покойник. Один из противников Дизраэли, сэр Уильям Харкорт, написал ему: «Я не представлял себе, что перемена будет так чувствительна. Ушло все рыцарство, все очарование, которое было для нас в политике. Осталась одна рутина». Это было выражением чувства всей Палаты. Интерес старика к жизни заражал окружающих. С ним никогда нельзя было сказать, что будет завтра, но можно было быть уверенным, что скучать не придется. «Он искупал всеобщую пошлость». Присутствие этого великого творца жизни превращало прения в произведение искусства. «Он не только сам был блестящ, он поневоле заставлял блистать и других». Завоевав авторитет, он пользовался им, чтобы приучить всех к рыцарской вежливости и соблюдению приличий. Когда кто-либо из его единомышленников прерывал его, он оборачивался и бросал ему недовольный взгляд. На прения о финансах он смотрел как на турнир и заставлял других смотреть так же. «Ваш у х о д, — писал ему Маннерс, — отнял у меня весь личный интерес к жизни Палаты общин», а сэр Уильям Харкорт говорил: «Теперь игра будет шахматной доской с отданной королевой». И он цитировал в конце письма слова Меттерниха на смерть Наполеона: «Вы, может быть, думаете, что я счастлив узнать о его смерти, так как вы был из строя великий политический противник? Как раз наоборот: я испытываю грусть при мысли, что больше не придется общаться с этим великим умом». «У в ы, — писал еще кто-то. — Мы не увидим равного Вам: прошло время гигантов».

Через некоторое время королева открывала сессию парламента, и рядом с ней стояла странная неподвижная фигура, закутанная в пурпур и горностаи: это был вновь пожалованный лорд Биконсфилд. Самые хорошенькие дамы пришли посмотреть, как он займет свое новое место. Его спутниками были Дерби и Блэдфорд. Совершенно спокойный, он кланялся, пожимал руки, приподнимал шляпу, как того требовал церемониал; потом, став лидером консерваторов в Палате лордов с того дня, как он туда попал, он выступил на первом же заседании. Когда-то, в двадцать пять лет, он писал в "Юном герцоге": «Одно мне ясно: нужно иметь два разных стиля — для Палаты общин и для Палаты лор-

дов. Если у меня будет время, я дам образчик каждого в течение моей политической карьеры. В Палате общин я возьму за пример «Дон Жуана», в Палате лордов буду подражать «Потерянному раю». Он в обоих случаях ошибся, но если он потратил немало времени в Палате общин, чтобы отказаться от байронизма, то, став более опытным, он не прибегнул к мильтоновскому стилю для разговора с лордами. Разница в оттенках еле заметная, более неуловимая, чем он думал в юности. Он художественно отметил это. «Я умер, — сказал он после своего первого заседания, — умер, но я в Елисейских полях».

VI

ТУРЕЦКИЕ ЗВЕРСТВА

*Ты мне напоминаешь некоторых англичан:
чем больше эмансипируется их мысль,
тем больше они цепляются за мораль.*

А. Жид

В июле 1875 года в Боснии и Герцеговине кучка крестьян восстала против турок, обращавшихся с «неверными подданными», как с собаками. Эпизод был незначителен, но его раздули. Бессилие Порты удивило всех: собрать двухтысячную армию и послать ее в Боснию, видимо, показалось ей чересчур сложной военной операцией, кроме того, не хватало денег. Видя пассивность Турции, Россия деятельно зашевелилась. Тайные комитеты, организованные русским православным братством Кирилла и Мефодий, начали вести антитурецкую пропаганду во всех балканских деревушках. Россию толкали две причины: первая была сентиментального порядка — русские чувствовали себя по происхождению братьями болгар и сербов; другая причина была политическая — Россия нуждалась в доступе к Средиземному морю и надеялась получить его или путем завоевания Константинополя и проливов, или путем эмансипации Болгарии и Сербии, вассальных княжеств под русским протекторатом.

Дизраэли ничего так не боялся на свете, как пустить русских на Средиземное море. Первым и основным правилом британской политики было свободное сообщение с Индией и Австралией. На суше это сообщение

было возможно только через владения дружественной Турции; на море путь в Индию лежал через Суэцкий канал, очень уязвимый в том случае, если турецкие владения в Азии будут в руках врагов. Роль России во всем этом деле была очень подозрительна: Россия могла питать широкие и опасные замыслы. Надо было держать ухо востро с самого же начала. Дизраэли хорошо помнил завязку Крымской войны; он видел тогда, как мирно настроенный человек, лорд Эбердин, был вовлечен в войну именно благодаря своему страху перед войной. Лучшим средством обеспечить мир, казалось, была точно установленная позиция, дальше которой нельзя было отступать.

Когда вслед за Боснией восстала Болгария, когда Россия, Германия и Австрия, написав суровый меморандум, направленный против Турции, предложили Англии подписать его, первый министр отказался это сделать. В интересах ли Англии было участвовать в уничтожении государства, которое ей было выгоднее сохранить, а главное, участвовать совместно с таким явным врагом, как Горчаков, и с таким неверным другом, как Бисмарк? Лучше всего было поступить прямо. «Что бы ни случилось, — писал Дизраэли леди Блэдфорд, — на этот раз мы помимо нас самих не будем вовлечены в войну; если война и случится, это будет потому, что мы сами ее захотели и наметили себе определенную цель. Но я надеюсь, что Россия, которая затеяла всю эту историю, будет благоразумна и не нарушит мира».

* *
*

Твердая политика правительства была одобрена всеми, и даже либеральная оппозиция не возражала, как вдруг газета «Дейли Ньюс», хорошо осведомленная и преданная Гладстону, поместила статью, полную ужасных подробностей о турецких зверствах в Болгарии. Зарезанные дети, изнасилованные женщины, девушки, проданные в рабство, десять тысяч христиан, гниющих в тюрьмах, — вот что выделяли друзья и союзники первого министра. Дизраэли прочел рассказ об этих ужасах с недоверием и иронией. От своего посла в Турции он не получал известий, а кроме того, видел, что Гладстону и его друзьям выгодно преувеличивать факты; главное же, в принципе он мало верил в зверст-

ва. Еще во время индийского восстания он мужественно выступал против общественного мнения, призывал к справедливости и отказывался возмущаться прежде, чем слухи не будут проверены. Это был мягкий человек без сильных страстей, за исключением одной — честолюбия, и он с трудом представил себе, что существует умышленная жестокость и садизм. Во время путешествия по Турции ему пришлось обедать в обществе пашей, курить с ними наргиле, и он не мог поверить, что эти приветливые люди способны убивать детей. Может быть, все эти злоупотребления были делом рук солдатских наемных банд, но не надо забывать, что и оставшие особенно не стеснялись. Он ненавидел «навязанные мнения». Стоило пристать к нему с «угнетенным народом», как ему уже чудилось в этом лицемерии и казалось, что его самого собираются угнетать.

Когда вопрос о турецких зверствах был поднят в Палате общин, он сказал, что верит в порядочность человеческой природы и надеется на более точные информации, которые покажут, насколько преувеличены все эти слухи. «Не сомневаюсь, что зверства имели место, но сильно сомневаюсь в том, что девушки продавались в рабство, что более десяти тысяч человек сидели в тюрьме. Право, не думаю, чтобы в турецких тюрьмах было так много места и что пытки могли бы широко применяться у восточного народа, обычно приканчивающего виновных более упрощенным способом».

К несчастью, на этот раз Диззи был плохо осведомлен, и рассказы о зверствах оказались правдой. Посол, проснувшись от шума, поднятого в Англии, и наведя справки, должен был подтвердить достоверность фактов, и общественное мнение забушевало. Можно ли было допустить, чтобы первый министр отделался легкой фразой от стольких человеческих жертв? Дизраэли проклял Министерство иностранных дел за запоздалую информацию и стал ждать, чтобы буря улеглась. Конечно, ему было очень жаль, что болгарские деревни сожжены, а девушки изнасилованы, но достаточное ли все это основание для того, чтобы отказаться от вековой и разумной политики?

* *
*

Гладстон в это время был в Говардене. Написав своему дорогому Гренвиллу, что в семидесятилетнем возра-

сте, после пятидесяти лет общественной работы, он имеет право на отдых, он не раз «возвращался с острова Эльбы»*. Он сторожил путь Дизраэли и на каждом повороте появлялся перед ним, как огнедышащий дракон. Это совсем не значило, что Гладстон был неискренен: он стремился уйти на покой, но то обстоятельство, что власть все еще была в руках «нечестивого», заставляло его против воли бросаться в борьбу. Он тщетно пытался отвлечь свои мысли от всего этого скандала, погружался в теологию и в Гомера. Чем больше он размышлял, тем очевидней становилось для него, что все происходит от потери «сознания греховности». «Ах, — говорит он с расстановкой, — сознание греховности, вот чего недостает современной жизни!» Был ли хоть один писатель среди всех тех, кого он читал, который бы выразил это сознание греховности? Даже Вальтер Скотт смог быть другом такого человека, как Байрон. Если какой-нибудь молодой посетитель робко пытался обратить его внимание на то, что романисты должны все понимать, и приводил слова госпожи де Сталь: «Все понять — это все простить», мистер Гладстон качал головой и говорил: «Не заглушайте в себе «сознания греховности».

Сам он это сознание никогда не заглушал. Когда ему в руки попал рассказ о турецких зверствах, он по волне гнева, поднявшегося в нем против турок, янычар и новоиспеченного лорда Биконсфилда, почувствовал, что у него есть наконец предлог, чтобы удовлетворить свою возмущенную добродетель. Что другое могло бы его удачнее вдохновить? Разнузданные страсти, христиане, гибнувшие от руки нечестивых, и в центре этой зловещей интриги — «великий нечестивец», трагический комедиант, человек, деморализующий общественное мнение и цинично возбуждающий номинальный эгоизм для того, чтобы удовлетворить свой собственный. Парламент был на летнее время распущен, сам Гладстон был болен и лежал в постели, его бездеятельная секира валялась в углу, он, следовательно, не мог ничего сделать и стал сочинять памфлет. Сила выражений была изумительна: «Варварская и сатанинская оргия... Турки — бесчеловечные представители человечества... ни один преступник в нашей тюрьме,

* Намек на Наполеона, вернувшегося из изгнания, чтобы опять взять власть в свои руки на сто дней — *Прим. перев.*

ни один каннибал с южного моря не сможет без возмущения слушать этот рассказ... Какой выход? Заставить турок покончить со злодеяниями единственным надежным способом: прикончив их. Их заптии и мудирь, бимбаши и юсбаши, паши и каймакамы, все вместе и каждый в отдельности, с оружием и скарбом, должны покинуть разоренные и обесчещенные провинции».

Памфлет имел огромный успех; в несколько дней было продано сорок тысяч экземпляров. По всей Англии собирались митинги, требовали изгнания турок, устраивали подписку на нужды нового крестового похода. В Ливерпуле во время представления «Отелло» после фразы «Турки погибли» весь зал поднялся и зааплодировал. По Англии пронесся циклон добродетели, Гладстон поспевал всюду, писал, выступал. Он подозревал правительство в желании присоединить к Англии Египет. «Диззи поддерживает Турцию, думая, что она потерпит поражение, а его флот стоит близ Бэзик-Бея, чтобы быть наготове и при первом удобном случае, я в этом почти уверен, завоевать Египет. Нам еще придется увидеть Диззи в роли мемфисского герцога». Гладстон не мог думать ни о чем другом, кроме болгар. Многочисленные сторонники антитурецкой политики совершали паломничество в Говарден. Они находили Гладстона в полной боевой готовности, с засученными рукавами, вручали ему принесенные дары — кто трость, кто резную рукоятку для топора, — потом Гладстон начинал говорить о болгарях. Посетители были в восторге. Нет, Англия не станет сражаться на стороне деев. «Сколько бы первый министр ни держал свою руку на шпаге, нация не позволит ему вытащить ее из ножен».

Биконсфилд прочитал памфлет. Он нашел его пламенным, злобным, но плохо написанным — «вполне естественно для Гладстона», — а в общем, самым ужасным из всех болгарских ужасов. В письмах к леди Блэдфорд он часто называет Гладстона Тартюфом: «Добровольная жертва всякой лжи, могущей привести его к власти». Лорду Дерби Биконсфилд пишет: «Потомство верно опишет этого беспринципного маньяка, это исчадие зависти, злобы, лицемерия и суеверия. Гладстон и как первый министр и как лидер оппозиции всегда, что бы он ни делал — проповедует ли он, молится ли, говорит ли речь или марает бумагу, — сохраняет одну черту: он никогда не бывает джентльменом».

Лорд Биконсфилд решил ни в коем случае не уступать общественному мнению. Когда все сходят с ума, остается только одно: ждать. Кризис минует, и можно будет опять говорить с разумными людьми. А кроме того, чего собственно хочет этот бряцающий оружием миротворец? Затеять войну с Турцией? Отомстить за зверства в Болгарии мировой бойней? Ужас перед преступлением — отнюдь не монополия одной только партии Гладстона. Послушать их, так можно подумать, что лорд Биконсфилд — султан, а лорд Дерби — великий визирь. Диззи ни в чем не чувствовал себя виноватым. Ему было противно всякое буйство. Он совсем не поддерживал турок; охотнее всего увидел бы он их на дне Черного моря. Но он хотел обеспечить единство империи и блестящее будущее Англии.

Никогда еще Диззи не выражал так ярко своего отвращения к лицемерию. Он знал, что ему было бы легче справиться со всем этим, сказав несколько прочувствованных слов, но он, наоборот, написал Дерби следующее: «Мне хочется, чтобы Вы хорошо поняли, что не надо действовать так, как будто бы Вы под контролем общественного мнения. А то Вы, может быть, и сделаете все, что от Вас требуют, но они сами же перестанут Вас уважать». И в другом письме: «Как бы Вы ни были тверды, этого не будет достаточно. То, чего требуют все эти общие собрания, — безумие, а не политика. Все это туманно, теоретично, далеко от жизни. Хотя политика Англии — мирная политика, но ни одна нация так не готова к войне, как мы. Если мы и примем участие в каком-нибудь конфликте за действительно правое дело, если в этой борьбе будут поставлены на карту наша свобода, наша независимость и наша империя, ресурсы страны, я чувствую это, будут неиссякаемы. Англия не такое государство, чтобы, начиная войну, спрашивать себя, можно ли выдержать вторую и третью кампанию. Она начнет борьбу и не кончит ее, пока справедливость не восторжествует».

VII

НЕУЖЕЛИ ВОЙНА?

Сатирический журнал «Панч» изобразил, как Британия, ведомая поводырем с еврейским лицом, приближается к краю пропасти, на дне которой начертано:

ВОЙНА. «Еще чуть-чуть ближе к краю», — говорит поводырь. «Ни шагу даль ше, — отвечает Британия, полная страха и недовольства. — Я уже слишком близко». И это верно, что Британия страшно боялась упасть. Политическим ходом лорда Биконсфилда было напугать Россию угрозой войны, которой он не думал предпринимать, но можно было думать, что при частых прогулках у края пропасти легко было споткнуться о камешек.

Таково было мнение молодого лорда Дерби, царившего в Министерстве иностранных дел. В противоположность своему отцу это был человек неуклюжий и рассудительный; его спасительное равнодушие было весьма полезно при опасностях. Но он не был скроен для «подобной пляски дипломатических лиц». Он страшно боялся всякой романтичности и театральных обстановок. Он не находил никаких оснований для угроз России. Это не значило, что он был, подобно Гладстону, антитурком. Это был другой роман, к которому он также не питал расположения, но он не допускал мысли, чтобы Британская империя могла оказаться в опасности только потому, что русские войдут в Константинополь. В сущности, он не допускал мысли, чтобы Британская империя могла бы быть в опасности. Вождь говорил: «У него недостаток воображения». Пусть так. У него не было воображения, да он об этом и не горевал вовсе. Он никогда не рискнул бы дать развернуться какому-нибудь конкретному злу ради того, чтобы избежать в будущем более глубокого непредвиденного зла. Все мероприятия, предполагавшиеся Биконсфилдом, вызывали в нем недовольство и враждебность, и, так как он имел большое имя и репутацию здравомыслящего человека, он увлекал за собой большое число своих коллег.

В то время как кабинет стремился сдерживать и обуздывать монархиня, наоборот, подталкивала ход событий. Королева никогда не любила России. Альберт всегда говорил, что опасность придет с этой стороны. Она считала себя ответственной за цельность империи и за безопасность путей в Индию. Она порицала Гладстона и лорда Дерби. Она не понимала слабости стольких мужчин, когда она, женщина, готова была наступать на врага. Она бомбардировала своего первого министра воинственными записками. Организаторы митингов в пользу русских должны были преследовать-

ся. Зачем тянуть с вооружением? «Королева чувствует себя ужасно беспокожно от мысли, что все эти сроки доведут нас до того момента, когда будет поздно и мы потеряем свой престиж навсегда. Эта мысль не дает ей покоя ни днем ни ночью». — «Королева призывает к чувству патриотизма, которое одушевляет — это она знает хорошо — ее правительство, и она убеждена, что каждый член его почувствует необходимость гордо предстать перед врагом единым сплоченным фронтом как в самой стране, так и вне страны... Дело вовсе не в поддержке Турции — весь вопрос в русском или британском превосходстве во всем мире».

Даже принцессы принимали участие в этом деле. Первый министр, сидя за обедом рядом с принцессой Мэри Кембриджской, услышал от нее следующее: «Не могу взять в толк, чего вы еще ждете?» «В данный момент, сударыня?.. Разварную картошку», — ответил ей лорд Биконсфилд.

До сих пор он мог лавировать без неожиданностей в узком проходе между королевой и лордом Дерби, но сможет ли он продолжать действовать так и впредь? Да еще избежать третьего препятствия — либералов, которых возмущала фраза: «интересы Англии». «Эгоистичная политика», — говорили они. «Столь же эгоистичная, как и патриотизм», — отвечал старый циник, и, с удивительным спокойствием измеряя взглядом глубину пропасти, он с радостью убеждался, что не чувствовал головокружения.

Россия объявила войну Турции. Царь отправил генерала Игнатьева со специальной миссией к англичанам попытаться добиться обещания нейтралитета. Весь Лондон устраивал обеды в честь четы Игнатьевых. Генеральша была блондинка, была красива и умела пить. Она имела громадный успех. Маркиза Лондондерри и она состязались друг с другом бриллиантами. Победила англичанка. Лорд Биконсфилд предупредил Россию, что не останется нейтральным, если царь не признает трех необходимых пунктов за империей: Суэцкого канала, Дарданелл и Константинополя. Горчаков обещал. Чем он рисковал? Его осведомители убедили его в этом. Общественное мнение было далеко не на стороне Биконсфилда.

«Панч» изображал то «вояку Бенджамина», то британского Льва, обращающегося к Сфинксу со словами: «Послушайте меня хорошенько. Я вас не пони-

маю, но вы должны меня понять. Драться за этих людей я не буду».

Замечательный посол Шувалов, сумевший заставить всех значительных лиц Лондона называть себя «Шу» и понявший, что ключ от политического мира надо искать в высшем свете, был достаточно хорошо осведомлен, чтобы телеграфировать в Петербург имена английских министров, которые противились намерениям первого министра.

Горчаков с еще большей уверенностью начал двойную игру. Англичанам он сказал: «Мы признаем, что вопрос о Константинополе может быть разрешен лишь согласием держав». Великому князю Николаю, главнокомандующему армией, он приказал: «Направление — Константинополь». Победа устроит все. Когда русская армия займет город, кто посмеет ее оттуда выселить?

Великий князь вступил в Болгарию. Королева становилась все более и более возбужденной. Альберт всегда предрекал то, что происходит теперь. Должна ли она, бессильная Кассандра, присутствовать при разрушении своей империи? «Фея пишет целыми днями и телеграфирует ежечасно». Она не верила русским обещаниям. Она хотела, чтобы были выданы какие-нибудь гарантии, чтобы было наконец что-нибудь сделано. «Донесения, которые вчера видела королева, весьма тревожны. Разумеется, лорд Дерби не может оставаться равнодушным к таким опасностям. Сообщения получают за сообщениями, и он как будто все отмечает, не произнося никогда ни слова. И то сказать, никогда королева не видела такого министра иностранных дел!!!». — «Русские подойдут к Константинополю через самый краткий срок. Тогда правительство подвергнется жестоким порицаниям, и королева, доведенная до такого унижения, намерена будет тотчас же отречься от престола. Будьте стойки». — «Если вы не приступите наконец к действиям, оппозиция первая повернется против вас. Промедление в несколько недель, даже в несколько дней, может стать роковым». — «Королева возмущена тем, что никто ничего не предпринимает. Лорд Биконсфилд говорил ей во вторник, что пять тысяч солдат можно было бы отправить на усиление гарнизонов, но она не слышит ни от кого о движении военных частей и становится все тревожней». — «Королева чувствует себя всегда ободренной, после того как повидается с лордом Биконсфилдом, но по тому или другому

поводу никогда ничего не делается...» — «А в каком оскорбительном тоне говорят о нас русские! Какие обидные слова позволяют они употреблять против нас! От них кровь закипает в сердце королевы. Во что превратились чувства множества людей этой страны?»

Королева беспрестанно угрожала отказаться от короны, усыпанной шипами. Дерби со своей стороны носился со своей отставкой из-за всего вообще, и старый премьер, страдавший одышкой и подагрой, печальный, оттого что не мог видеть рядом милых глаз с оранжевой поволокой леди Блэдфорд, писал ему: «Я сильно болен. Если бы у меня хватило смелости преодолеть сцену, которая разыграется в главной квартире, когда я подам в отставку, я тотчас сделал бы это. Но я никогда не мог выносить сцен...»

Одно время сопротивление турок подавало надежду. Армия была неплохая, и султан подбодрял своих солдат: «Ваши сабли правоверных проложат вам путь к раю». Стало известно, что русская армия, задержанная под Плевной, потеряла пятьдесят тысяч убитыми и тридцать тысяч ранеными, которые от плохого ухода в наскоро слаженных госпиталях почти все погибли.

В августе считали русских побежденными. Маршал Мольтке, по крайней мере, так думал. Англия любит сильные нации; общественное мнение было на стороне турок. По улицам Лондона распевали:

Мы драться не желаем,
Но бьемся лишь за Jingo *.

Стало модным ходить по воскресеньям к дому Гладстона, публично подвергать его поношениям и бросать камни в его пролетку. Дедушки манифестантов проделывали такие же шутки под окнами герцога Веллингтона.

Обе палаты уехали в отпуск. Биконсфилд отправился отдыхать в Хэгендэн. Он с трудом дышал и совсем не мог ходить. Чтобы бывать в церкви, он принужден был ездить в маленькой коляске Мэри Энн. Павлины выводили его из себя. «Я почти готов пойти на жестокость и перебить павлинов». По возвращении в Лондон он обратился к доктору Кидду, гомеопату, о котором ему много говорили. Кидд всесторонне осмотрел его старое обескровленное тело, как осматривают новобранца. Нашел у него астму, бронхит и Брайтову болезнь. Как раз подходящее состояние для преграждения пути в Индию!

* Jingo — бранная кличка приверженцев политики Биконсфилда. — *Прим. перев.*

Игра в блеф требует непроницаемого хладнокровия. Это было преобладающим качеством первого министра. Но как вести игру в блеф с двумя партнерами, из которых один объявляет блеф на каждом шагу, тогда как другой начинает игру с требования, чтобы карты были раскрыты. В особенности королева выказывала себя грозной. Она очень любила своего первого министра. На него только она и полагалась. Один он, как и она, обладал, хотя и по другим мотивам, тем узким патриотизмом, который отстраняет все прочие чувства. Она как бы прицепилась к нему. Она хотела бы осыпать его почестями. Она предложила ему орден Подвязки, от которого он отказался, находя, что момент для этого мало подходящий. Она отправилась отдать ему визит к нему в Хэгендэн. Такого расположения она никому не оказывала со времени лорда Мельбурна. Она повелела ему в письмах не употреблять официальной формы обращения, и он мог начинать письма просто: «Сударыня и достолюбезная монархиня». Она отвечала: «Мой дорогой лорд Биконсфилд» и подписывалась: «Примите мои уверения», «С искренним уверением», «Преданная Вам Виктория, Р. I» [королева и императрица].

И все-таки она смущала его своей упрямой настойчивостью. Между ними была та разница, что Биконсфилд намеревался избежать войны и почти все сделал, чтобы ее избежать, тогда как королева, по натуре гораздо более горячая, все более и более хотела ее. Когда русские наконец после взятия Плевны расположились на возвышенности в виду Константинополя, она с наивностью напомнила о данных им обещаниях. Разве он, лорд Биконсфилд, не говорил, что при подобном стечении обстоятельств объявит войну? Чего же еще ждать? Русские без обращения к державам уже подготавливали секретное соглашение с турками. Вскоре вся Европа станет перед совершившимся фактом. Так, значит, и лорд Биконсфилд не лучше других? Все мужчины просто трусы. Одна она, бедная женщина, должна всех воодушевлять. Лорд Биконсфилд уж слишком принижался. Он старался заглазить свое непослушание, преувеличивая выражения своей преданности.

«Лорд Биконсфилд надеется, что Ваше Величество помнит о своем милостивом обещании не писать по ночам или по крайней мере не так утруждать себя. Он

живет только ради нее, работает только ради нее. Без нее для него все потеряно».

А между тем он зорко следил за ходом игры.

* *

*

Был один большой игрок, который до сих пор только наблюдал за ударами, но выжидал момент, чтобы принять участие в игре. Это был князь Бисмарк. Неожиданно 19 февраля он раскрыл свои карты на заседании Рейхстага в большой речи, преднамеренно затемненной, но все же достаточно ясной. Вынужденный выбирать между Австрией и Россией, Бисмарк, имея зуб против Горчакова со времени событий 1875 года, высказался против России. Он старался убедить всех в своем бескорыстии. «Восточный вопрос» мало интересовал Германию. Константинополь не стоил костей любого померанского гренадера. Все, чего хотела Германия, — это избежать конфликта. Роль ее среди противоречивых интересов тяжущихся свелась бы к роли «честного маклера». Разумеется, соглашение, которое готовилось Турцией с Россией, должно было подвергнуться апробации других европейских держав на конференции или конгрессе, который мог бы собраться, если бы то было угодно, в Берлине. Все это было облечено в весьма любезную и возвышенную форму выражения, но Бисмарк за эту двухчасовую речь разрушил все здание, возведенное Горчаковым в течение нескольких лет.

При таком положении Россия, угрожаемая Англией, не могла уже пренебрегать Германией. Она тотчас же согласилась на предложение о созыве конгресса, но приняла его с оговорками, сводившимися к тому, чтобы только доложить конгрессу о состоявшемся соглашении с Турцией, но не ставить его на обсуждение великих держав.

Наконец соглашение это было опубликовано. Английское общество читало его с ужасом. С внешней стороны выходило, что Горчаков признает сделанные обещания: Константинополь, Суэцкий канал и Дарданеллы остаются свободными, но все эти положения оказались перевернутыми наизнанку. Русские создают Болгарию, которая становится их вассалом и дает им выход в Средиземное море. В Армении они занимают Карс и Батум, продвигаясь таким образом к Индии и расширяясь, с другой стороны, в Азиатской Турции. Вся Англия в единодушном порыве — что вызывает

в англичанах обычно всякая надвигающаяся опасность — сплотилась вокруг своего первого министра: на конгресс для обсуждения подобного документа она решила не посылать своего представителя.

Лорд Биконсфилд остается весьма спокойным. Он обсуждает неприемлемое соглашение. Он уведомляет Шувалова, что на конгресс он отправится после заключения непосредственного англо-русского соглашения относительно важнейших пунктов. Условия его следующие: а) никакой Великой Болгарии; б) никакой русской Армении. От таких пунктов посол даже привскочил: «Это значит лишить Россию всех плодов победы...» Может быть. Во всяком случае, первый министр дал ему понять, что, если Англия не получит удовлетворения, она заставит Россию освободить спорную территорию, даже если бы пришлось применить для этого силу. Шувалов уходит, обеспокоенный, но скептически настроенный. Лорд Биконсфилд не есть еще Англия.

Созывается заседание кабинета министров. Первый министр желает подготовить войну. «Если мы будем тверды и стойки, мы добьемся мира и продиктуем тогда наши условия Европе». Но надо быть готовым. Он предлагает объявить призыв запасных, вотировать кредиты, направить флот в Константинополь, и в особенности, так как дело сводится к защите пути в Индию, он хотел бы, чтобы сама империя приняла участие в своей собственной защите и чтобы части индийской армии были отправлены в Средиземное море для занятия позиций, связанных с коммуникационными путями русских, иными словами, чтобы занять Кипр и Александретту.

Кабинет министров поддерживает «вождя», исключая лорда Дерби, который подает в отставку. Он полагает, что такие мероприятия способны привести к войне, и снимает с себя ответственность. Лорду Биконсфилду приходится не без сожаления расстаться со своим старым другом, но отставку его он принимает.

На этот раз Шувалов начинает бояться. Отставка Дерби уже есть знак. Россия не хочет ни за какие блага войны с Англией. Ее чрезвычайно ослабили походы и сражения. У нее нет флота. Да, кроме того, она предпочитает лучше договариваться с Биконсфилдом, чем с Бисмарком.

Русский посол выдвигает такие предложения: Горчаков уступает в вопросе о Великой Болгарии, которая

в одной своей части будет отодвинута к морю, но желает удержать за собой русскую Армению. Биконсфилд непреклонен. Значит — война, если не будет дано Англии гарантии в виде Гибралтара на востоке Средиземного моря. В этот момент распространяется известие, что отряды, отправленные секретным порядком из Индии, начинают высаживаться. Это — последний удар. Россия принимает все.

С султаном подписывается секретное соглашение, по которому он уступает Англии остров Кипр, взамен чего Англия оказывает ему свою поддержку в случае, если Россия пройдет в Армении границы Карса и Батума. Горчаков соглашается прибыть на конгресс, чтобы подтвердить таким образом измененный договор. Турция остается европейской державой. Славянское продвижение приостанавливается. Партия выиграна, выиграна целиком и без потери единого человека, без единого ружейного выстрела. Поводырь приводит к берегу своих путешественников нетронутыми, счастливыми, немного усталыми. «Хороший поводырь, — думает Британия, — но сорви-голова».

* *
*

Самого Биконсфилда приводит всего больше в восторг приобретение Кипра. Еще тридцать лет тому назад в своем романе «Танкред» он ясно это провозгласил. Ему приятно таким способом включить в историю свои романы и мечты. И, наконец, этот Кипр, этот остров Венеры! Ричард Львиное Сердце отдал его Лузиньяну, королю Иерусалима, ставшему графом Пафоса. Ныне город Афродиты и романтическое королевство крестоносцев дополнят вместе с Гибралтаром и Мальтой английскую часть Средиземного моря.

Чудесный день для старого артиста, наслаждающегося игрою столетий.

VIII

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС

Собирался международный конгресс — самая совершенная из «ярмарок тщеславия»*. Прежде всего внутри каждой страны — свои избирательные участки местного тщеславия. Каждый первый министр думает,

* Название известного романа Теккерея. — *Прим. перев.*

что только он один способен представлять свою политику. Каждый министр иностранных дел думает, что первый министр ничего не смыслит в дипломатии. Каждый посол по своей профессии разделяет мнение своего министра. Когда собрание в сборе, большие люди отстраняются от других, составляя партию первых скрипок.

Князь Бисмарк надеялся, что великие актеры не приедут на заседание. От России он ждал Шувалова, которого любил и с которым разработал часть программы конгресса. Но Горчаков рассудил, что не может никому доверять и ни на кого полагаться, и сумел убедить в этом своего императора. Бисмарк дал себе зарок отплатить ему за старое. «Ну, уж вторично не сядет он мне на плечи, как на пьедестал».

Из Англии также пожелал приехать первый министр. Кто же, кроме него, разобрался в восточных делах? Лорд Биконсфилд и лорд Солсбери были назначены уполномоченными.

Из европейских центров двинулись поезда специального назначения. Бисмарк думал: «Конгресс — это я». Два беспомощных старика, возлежавших на мягких подушках вагонов, устремлявшихся из Брюсселя и Петербурга в Берлин, Биконсфилд и Горчаков, испытывали одно чувство.

На эту конференцию, где должен был свободно обсуждаться договор, все государства прибыли с секретными соглашениями. У Англии с Россией было лондонское соглашение. Турция знала, что уступила Англии Кипр, но об англо-русской конвенции ей не было известно. Австрия получила обещание от Англии и Германии, которые отдавали ей без боя Боснию и Герцеговину. Франция дала себя убедить, что о Египте и Сирии вопросов подниматься не будет. Английское общество рисовало себе с некоторым восторженным страхом картину того, как лорд Биконсфилд ринется в борьбу с московским медведем, но не отдавало себе ясного отчета в том, до какой степени весь спектакль был хорошо срепетирован.

* *
*

Остановившись по обычаю в отеле «Кайзергоф», лорд Биконсфилд увидел на столе в зале громадную корзину цветов и большую плетенку сочной клубники в венке из

апельсиновых цветов и роз. Это был подарок новопривышему от супруги кронпринца, дочери королевы Виктории.

Биконсфилд пишет королеве письмо: «Кронпринц и кронпринцесса окружают лорда Биконсфилда своей добротой и вниманием. Это ему тем более приятно, что этим он обязан в большой мере влиянию лица, коему он обязан всем».

Визит секретаря Бисмарка. «Канцлер очень хотел бы увидеться с лордом Биконсфилдом как можно скорее».

Оба государственных человека знали и ценили друг друга. Они встретились впервые в Лондоне шестнадцать лет тому назад. Каждый из них угадал в другом ум и волю.

Биконсфилд нашел Бисмарка очень изменившимся. Бледный великан с осиной талией, которого он видел в 1862 году, очень растолстел и отпустил белую бороду на грубом лице. Но тон его, который он любил, простой и естественный, слегка грубоватый, даже грубо откровенный, остался тот же. Удивительно, как такие жестокие слова можно было произносить таким мягким голосом, выходящим из такого громадного тела.

Бисмарк сказал ему, что намеревался провести конгресс с треском, но находил необходимым посвятить первые дни, когда у всех головы еще свежи, важнейшим вопросам, которые могли стать причинами войны. Начато будет с болгарского вопроса.

На следующий день, в 2 часа дня, конгресс впервые собрался в зале, выдержанном в благородных тонах, вполне соответствовавшем вышитым золотом мундирам, нагрудным звездам, почетным орденам, дипломатическим шпагам. Перед заседанием все отправились в буфет выпить вина и поесть бисквитов. Биконсфилд попросил перечислить состав конгресса: турок Кара-Теодори-паша, молодой человек; старик Горчаков, пошатавшийся от дряхлости; итальянец Корти, с внешностью японца; француз Ваддингтон, наполовину англичанин; австриец Андраши... Ну что же, все очень хорошо: кроме него с Бисмарком, никого выдающегося.

Бисмарк приступил к делу с военной быстротой. Сразу было принято, без обсуждения, разделение Болгарии на две части, по линии Балкан. Потом все испортилось. Русские, признавшие за турками границу, проходившую по Балканам, захотели отказать им в праве обороны ее и содержания войсковых частей в части

Болгарии, оставленной за ними. Это значило разрушить косвенным образом все результаты лондонского соглашения. Незанятая часть Болгарии могла бы снова отойти под власть России, которая получила бы доступ к Средиземному морю.

Лорд Биконсфилд разразился громовой речью. Санкт-Петербург должен отбросить иллюзию, будто волю англичан можно своротить в сторону. Горчаков был задет и уперся. Лорд Биконсфилд торжественно объявил, что английские условия означали ультиматум. Русские были смущены и отправили нарочного в Петербург.

Биконсфилд писал королеве: «Я не опасаюсь за результат, ибо я сказал, кому следует, что уйду с конгресса, если предложение Англии не будет принято».

Утром того дня, когда кончался срок ультиматума, лорд Биконсфилд, прогуливаясь по Унтер-ден-Линден под руку с Корри, отдал ему распоряжение заказать специальный поезд для отъезда британской миссии в Кале. Корри передал приказание в правление немецких железных дорог. Результат не заставил себя ждать.

В три часа три четверти князь Бисмарк прибыл в отель «Кайзергоф». «Проводите меня к лорду, — обратился он к Корри, — и предупредите меня, когда будет без пяти четыре, ибо у меня назначена одна встреча в четыре».

Он спросил лорда Биконсфилда, возможно ли найти компромиссное решение. «Компромисс был найден в момент подписания лондонского соглашения, и нам нет возможности возвращаться к нему». — «Должен ли я понимать это как ультиматум?» — «Разумеется». — «Я должен ехать к кронпринцу, но будет более правильным, если я мог бы переговорить с вами обо всем этом. Где вы обедаете сегодня?» — «В английском посольстве». — «Мне хотелось бы, чтобы вы обедали со мной».

Биконсфилд писал королеве: «Я принял его предложение. После обеда мы расположились в одной из комнат. Он закурил, и я последовал его примеру... Мне кажется, я нанес последний удар моему здоровью, но я почувствовал, что так поступить было совершенно необходимо. В таких случаях человек некурящий имеет вид подслушивающего мысли другого... Я провел часа полтора в самом интересном разговоре исключительно политического характера. Он убедился, что ультиматум не был вовсе выдумкой, и, перед тем как пойти спать, я с удовлетворением узнал, что Петербург капитулировал».

На следующий день он мог телеграфировать в Лондон: «Россия принимает английский проект об европейской границе Турецкой империи, военные прерогативы и политику султана».

«Европейская Турция снова существует», — заявил Бисмарк.

«Мы пожертвовали сотней тысяч солдат и сотней миллионов рублей ни за что!» — вздыхал Горчаков.

Этот эпизод возбудил у князя Бисмарка большое уважение к лорду Биконсфилду. «Der alte Jude, das ist der Mann» *, — говорил он.

Они стали большими друзьями, почувствовав странное удовольствие разговаривать вместе о своем «решении». Они любили обмениваться мнениями об отношениях с князьями, с министрами, с парламентом. Так редко случается найти собрата, когда становишься первым министром. Вполне естественно чувствовать симпатию к нему.

Однако Бисмарк считал себя выше, потому что был еще более развязным и еще большим циником. У лорда Биконсфилда были слабые места, он был уязвим: как только нападали на его романтические идеи, он слабо сопротивлялся. Бисмарк следил за игрой честолюбий, любил их сталкивать и пользовался их слабостями.

Биконсфилд, со своей стороны, угадывал отдаленные цели канцлера. Когда они, стоя перед картой земного шара, вели спор по вопросу о колонизации, против которой Бисмарк считал нужным высказываться из политических соображений, указательный палец Биконсфилда блуждал по балканским провинциям. «Не находите ли в ы , — сказал о н , — что и здесь имеется очень неплохая почва для колонизации?»

Бисмарк взглянул на него и ничего не ответил.

* *
*

После этого большого дня конгресс сразу превратился в будни. Парламентская жизнь, более волнующая, была бы более по вкусу Биконсфилду, если бы он не страдал подагрой.

Он не только полюбил Бисмарка, но даже Горчаков стал его другом. «Так тяжело отказать в чем-нибудь

* «Старый еврей, вот это человек!»

этой милой старой лисице, которая кажется целиком пропитанной елеем доброты».

Время было подобно «сну в летнюю ночь». Однажды вечером была совершена поездка в Потсдам, в столицу королевства Рококо. На следующий день был обед в турецком посольстве, лучший из всех обедов, с удивительным пловом, которого господин Ваддингтон поел дважды. Затем был обед у банкира Блейхрёдера, где играли только Вагнера.

На улицах на Биконсфилда смотрели во все глаза. Книжные магазины принуждены были телеграфировать в Англию заказы на новые экземпляры его романов. Библиотеки для чтения закупили у Таухница * полные комплекты его сочинений.

На третьей неделе конгресса «взорвалась бомба». Договор Шувалова об Армении был предан гласности английской газетой «Глоб», которой была продана копия договора одним переписчиком Министерства иностранных дел.

Возбуждение Англии было громадное. Приобретение Кипра еще держалось в тайне; не видели никаких компенсаций завоеваниям России в Азии.

Пресса подняла такой шум, что английские уполномоченные поспешили взять обратно свои уступки.

«Бисмарк создавал инциденты, чтобы иметь удовольствие улаживать их». Для его положительного и точного ума, всесторонне осведомленного, торжественные пререкания этих износившихся персонажей казались просто смешными. Ни Горчаков, ни Биконсфилд не были географами.

Горчаков любил, как он сам говорил, парить, «проводить магистрали», то есть просто сочинял фразы, но перед картой пасовал, не умел найти Батума. Шувалов совершенно растерялся, когда его начальник сказал ему, что оставит себе вопрос об азиатской границе и будет обсуждать его сам непосредственно с Биконсфилдом.

— Как так? — возразил лорд Солсбери, когда Шувалов передал ему эту новость. — Но, мой дорогой граф, лорд Биконсфилд не может вести переговоров: он отродясь не видывал карты Малой Азии.

Несколько часов спустя конгресс с радостью узнал, что согласие было полным. Князь Бисмарк созвал торжественное полное заседание. Биконсфилда и Горча-

* Одна из самых крупных издательских фирм в Германии. — *Прим. перев.*

кова посадили вместе, бок о бок, чтобы они могли объяснить пункты договора. Каждый раскрыл свою карту новой границы, но обе карты были разные. Никто никогда не мог понять, что произошло. Шувалов полагал, что Горчаков получил от русского генерального штаба карты с двумя вариантами границ: на одной была проведена желательная граница, на другой были обозначены крайние пределы уступок; по ошибке он и передал вторую карту лорду Биконсфилду. Корри же думал, что русский министр намеревался обмануть после заключения договора английскую делегацию.

Как бы то ни было, оба больных старика стали обличать друг друга в проделках с такой резкостью и так комично, что «насмешник» Бисмарк предложил прервать заседание на полчаса с тем, чтобы Шувалов, Солсбери и князь Гогенлоэ смогли во время этого антракта разрешить вопрос. Согласие было достигнуто на среднем варианте.

На следующий день англичане опубликовали соглашение относительно Кипра. На этот раз британское общество было полно восторга. Этот плацдарм на самом востоке, это английское Средиземноморье в особенности воодушевляло. Даже за границей раздавались похвалы дизраэлитской смелости такого «хода». «Английские традиции не совсем умерли, — писал «Журналь де Деба». — Они продолжают жить в сознании одной женщины и одного старого государственного деятеля».

* *
*

Великолепная встреча была устроена вернувшимся в Лондон участникам конгресса. Вокзал Черинг-Кросс был разубран флагами всех наций, участвовавших в конгрессе. Пальмы, кущи герани украшали набережную. Гирлянды роз обвивали колонны. Огромная толпа стояла в ожидании. Когда первый министр вышел из вагона, к нему подошли с приветствиями герцоги Нортумберленд, Сутерленд, Аберкорн, Бедфорд, лорд-мэр и шерифы Лондона. Были при встрече и Джон Маннерс и сэр Роберт Пиль, сын великого Пиля. Старик, с трудом опираясь на руку лорда Солсбери, шел сквозь двойную шеренгу, состоявшую из пэров, пэресс и членов парламента.

При выходе с вокзала он был встречен громом возгласов и приветствий. Трафальгарский сквер представ-

лял собой море человеческих голов. Махали шляпами и платками.

Женщины кидали в коляску цветы.

Дома, на Даунинг-стрит, убранной красной материей, его ждала громадная корзина цветов, посланная королевой.

Так как возгласы народа не прекращались, он должен был появиться на балконе с лордом Солсбери и обратиться к толпе: «Мы принесли вам мир, как мне кажется, с честью».

Несколько дней спустя в Осборне он получил, стоя на коленях, от королевы голубую ленту ордена Подвязки.

Она написала ему: «Мал и велик, все, вся страна в восторге, кроме одного мистера Гладстона, злого безумца».

IX

АФГАНЦЫ, ЗУЛУСЫ И ДОЖДИ

Если бы лорд Биконфилд назначил выборы сейчас же после Берлинского конгресса, он обеспечил бы себе могущество еще на шесть лет. Но парламенту оставалось существовать в прежнем составе еще два года; это были все люди, преданные Дизраэли; кабинет решил поэтому ждать, пока парламент сам умрет естественной смертью. Это значило слишком рассчитывать на благосклонность судьбы. Стране быстро надоедают великие люди, которых она сама же создала; надо проверять ее любовь, пока еще можно рассчитывать на успех.

Через несколько недель после триумфа горизонт слегка потемнел. Уже давно русские кокетничали с эмиром Афганистана, гористые владения которого сторожили путь в Индию. Русские, сговорившись с эмиром, послали свою миссию в Кабул, столицу Афганистана. Литтон, вице-король Индии, был недоволен чужим успехом. Первый министр выбрал на этот пост сына своего друга, потому что молодой человек отличался воображением, честолюбием и сильной волей. Дальнейшие события показали, что всего этого у него было даже слишком много. Против желаний вожда, желавшего путем мирных переговоров заставить Россию отозвать свою миссию, он по своей инициативе отправил в Кабул английскую миссию. Эмир задержал посланных

Литтоном при въезде в афганские владения, и Биконсфилд таким образом был внезапно поставлен перед необходимостью или позорно склониться перед маленьким диким царьком, или начать опасную войну. Он был очень раздражен: «Когда вице-король или командующий армией осмеливаются ослушаться приказаний, они должны быть хотя бы уверены в успехе своих действий». Снова Гладстон и его приверженцы кричали о ненужной войне, протестовали против нелиберальной и агрессивной политики Биконсфилда, и на этот раз доброжелатели предупредили его, что страна вторит Гладстону. Следовало ли открыто напасть на Литтона, доказать, что правительство тут не при чем, погубив подчиненного? Это было противно убеждениям первого министра. Литтона сильно побранили, но поддержали. Генерал Робертс заставил войска эмира обратиться в бегство. Оппозиция стусевалась, как это всегда бывает перед лицом победы, и страна опять возымела доверие к Биконсфилду.

Но когда гнев богов возбужден, не так-то легко его успокоить. Промышленность процветала уже в течение нескольких лет. Вдруг развился кризис. Такие неприятности случаются периодически. Причиной этого кризиса был плохой урожай. Но кого же бранить, как не правительство? Оппозиция жаловалась на бездействие министров. Министрам было бы очень трудно сделать из плохого урожая хороший или добыть заказы для индустрии. Но они были министрами и должны были хоть что-нибудь сделать. «Вы правы, — писал лорд Биконсфилд леди Блэдфорд, — думая, что делом, отнимающим у меня большую часть времени, является общий кризис, но не знаю, что делать. Столько у всех планов, проектов и доводов, что в общем нет ни проекта, ни плана... Больше всего боюсь, как бы оппозиция, которая вообще никогда не стесняется, не воспользовалась этим предложением для усиления своей партии. Если мы не поддержим их планов, мы будем заклеены, как плохие патриоты, если поддержим, вся слава выпадет на их долю». В эти минуты одиночества он вспоминал о картошке, которую выращивал Пиль.

* *
*

Собака, как говорится, была зарыта в том, что при управлении такой большой империей каждую минуту

грозили неприятности в самых отдаленных уголках мира. Еще не потухла война с Афганистаном, как вспыхнуло восстание в Южной Африке. Там долго жили бок о бок три враждебные друг другу власти: на мысе — англичане, в Трансваале — голландские буры и в Зулуленде — негры. Министр колоний Карнарвон, которому удалось провести в Канаде федеративную политику и объединить соперничавшие государства в один доминион, подобно всем избалованным успехом людям, был уверен, что его рецепт годится для всяких других конфликтов. Он считал себя способным провести принцип федерализма в целом мире. Желая подготовить объединение Южной Африки, он присоединил к Англии Трансвааль. Это выбило из строя любимых противников зулусов — буров, и зулусы повернулись против англичан. Лорд Челмсфорд, командовавший войсками, грешил чрезмерной доверчивостью, и внезапно, совершенно без всякой подготовки, в Англии узнали, что произошло несчастье, что штаб лорда Челмсфорда окружен и что негры убили и взяли в плен тысячу пятьсот человек. На этот раз страна возмутилась. Пока консервативное министерство несло ей «мир и честь», все были в восторге. Но когда обыватель Джон Буль увидел, что его вовлекли в нелепые и трудные войны в четырех концах света, он сказал себе, что Гладстон, пожалуй, не совсем уж неправ, говоря о вреде колоний и о безумной политике соперника.

В довершение несчастий молодой французский принц, сын Наполеона III, захотел сражаться в Южной Африке. Биконсфилд сделал все возможное, чтобы помешать этому, но королева и императрица Евгения так настаивали, что он должен был уступить. «Что поделаешь с двумя упрямыми женщинами?» В первых числах июня 1879 года принц был убит зулусами в незначительной атаке на передовых позициях. Королева, очень его любившая, была в большом горе. Чувствуя себя несколько ответственной за его смерть, она захотела успокоить свою совесть, устроив убитому принцу пышные похороны. Первый министр запротестовал. Что скажет французское республиканское правительство, если почести, подобающие одним только королям, будут возданы члену семьи Бонапарта? Королева рассердилась. Ах, как все плохо складывалось! Раздраженный Биконсфилд проклял «Фею», лорда Челмсфорда и зулусов. «Что за восхитительный народ, — сказал он с го-

речью, — он убивает наших генералов, переводит в свою веру епископов и пишет «конец» на истории французской династии!» Он пытался шутить, но королева думала; она принимала его у себя не иначе как официально и холодно. Он страдал от этого. «Мне нужно или полной любви или полного одиночества...» Он написал придворной даме королевы, маркизе д'Эли, дерзкое и искреннее письмо, которое, он это знал, будет показано королеве: «Мне тяжело, и даже очень, думать, что мои слова или поступки могут не нравиться Ее Величеству. Я люблю королеву. Может быть, она единственный человек во всем мире, которого я еще могу любить. Вы должны понять, как меня тревожит и беспокоит, когда я чувствую, что между нами легла какая-то тень. Это, конечно, очень наивно, но мое сердце, к несчастью, не состарилось вместе с телом, и, когда оно уколото, я в таком же отчаянии, как и пятьдесят лет тому назад».

Его вызвали телеграммой в Виндзор. «Фея» встретила его кротко и приветливо; она не упоминала больше о своем недовольстве; было ясно, что она прочла письмо. Не всегда бывает бесполезно уметь писать романы. Но, впрочем, он действительно любил королеву.

Наконец к августу 1879 года все, казалось, поуспокоилось. Во владениях султана не осталось ни одного русского солдата; в Индии — английская миссия была водворена в Кабуле; в Южной Африке Уолсли взял в плен вождя зулусов. Единственной опасностью для министерства была теперь дурная погода, и ни Робертс, ни Уолсли не были в силах ее изменить. Можно было ждать пятого по счету неурожая. В Хэггендэне и днем и ночью шел дождь. Биконсфилд гулял во время этого потопа, скользил по густой грязи и спрашивал у своих фермеров: «А что, не вернулась ли голубка в ковчег?» Павлины, утопая в лужах, растеряли почти все перья, но еще разгуливали с победоносным видом, гордясь своей уже несуществующей красотой.

И вот тут-то первый министр неожиданно получил потрясающую новость: убита вся английская миссия в Кабуле. Действительно, на этот раз ему не везло.

* *
*

В Англии, уж во всяком случае, был один человек, видевший в этих убийствах, поражениях, в ливнях не неизбежные провалы в волнах времени, но наказание,

посланное богом, владыкой небесных сил, за то, что народ возбудил его гнев, принося жертвы языческому богу. Для Гладстона политика Биконсфилда была страшной ересью, загрязнившей душу английского народа, приводившей его к борьбе против всех наций в мире и возлагавшей на народ какие-то повинности. Теперь страна начинала прозревать, думал он, и понимала, что слушалась голоса несправедливого пророка. Появилось много признаков, внушавших надежды на то, что страна об этом пожалеет. В таком случае разве не становилось долгом Гладстона встать опять у руля власти, чтобы резко повернуть его обратно? Многочисленные письма к нему выражали эту просьбу. Один шотландский профессор прислал ему собственноручно переписанные афоризмы Гёте: «Как человек может постичь самого себя? Созерцанием? Само собой разумеется, нет. Только действием. Попробуйте выполнить свой долг, и вы поймете, зачем вы созданы. Но в чем же заключается ваш долг? В том, чего требует от вас момент». Другой почитатель писал Гладстону, что дети его называют Гладстона святым Уильямом. Да, он действительно прекрасно сознавал, что его миссия состояла в том, чтобы стать именно теперь, более чем когда-либо, первым министром. Но как быть? Ведь он торжественно объявил, что покидает пост лидера партии. Он имел неосторожность доложить об этом королеве и повторять ей это неоднократно. Конечно, она постаралась хорошенько запомнить его слова. Он предоставил возможность Хартингтону и Гренвиллу занять руководящее положение. Как же можно удалить их с этих постов без скандала и в момент их наибольшего успеха? Да, кроме того, стремился ли он к этому? Разве он не жаждал отдыха, чтобы приготовиться к смерти? Но между тем Гладстон все уже предвидел в глубине души и намечал пытливым и тонким умом окольные и верные пути.

Чтобы обеспечить себе выборный округ в Шотландии, Гладстон наметил Мидлоттиан и отправился туда в 1879 году, хотя никто не объявлял ни о каких выборах. Его поездка превратилась в триумфальное шествие. На станциях, где останавливался поезд, собирались тысячи людей, пришедших из далеких деревень, чтобы попытаться взглянуть на великого старца. На покрытых снегом холмах собирались возбужденные армии слушателей. Если где-нибудь городская зала вмещала

шестьсот человек, то желающих попасть в нее оказывалось пятьдесят тысяч. Гладстону приходилось произносить по три, по четыре, по пять речей в день. Казалось, что мистические, звучные и длинные фразы разворачивались в непрерывную ленту с утра до ночи. Народ слушал и восхищался. Гладстон говорил ему, что он и не думает критиковать ту или иную политическую меру, но предлагает выбрать между двумя моральями. В течение пяти лет им всем вбивали в голову речи об интересах Британской империи, о границах, установленных научным путем, о новом Гибралтаре. А результат? Россия выросла и настроилась враждебно. Европа в смятении, Индия охвачена войной, на африканском материке расплывается большое кровавое пятно. Почему все это происходит? Потому что мир знает не только политические неизбежные доктрины, в мире существует еще и мораль, мораль необходимая. «Памятуйте, что чистота жизни в деревнях Афганистана, занесенных зимой снегами, должна быть так же ненарушима в глазах всемогущего, как и в ваших деревнях».

Красивый профиль хищной птицы, пронзительные глаза, голос, несмолкаемая мощь которого казалась чудом, высокое и полное религиозности чувство морали — все это наполняло шотландских крестьян, людей набожных, восхищением, граничащим с болезненностью; им казалось, что они слышат божественное слово из уст пророка.

Поездка в Мидлотиан взбудоражила всю страну. Неизмеримые речи Гладстона заполняли собой столбцы газет. Вся пуританская Англия, столь могущественная, следила за этим шествием страстей гладстоновых. С этого времени началась, казалось, борьба между Мидлотианом и Макиавелли, между Гладстоном и Сатаной. Консерваторы издевались, как могли. Один из них подсчитал, что Гладстон уже произнес восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок слов. Что же касается «князя тьмы», то он, сидя в Лондоне, выполнял с тоской текущую ежедневную работу первого министра. Декабрьские туманы и заморозки заставили его уйти в с-я. Этот производимый Гладстоном шум, эта комедия морали, эта нечестивая и заносчивая претензия представлять и истолковывать божественную волю — все это утомляло Биконсфилда. Физическая крепость его соперника, безжалостная мощь этого голоса раздража-

ли его. Когда все кончилось, он написал одному из министров: «Наконец-то прекратился дождь истерических фраз. Несомненно, это большое облегчение, но я никогда не прочел из всего этого ни одного слова. *Satis eloquentiae, sapientiae parum* [Довольно много красноречия, но мало благоразумия]».

А когда ему самому пришлось выступить с речью на ежегодном банкете, даваемом лордом-мэром, где промышленники из Сити по обычаю, освященному долголетней традицией, устаиваются чести беседовать после супа из черепахи с самим первым министром, Биконсфилд гордо подчеркнул незыблемую правильность своей политики. «До тех пор, пока могущество Англии будет давать знать о себе на европейском материке, мир будет обеспечен, и, я надеюсь, обеспечен на долгий период. Если же мы будем сдержанны, война становится, по-видимому, неизбежной. Я говорю об этом с полным доверием лондонским гражданам, так как знаю, что они не стыдятся той империи, которую создали их предки; потому что я знаю, что они не стыдятся высокоблагородного чувства патриотизма, осмеянного теперь некоторыми философами; потому что я знаю, что они не дадут убедить себя в том, что, поддерживая свою империю, они рискуют потерять свободу. Когда одного из великих римлян спросили, что представляет собой его политика, он ответил: *Imperium et libertas* [власть и свобода]. Это, пожалуй, неплохая политическая программа и для британского министра; от нее не отступит ни один из советников Ее Величества».

Х

ВНЕШНИЙ МИР

«То, что серьезно, не всегда бывает верно», — писал однажды Биконсфилд королеве и мог бы с удовольствием прибавить: «То, что кажется моральным, не всегда морально», но английский избиратель и серьезен и морален, а тот, кто сумеет представить деловой вопрос в виде вопроса совести, получает от него голос, по крайней мере в провинции.

Избирательная борьба была, собственно говоря, поединком между Биконсфилдом и Гладстоном. В Лондоне из них обоих популярнее был Биконсфилд. Не только тори, но и умеренные либералы переносили

свое доверие на него и испытывали ужас перед Гладстоном. Для мелкого обывательского населения Биконсфилд сделался целым учреждением. Если он нанимал кэб, кучер говорил ему: «Я знаю, кто вы, сэр, я все ваши книги читал». Когда он возвращался из Палаты лордов в пальто с меховым воротником, которое болталось на его исхудалом теле, и, опираясь на руку своего верного Корри, медленно проходил по парку, останавливаясь порой, чтобы перевести дыхание, прохожие узнавали его и изумлялись мужеству этого старого человека, наполовину уже неживого, но оглядывавшего с живостью и доброжелательностью грустным взглядом окружающую жизнь. Иногда уличные проститутки, в золотистых сумерках охотясь за мужчинами, подходили к нему, привлеченные меховым воротником, и робко, шепотком предлагали свои бесстыжие услуги. Старый министр с трудом подносил руку к шляпе и отвечал очень вежливо: «Не сегодня, милочка, не сегодня». Почти во всех слоях общества женщины были за него. На обеде в театре «Веселые девицы» танцовщицам был предложен вопрос: «За кого вы хотели бы выйти замуж: за Гладстона или Дизраэли?» Все эти хорошенькие девушки выбрали Дизраэли; только одна сказала: «За Гладстона» — и вызвала этим возмущение остальных. «Постойте, — возразила она, — я бы вышла за Гладстона для того, чтобы потом меня похитил Дизраэли и чтобы посмотреть, в каких дураках останется Гладстон».

Один молодой лорд, бывший на этом обеде, передал Биконсфилду ответы девушек и поздравил его с широкой популярностью. «Вы должны быть довольны, — сказал он, — я вчера видел королеву, которая считает вас самым великим человеком во всей стране, и танцовщиц, которые все влюблены в вас». Неподвижное лицо старика слегка просияло: «Я, конечно, очень рад этому, вы знаете мои нежные чувства решительно ко всем женщинам». Но когда он вздумал рассказать эту историю после какого-то заседания, министры отнеслись очень холодно и переглянулись.

Партия в этот тревожный боевой момент удивлялась безразличию вождя. Говоря с одним молодым, только что избранным депутатом, он не нашел ничего лучше, как завести речь о «Вечном жиде», о Байроне, которого он назвал своим «вторым я», и о собаках леди Блэдфорд. Приехавшему из Египта

эзру Эвелину Бэрингу он стал хвалить иезуитов и спрашивал его во всех подробностях о нильских пеликанах. Даже в переписке с королевой он сворачивал с пути политики в сторону искусства: «Лорд Биконсфилд только что перечел во время вечерних досугов несколько пьес Шекспира, среди них «Сон в летнюю ночь». Он не читал их целых четверть века. Что особенно поразило его теперь, это то, что интрига «Сна в летнюю ночь» происходит майской ночью. Откуда же это несоответствующее заглавие? У Вашего Величества много вкуса и культуры: может быть, вы сможете, государыня, подумать над этим и объяснить загадку».

Королева и танцовщицы не были избирателями. В шотландских деревушках никто не колебался между «Пророком» и «Чародеем». Уже результаты предвыборных выборов показали, что поражение консерваторов будет еще решительнее, чем шесть лет тому назад было поражение либералов. Страна, изживая сельскохозяйственный и финансовый кризис, страдала и, как все большие, бросалась в противоположную сторону, надеясь найти облегчение.

Консерваторы были раздавлены. «У нас голова идет кругом, — писал Гладстон, — от событий последних двух недель, которые доставили удовольствие, я уверен в этом, большинству цивилизованного мира». Наконец-то дровосеку можно было рубить экзотическую и нездоровую флору, разросшуюся за последние шесть лет и протянувшую зловещие побеги над добродетельными английскими лужайками. Он уже засучивал рукава на своих все еще могучих руках.

Биконсфилд встретил поражение с большим спокойствием. Значит, прежде чем умереть, ему удастся немного отдохнуть среди природы и книг. Он жалел только об одном, что в такой трудный момент придется отдать в чужие руки внешнюю политику, а главное, покинуть королеву.

«Фея» была в Бадене и не хотела верить сообщением. Когда результаты выборов были окончательно объявлены, она телеграфировала: «Жизнь будет теперь для меня полна забот и огорчений; я рассматриваю все это, как общественное несчастье». Биконсфилд ответил, что ему тоже тяжело отказаться от бесед, во время которых Ее Величество удостаивало его доверием, касаясь своей личной жизни одновременно с жизнью империи, в чем он находил невыразимое удовольствие.

Королева потребовала обещания не покидать ее, давать ей советы в ее частных делах и даже в государственных, чтобы, числясь в оппозиции, он все же мог влиять на судьбы Англии.

Оба они, и королева и министр, наивно надеялись, что избавятся от Гладстона. В сущности, официальными лидерами партии были Гренвилл и Хартингтон. Ничто не мешало королеве назначить одного из них первым министром, хотя бы «Харти-Тарти», который в оппозиции вел себя идеально. Дизраэли тоже всегда любил Хартингтона, с того самого дня, когда увидел, как Хартингтон, в то время юный депутат, зевал, слушая его первую речь. Но Гладстон разрушил эти несложные планы со своим обычным самоуверенным смирением. Гренвилл и Хартингтон после тайного, но очень ясного разговора с ним поняли, что он свергнет всякое министерство, во главе которого не будет стоять сам. Королеве пришлось подчиниться.

Итак, пришел конец приятным политическим беседам. Прощальная аудиенция была печальна; королева подарила старому другу свой бронзовый бюст и алебастровую статуэтку своего пони. Биконсфилд поцеловал у королевы руку; она взяла обещание, что он часто будет писать и навещать ее. Ей бы хотелось выразить свою признательность чем-нибудь более существенным, сделать его по крайней мере герцогом, но он ответил, что в виду его поражения на выборах это будет ошибкой и оскорбит народ. Дизраэли попросил только одной милости: сделать пэром Монтэгю Корри. Последний стал таким образом лордом Раутоном, что было неслыханной милостью для скромного личного секретаря. «Никогда не видели ничего подобного, — говорили завистники, — со времен императора Калигулы, который сделал консулом своего жеребца».

Биконсфилд сдержал обещание и иногда бывал у королевы. В первый же раз, когда он обедал в Виндзоре, через несколько недель после того, как ушел от власти, она сказала ему: «Я так счастлива сегодня, что все происшедшее кажется мне кошмарным сном». Он нашел, что она оживлена, очаровательна, даже хороша собой, и лишний раз убедился в том, что очень ее любит. Она по-прежнему писала ему, иногда — просто для того, чтобы сказать несколько милых слов: «Думаю о Вас, и даже непрерывно; рада, когда после обеда Ваш портрет смотрит на меня со стены»; иногда — чтобы, вопреки

конституции, посоветоваться о государственных делах. Он был настолько молчалив и тактичен, что у королевы никогда не выходило из-за этого неприятностей.

Всю свою жизнь, повинаясь какому-то правильному ритму, он переходил от действия к творчеству; и на этот раз, несмотря на преклонный возраст, он задумал что-нибудь написать. «Когда мне хочется прочесть роман, я сам пишу его». Да и, в самом деле, кто мог бы написать роман ему по вкусу? Надо было, чтобы честолюбивый герой становился на последней странице первым министром, чтобы таинственные влияния и королевские милости упрочили его судьбу. «Эндимион» Дизраэли — история молодого политического деятеля, достигшего успеха при помощи женской дружбы. На первых же страницах появляется идеальная сестра, в которой смутно виден облик Сары, и через всю книгу тянется интрига прекрасных заговорщиц, толкающая слабого Эндимиона в парламент. В книге было немало недостатков, но она пленяла отражением сильной, нетронутой любви старика ко всему молодому.

Лорд Раутон взял на себя хлопоты по продаже авторских прав и выручил десять тысяч фунтов. На эти деньги был наконец нанят и отмеблирован для Биконсфилда новый дом в Лондоне с контрактом на девять лет. «Хватит мне до самой смерти», — сказал он. Роман был встречен с любопытством, но имел меньше успеха, чем «Лотар». Издатель сказал Биконсфилду, что теряет на этом деле, и автор великодушно предложил расторгнуть договор. Лонгман отказался, и второе, популярное, издание романа покрыло недостающую сумму.

* *
*

Биконсфилду было семьдесят шесть лет. Погоня за властью потеряла для него всякую прелесть; он больше не верил в ее необходимость. «Мне пришлось видеть за мою долгую жизнь, что такое активность, — говорил он. — Это — существование, полное обманутых надежд и попусту растроченной энергии». Ум его, срывая колос за колосом на широкой ниве воспоминаний, собирал вместе с ним опыт и скромность. Он видел когда-то, как ожесточенные виги голосовали за реформу, первым результатом которой было их же падение, а тори восторжествовали благодаря этой же ненавистной для них реформе. Он видел эмансипацию католиков, произве-

денную Пилем после того, как он, Дизраэли, свергнув Пиля, сам же оставил попытку протекционизма; и сейчас он был свидетелем того, как Гладстон угрожал России, успев перед этим проклясть Биконсфилда. Он слышал, как толпа сначала приветствовала, потом освистала Веллингтона; приветствовала, проклинала, потом опять молилась на Гладстона. Он видел, как самый мирно настроенный из министров вел наиболее воинственную политику, а самая германophileствующая королева с удовольствием сражалась с Бисмарком. А каковы будут через пятьдесят лет результаты его собственной политики по отношению к Берлину?

Что касается его самого, то он остался необычайно верен своим идеям юности, и программа, выработанная им в 1880 году, могла бы быть подписана самим Конингсби. Но в то время, когда он писал «Конингсби», он верил в почти неограниченное могущество гениальной личности, теперь же он признавал безмерную силу внешнего мира. Не то, чтобы он был разочарован или разочаровывал других, но он просто стал скромн, бесконечно скромн. Когда-то, гуляя в тени ветвей в Дипдене, Смит, Маннерс и Диззи думали, что великий человек, опираясь на церковь и на молодую аристократию, мог бы переделать Англию. Теперь, состарившись, Биконсфилд видел, что церковь — это собрание завистливых священников, кандидатов в епископы и соперничающих сектантов, а что касается молодых аристократов, то они умели иногда быть восхитительными друзьями, но этот класс отнюдь не являлся питомником прирожденных вождей, которых Диззи описал с такой любовью. Он когда-то хотел дать романтический идеал всему народу: это ему не удалось. Это ему не удалось именно потому, что он был аристократом по духу, а дух Англии — это характер ее средних классов.

Но он потерпел неудачу только относительно. Ничто бы не доставило ему большей неприятности, как если бы кто-нибудь истолковал ее как полное трагизма духовное опустошение. Из бывших до него группировок он создал великую партию. Он восстановил равновесие между историей и силами, влиявшими на нее. Благодаря его политике Англия сможет приобрести здоровый ритм исторических чередований. Жизнь его не прошла даром. Только он стал все недоверчивее относиться к словам, искал глубоко скрытую под ними подлинную сущность; все чаще это подлинное находил он в отдель-

ной личности и в высшем ее проявлении — в нации, образующей государство, которое, эволюционируя, само становится личностью. Некоторые политические мыслители утверждали, что под конец своей жизни Дизраэли стал вигом и наиболее либеральным из них всех. Правдой же было то, что если он еще и принадлежал к партии, то только из одной порядочности. Если бы его спросили: «Какая конституция лучше всего?», он охотно бы ответил, как Солон: «Смотря для кого и когда».

Главное же, он сохранил всю свою любовь к изумительному приключению, которым для него была жизнь. Он не разуверился в силе наших действенных поступков, но он хотел, чтобы они были взвешенными и умеренными. Он только перестал верить в широкие замыслы. «Это было единственное в своем роде и забавное явление: старый романтик, которого уже не обманешь романтической иллюзией, но который все еще тянется к ней, какой-то пламенный циник». В некоторых отношениях его старость была даже счастливее юности: «В молодости все кажется очень важным, непоправимым, старики же знают, что все улаживается, но более или менее плохо». Любознательность еще жила в нем; он любил окружать себя новыми людьми, без конца хлопотал, чтобы привлечь в консервативную партию молодых образованных деятелей. «Партия гибнет, — говорил о н , — если в нее не вливаются постоянно молодые и энергичные люди».

В 1881 году Гайндман, один из первых английских социалистов, попросил свидания у Биконсфилда. Как ни парадоксально это было, но он надеялся убедить его и добиться через него поддержки консерваторов для проведения некоторых законопроектов, касавшихся рабочих. Он читал «Сибилу» и его роднила со старым вождем общая симпатия к народу. Он был принят; его провели в красную с золотом гостиную, где стояли чересчур позолоченные кресла, обтянутые алым бархатом. Гайндман подождал с минуту, дверь отворилась, и странная фигура появилась на пороге: старик в длинном красивом халате, в красной феске, с головой, упавшей на грудь, причем один глаз его был закрыт совсем, другой — полуоткрыт. Из-под фески выглядывал блестящий напомаженный завиток последнего черного локона. Это было что-то такое измученное, такое ветхое, что молодой человек на минуту пришел в отчаяние. «А х , — подумал о н , — слишком поздно! Заставлю ли

я его поднять веки? Неужели он ответит усталой и саркастической эпиграммой?»

Старик сел, застывший, неподвижный. Он ждал. Но как заговорить со статуей? «Лорд Биконсфилд, — сказал робко Гайндман, — «мир и честь» — мертвая фраза; «мир и комфорт» — это то, чего хотелось бы народу». Одна бровь приподнялась. «Мир и комфорт? Это вы неплохо сказали. — Он открыл оба глаза и улыбнулся. — Я думаю, у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу, мистер Гайндман? Что вы подразумеваете под комфортом, а?»

«Вволю пить и есть, жить в удобном доме, получить полное образование и достаточный отдых».

— Утопия по заказу? Прекрасные мечты, да... И вы думаете, что у вас есть хоть какие-нибудь шансы провести в жизнь эту политику?... Только не при помощи консервативной партии, уверяю вас. Как только вы начнете действовать, вас окружит целая плеяда знатных семей, мужчин и особенно женщин, которые будут вставлять палки в колеса. Видите ли, мистер Гайндман, Англия — это страна, которую очень трудно сдвинуть с места... Страна, где надо быть готовым больше к разочарованию, чем к успеху. Можно заставить ее сделать вот это (и ладони лорда Биконсфилда, прижатые одна к другой, слегка раздвинулись, медленно, одна к другой, с трудом, как будто старый министр двигал горы), можно даже добиться немного большего... (ладони еще чуть-чуть раздвинулись), но никогда не добьетесь вот этого...

И костлявые руки мумии, сделав последнее и тщетное усилие раскрыться пошире, беспомощно упали на колени.

XI

ЕГО ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТОК

Хэггендэн, одиночество, книги и воспоминания. «Целых две недели я не говорил ни с одним человеком», — пишет он герцогине Рэтленд. Для него это огромный успех. «В течение трех недель я вряд ли перекинулся с кем-нибудь несколькими словами; мне всегда ново наслаждение жить летом в деревне. Неподвижные павлины греются на солнце посреди зеленой бархатистой лужайки. Они столько же молчаливы, сколько

неподвижны, и это как раз то, что мне надо. Утром они ходят, распутив веером хвост, кричат, предаются любви или драке». Он сам тоже любит погреть на солнце свое старое тело, а вечером — бродить при свете звезд, в час, излюбленный Шекспиром, когда летучие мыши трепещут на серых скользящих крыльях. Он по-прежнему окружает себя цветами, начиная с подснежников и фиалок, переходя к гардениям и орхидеям. После цветов он больше всего любит прекрасные лица и воздушную пугливую грацию, которой обладают иногда дети и женщины. В молодости он мечтал, чтобы его жизнь была сверкающим и непрерывным достижением; она такой и была; теперь, устав от ослепительного мелькания событий, он жаждет только безмолвия и покоя. Когда спешные прения вызывают его в Палату лордов, он возвращается домой с вечерним поездом: «Не могу устоять перед прелестью грустного зова кукушки, перед воркованием диких голубей, перед пламенем алого шиповника».

* *
*

Рождество 1880 года он провел в Хэггендэне один. Он садился обедать с книгой в руках и после каждого блюда посвящал десять минут чтению. Чаще всего он читал историю Венецианской республики, которой интересовался уже шестьдесят лет, иногда классиков — Лукиана, Горация, Феокрита, Вергилия, любимых им все больше и больше. В столовой с дубовыми панелями прямо против его стула висел портрет королевы кисти Анжели. «Фея» была изображена на нем немного сухой и черствой. Он шел в библиотеку посидеть у камина, читал еще немного, закрывал глаза и мечтал. Зов кукушки с ветвей старых тисов напоминал ему худое, усталое и такое милое лицо Мэри Энн. Ему казалось, что он слышит ее веселое щебетание, которому она храбро была верна до самой смерти. Горящее полено падало на пол. Старик поправлял огонь, разбрасывая снопы искр. Как они, блестящие и мгновенные, похожи на нашу жизнь! Вот уже прошло пятьдесят лет с тех пор, как в маленькой гостиной с белыми муслиновыми занавесями ему улыбнулись прелестные лица трех внучек Шеридана... Каролина Нортон... Какая это была красавица, как хороши были ее черные косы и фиалковые глаза... Она до конца оставалась прекрасной. «Да, —

говорила о н а , — я буду красива даже в гробу». Уже три года лежала она в могиле, оставив позади тяжелую жизнь! «Любовь, — сказала она перед смертью, — что такое любовь в нашей жизни? Я всегда вспоминаю старую домовладелицу в Брайтоне; она говорила: «Есть у вас дом — и хорошо, а все остальное — это уже роскошь». Да, любовь в нашей жизни это роскошь... И дорого приходится за нее платить». Пожилые женщины начинают прозревать истину. Даже королева дошла до нее. «Чем старше я становлюсь, — сказала о н а , — тем меньше я разбираюсь во всем, что происходит на свете... Не могу примириться с тем, что все в нем так мелко... Когда я думаю об общем легкомыслии, мне кажется, что мы все немного безумны...» Мы все немного безумны?.. Да вот, например, он сам: он всю свою жизнь только и делал, что искал чего-то. Чего? В чем нашел он подлинное счастье? В нескольких признательных взглядах Мэри Энн, в первой дружбе Маннерса, Бентинка, в доверии старика Дерби и королевы, в двух-трех улыбках леди Блэдфорд? Молодой секретарь, войдя в комнату, видит, что старик мешает камин, тяжело дышит и шепчет вполголоса: «Мечты... Мечты...»

Он идет наверх, к себе в спальню. Ему доставило удовольствие украсить зал и лестницу портретами всех тех, кто украшал его жизнь. Он называет это «галереей дружбы». Он поднимается по ступенькам медленно и с трудом и поэтому на несколько мгновений останавливается перед каждым портретом... Вот длинные локоны, обрамляющие личико леди Блэдфорд... Покойной ночи, Селина, поверхностная, прелестная... Вот мечтательные глаза и грубые черты Луи Наполеона... Байрон, которого Диззи не знал, но который тем не менее создал Диззи. Вот Тита и его длинные галльские усы... Дальше четкий профиль Линдхерста, работы д'Орсея... А вот и сам д'Орсей в обрамленьи черной бороды. «Здорово, друг!» Блэдфорд, Мэри, Дерби... последняя ступенька.



31 декабря он вернулся в Лондон. «Я хочу видеть побольше людей и привыкнуть к чудесному человеческому голосу. Не легко оторваться от абсолютного одиночества, в котором я живу, отправиться в Палату лордов и говорить об империи, которая вот-вот развалится». Говорить ему было особенно трудно: астма

мучила его теперь непрерывно. Лорд Гренвилл, лидер либералов, зная его терпение, однажды удивился, с какой почти резкой настойчивостью он требовал слова. Гренвилл даже осадил его немного. Биконсфилд молча принял выговор. Позже лорд Раутон объяснил Гренвиллу, что старик болен астмой и передышка, дающая возможность говорить, наступает только после приема лекарства, действующего на один час. «Он же мог мне объяснить», — сказал смущенный Гренвилл. Но лорд Биконсфилд никогда ничего не объяснял.

Когда ему становилось лучше, он бывал в обществе. Порой он всех очаровывал грустью, которой звучали его эпиграммы, и прелестью своей старомодной вежливости. Он славился лаконичностью, как когда-то в молодости блестящими фразами. Одной молодой женщине, протянувшей ему обнаженную руку, он просто шепнул: «Канова».

Иногда он молчал во время всего обеда, неподвижный, с бесстрастным лицом, подобный мумии набальзамированного фараона, похороненного набожными руками среди любимых вещей — хрустала, серебряных блюд и цветов.

Он пользовался уважением, несмотря на поражение во время выборов. В клубе консерваторов на самом почетном месте висел его портрет, поразительно пристальный взгляд которого привлекал все взоры. На раме был выгравирован стих Гомера: «Он один мудр, все остальные — проходящие тени». В нем, в сущности, не было ни злобы, ни сожалений. Посетив ателье сэра Джона Миллэ, он долго смотрел на набросок к портрету Гладстона. «Вам бы хотелось получить его? — спросил художник. — Я не смею вам предложить». — «Ах, я был бы в восторге. Не думайте, пожалуйста, что я когда-нибудь ненавидел Уильяма Гладстона. Нет, единственным затруднением в наших отношениях было то, что я его никогда не понимал».

В январе 1881 года были страшные морозы. Холод так действовал на лорда Биконсфилда, что он погружался в оцепенение и лежал по целым дням на диване. В эти дни краткий луч солнца был ему ценнее, чем орден Подвязки. Он просыпался только для того, чтобы написать леди Блэдфорд и леди Честерфилд. В феврале и в начале марта он смог кое-где бывать, выступал в Палате лордов, обедал с принцем Уэльским и с Харкортом; он ждал тревожно весны. Но весна не приходи-

ла. В конце марта он простудился и слег. Ему было тяжело дышать. Когда королева получила от него несколько с трудом написанных карандашом каракулей, она забеспокоилась и спросила, кто его лечит. Его лечил гомеопат, доктор Кидд. Королева хотела созвать консилиум, но врачебный обычай запрещал врачам работать совместно с гомеопатом. Воля королевы заставила забыть профессиональную вражду. Диагноз был следующий: бронхит, осложненный грудной астмой.

Вначале у докторов была надежда, но больной сказал: «Мне не вынести этого приступа. Чувствую, что это невозможно». Когда-то он писал: «Надо гордо идти навстречу смерти». Он настойчиво требовал, чтобы ему сказали, останется ли он жив, прибавляя: «Я очень хотел бы еще пожить, но я не боюсь смерти». Он с объективностью художника присутствовал при своей собственной агонии. Никогда еще у него не было столько терпения. С большим трудом, лежа, он корректировал свою последнюю речь: «Не хочу, чтобы будущие поколения назвали меня безграмотным». До конца он ненавидел мещанский комфорт. Он сказал сестре милосердия, попробовавшей подложить ему под спину гуттаперчевую подушку: «Оставьте! Уберите эти атрибуты смерти».

Королева с беспокойством следила за болезнью своего старого друга. Она несколько раз собиралась его навестить, но врачи боялись, что такой визит взволнует больного. Она каждый день телеграммой справлялась из Осборна о его здоровье. «Посылаю немного осборнских подснежников; хотела Вас навестить, но потом подумала, что Вам лучше полежать спокойно и не разговаривать. Прошу Вас быть послушным, следовать указаниям докторов и не делать неосторожностей». Благодаря ее заботам комната была полна подснежниками и фиалками. Глаза больного с удовольствием останавливались на прекрасных букетах чистейших тонов. Когда Виктории пришлось поехать на остров Уайт, она прислала гонца с письмом и цветами. Биконсфилд был слишком слаб и не мог сам читать, он нерешительно вертел письмо в руках и потом, подумав, сказал: «Надо бы, чтобы его прочел мне канцлер, лорд Баррингтон». Он всегда любил соблюдать традиции. Позвали канцлера: «Дорогой лорд Биконсфилд, посылаю Вам Ваши любимые весенние цветы...» Как шла к умирающему Дизраэли эта смесь торжественности и пасторали.

У его дома толпа народа справлялась о его здоровье. Кто-то предложил перелить свою кровь. Не хотели верить, чтобы таинственный чародей, ставший до смешного родным, мог умереть как простой смертный. Ждали чуда даже от его смерти. Но на самом деле лорд Биконсфилд был не «таинственнее всех остальных людей», и он медленно приближался к концу. 19 апреля, около двух часов ночи, доктор Кидд понял, что конец близок. Лорд Раутон стоял возле, держа правую неподвижную руку больного. Вдруг умирающий приподнялся, отбросил назад плечи, и удивленные присутствующие узнали движение, с которым он, встав, начинал свою речь в Палате. Губы его зашевелились, но друзья, наклонившись, не разобрали ни слова. Он откинулся назад и больше уже не приходил в себя.



От имени правительства Гладстон предложил пышные похороны и место в Вестминстерском аббатстве, но душеприказчики покойного думали, что ему хотелось покоиться рядом с женой на маленьком кладбище в Хэггендэне, возле церкви. Погребение было очень скромным, происходило в парке, в присутствии принца Уэльского и нескольких друзей. На гроб были возложены два венка от королевы. Один — из свежих подснежников с надписью: «Его любимые цветы». На другом королева написала собственной рукой: «В знак истинной привязанности, дружбы и уважения».

Она была в Осборне, слишком далеко, чтобы приехать на похороны, но, вернувшись, она отправилась на могилу и шла пешком до нее от самого замка, проделав весь путь похоронной процессии. Она на свои средства воздвигла в церкви памятник; на нем, под гербом пэра, был высечен мраморный профиль лорда Биконсфилда и под ним подпись:

Дорогой и почитаемой памяти
Бенджамина, графа Биконсфилда
Воздвигнут этот памятник
Его благодарной государыней и другом
Викторией R. I.

Короли любят того, кто говорит истину.

Псалом XVI, 13.

Все долго обсуждали надпись на венке королевы: «Его любимые цветы». Подснежники... Скромность выбора смущала врагов. Гладстон, обедая как-то с леди Дороти Невилл, сказал, что очень сомневается в любви Биконсфилда к этим цветам: «Ну скажите по чести, леди Дороти, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Биконсфилд выражал особое пристрастие к подснежнику? Королевская лилия была, мне кажется, больше в его вкусе».

Но на следующую весну, когда приблизилось 19 апреля — годовщина смерти Дизраэли, друзья и последователи заказали лондонским цветочницам «бутоньерки Биконсфилда», подобранные из свежих подснежников. Когда настал этот день, прохожие в Вест-Энде ходили с подснежниками на груди. Обычай стал повторяться из года в год. Была учреждена лига консерваторов, названная «Лигой подснежника». А в сквере перед парламентом каждой весной бесчисленные почитатели украшали статую Дизраэли его любимыми цветами.

Несколько лет спустя после смерти Дизраэли лорд Эустас Сесил встретился в клубе «Карлтон» с доктором Боллом. «Помните, — сказал Болл, — наши беседы с вами здесь, в библиотеке, в то далекое время, когда недовольные нашими лидерами, мы их называли «Жидом» и «Жокеем»? А вот теперь, проходя утром мимо Вестминстера, я увидел статую мистера Дизраэли всю в цветах... Да, нечего сказать! Они его почитают как святого...»

Как святого? Нет, Дизраэли никогда не был святым. Но, может, как древнего бога весны, вечно живого, как символ того, что может сделать в холодном и враждебном мире вечная юность сердца.

ИСТОЧНИКИ

Характер этой серии не позволил мне указывать внизу каждой страницы мои источники, но здесь по крайней мере можно найти список основных трудов, которыми я пользовался. Хочу особо отметить, как я обязан г-ну Боклю, в книге которого «Жизнь Дизраэли» содержится большинство из цитированных документов; г-ну Эли Халеви, чья «История английского народа в XIX веке» является лучшим введением в политическую жизнь Англии; г-ну Габриэлю Аното, который так помог мне понять трудный Берлинский конгресс; и г-ну Десмонду Маккарти, который навел меня на ценные жизненные эпизоды.

Я позволил себе, по примеру английских историков, посчитать автобиографическим рассказ о сражении в школе, который фигурирует одновременно в романе «Вивиан Грей» и в «Контарини Флеминг». Я старался быть справедливым в отношении как Пиля, так и Гладстона, но я советую читателю, если он хочет понять образ этого последнего, не искаженным восприятием Дизраэли, прочитать «Жизнь Гладстона», написанную Джоном Морли, и замечательный портрет, нарисованный Стрэчи в его книге «Генерал Гордон». Он увидит, что как друзья, так и критики, если они добросовестны и объективны, находят здесь одни и те же черты.

Бейкхот В. Очерки о парламентской реформе. 1883.

Бэринг Э. Дизраэли. 1912.

Баркли. Жизнь и воспоминания.

Брандес. Лорд Биконсфилд.

Барри О'Брайен. Джон Брайт (Смит Старший), с предисловием Огюста Биррелла.

Брайс. Исследование современной биографии (Макмиллан).

Бачэн. Эглинтонский турнир.

- Бакл и Манипенни.* Жизнь Дизраэли. 6 т.
Булвер Р. Неопубликованные письма.
Казамьян. Английский социальный роман. 1903.
Контаде Г. Граф Д'Орсе. 1892.
Клейден П.-В. Англия при лорде Биконсфилде. 1890.
Бумаги Крокера. 1884.
Кухевал-Клефиньи. Лорд Биконсфилд и его время. 1879.
Деви Л. Жизнь леди Литтон. 1887.
Кларк, сэр Эдвард. Бенджамин Дизраэли (Джон Меррей). Словарь национальных биографий.
Д'Израэли, Исаак. Сочинения, с краткой биографией его сына. 1858.
Д'Израэли, Исаак. Комментарии. 1851.
Дрю. Катарина Гладстон (Нисбет).
Эскотт Т. Г. Великие викторианцы. 1916.
Турнир в Эглинтонском дворце. 1839.
Фитцджеральд. Жизнеописание Шериданов.
Фрэнсис К. Г. Последние годы сэра Роберта Пиля. 1852.
Фрауд. Жизнь лорда Биконсфилда.
Гарнетт Р. Шелли и лорд Биконсфилд.
Гревилл. Дневник.
Гроунау Р. Г. Воспоминания.
Аното, Габриэль. История современной Франции (Берлинский конгресс).
Галеви, Эли. История английского народа XIX века.
Гарди, Гаторн. Автобиографии (Лонгман).
Гайндман Г. М. Полная приключений жизнь. 1911.
Хайэмсон А. М. История иудеев в Англии. 1908.
Гектор А. Ф. Миссис Нортон. 1897.
Джерролд, Вальтер Б. Один день с Дизраэли. 1872.
Кеббел. Речи лорда Биконсфилда. 1881.
Кент, Джон. Состязания в скачках лорда Джорджа Бентинка (Блэквуд).
Лейк, Генри. Личные воспоминания. 1891.
Ли, Эл. Жены премьер-министров. 1918.
Леги и Казаньян. История английской литературы.
Локхарт, Дж. Г. Теодор Хук. Очерк. 1875.
Литтон, граф. Жизнь Эдварда Булвера (Макмиллан, 1913).
Мэдден Р. Р. Литературная жизнь леди Блессингтон. 1855.
Мартин. Жизнь принца-консорта. 1880.
Мартин, сэр Т. Жизнь лорда Линдхерста. 1883.
Мейнелл В. Бенджамин Дизраэли. 1903.

Маккарти Дж. Сэр Роберт Пиль (премьер-министр королевы Виктории). 1906.

Монтефиоре. Дневники. 1890.

Морли, лорд. Жизнь Гладстона. 2 т. (Макмиллан).

Невилл Р.-Г. Собрание мод.

Невилл, леди Дороти. Воспоминания (Арнольд).

Невилл, леди Дороти. Жизнь и письма.

О'Коннор Т.-П. Жизнь лорда Биконсфилда (Фишер).

Пиль, Джордж. Частные письма сэра Роберта Пилия (Меррей).

Перкинс, Джейн-Г. Жизнь миссис Нортон. 1909.

Реймонд. Старый патриот.

Ремболд, сэр Г. Собрание дипломатических документов.

Спир, Моррис Эдмунд. Политические повести (Университет Мэриленда, Балтимора).

Сомервелл. Дизраэли и Гладстон.

Тревельян. Жизнь и письма лорда Маколея.

Синел, Вальтер. Дизраэли (Метуэн).

Стрэчи, Литтон. Королева Виктория.

Стрэчи, Литтон. Выдающиеся викторианцы.

Толлемач, Лайонел А. Разговоры с г-ном Гладстоном (Арнольд).

Письма королевы Виктории.

Вест. История чартистского движения.

Уиббли. Политические портреты (Макмиллан).

Уиббли. Жизнь Джона Маннерса. 1925.

Зангвилл. Сновидение гетто.

КОММЕНТАРИИ

С. 4

Эдуард I (1239—1307) — английский король (с 1272 г.) из династии Плантагенетов.

Филипп IV Красивый (1268—1314) — король Наварры (с 1284 г.), французский король (с 1285 г.).

Пуритане (англ. Puritans, от позднелат. puritas — чистота) — наименование во второй половине XVI — первой половине XVII веков английских протестантов — последователей кальвинизма, недозволенных половинчатой Реформацией, проведенной королем Генрихом VIII в форме англиканства. Пуритане требовали замены епископства выборными старейшинами (пресвитерами), удаления из церкви украшений, упрощения обрядов. Их отличали бесстрашие, упорство в достижении целей, религиозный фанатизм.

Ферфакс, Томас (1612—1671), барон Камерон — деятель Английской буржуазной революции XVII века, генерал, главнокомандующий парламентской армией (1645—1650). В 1659 году примкнул к роялистам.

Кромвель, Оливер (1599—1658) — вождь Английской буржуазной революции XVII века, один из главных организаторов парламентской армии, содействовал казни короля и провозглашению республики (1649). С 1650 года — лорд-генерал, с 1653 года — лорд-протектор.

Карл II (1630—1685) — английский король из династии Стюартов. После казни его отца Карла I (1649) был провозглашен пресвитерианским парламентом королем Шотландии. С 1660 года — английский король.

С. 5

Святой Марк (еврейское имя Иоанн) — один из четырех евангелистов. Согласно древнему преданию, Марк был первым епископом Александрийской церкви и умер мученической смертью. Считается покровителем Венеции. Собор Святого Марка был построен в византийском стиле в XI веке. Мощи Святого Марка были перенесены в собор из Александрии.

Гинейя — английская золотая монета (содержание чистого золота 7,77 г), впервые выпущена в 1663 году из золота, привезенного из Гвинеи (отсюда ее название). Выпускалась до 1813 года, после чего была заменена золотым совереном.

Комментарии составила В. Н. Попова.

С. 6

Хогарт, Уильям (1697 — 1764) — английский художник и теоретик искусства, создатель сатирических картин и гравюр, выполненных с большим знанием жизни и подлинным английским юмором («Карьера мота», «Карьера проститутки», «Модный брак»).

Эмиль — герой философско-педагогического романа Жан Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762 г.).

С. 8

Речь идет о Карле I (1600—1649) — английском короле из династии Стюартов, казненном во время Английской буржуазной революции XVII века.

Фердинанд II Арагонский, он же Фердинанд V Католик (1452—1516) — король Арагона с 1479 года, Сицилии (Фердинанд II) с 1468 года, Кастилии (Фердинанд V) в 1479 — 1504 годах (как муж королевы Кастилии Изабеллы). Объединил на основе династической унии Арагон и Кастилию, что явилось началом единого государства Испании.

С. 10

Фунт стерлингов — денежная единица Великобритании, употребляется с X века. По закону от 22 июня 1816 года монетной единицей стал соверен, который содержал 7,32 г чистого золота, то есть равнялся фунту стерлингов.

С. 11

Нонконформист (от англ. Nonconformist — несогласный) — член английской церковной организации, не признающий учения и обрядов государственной англиканской церкви. В данном случае речь идет о человеке, несогласном с господствующими взглядами.

С. 13

Бреммель, Джордж Брайен (1778—1840) — известен как Красавчик Бреммель, английский законодатель мод и щеголь, друг принца-регента. В 1816 году бежал от кредиторов во Францию, где умер в доме для умалишенных.

С. 15

Лукиан (ок. 120 или 125 — после 180) — древнегреческий сатирик, создатель антирелигиозных сатирических произведений.

Теренций, Публий (ок. 195—159 до н. э.) — римский комедиограф. «Братья» («Адельфы») — переработанная пьеса Менандра, последняя комедия Теренция. Мольер подражал ей в «Школе мужей».

«Генриада» — героическая эпопея Вольтера, изданная в 1728 году. В ней прославляется идеализированный король Генрих IV.

Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт. «Георгики» — его поэма о сельском хозяйстве.

Бахус (латинская форма имени Вакх) (Дионис) — сын Зевса и Семелы, покровитель виноградарства и виноделия.

Совет десяти — карательный орган Венецианской республики, возник в XIV веке.

Святой Игнатий Лойола (1491—1556) — испанский дворянин, в молодости офицер, основатель ордена иезуитов (1534 г.), построенного на принципах строгой военной дисциплины.

Доминик, в миру де Гусман (1170—1221) — основатель «нищенствующего» ордена доминиканцев, по происхождению дворянин

из Старой Кастилии. После смерти канонизирован (1234 г.) католической церковью.

Франциск Ассизский (наст. имя — Джованни Бернардоне) (1181 или 1182 — 1226) — итальянский религиозный деятель. В 1207—1209 годах основал братство миноритов, при содействии папства превратившегося в нищенствующий монашеский орден францисканцев. Канонизирован (1228 г.).

Речь идет об Уильяме Питте Старшем (граф Чатам) (1708—1778) — английском государственном деятеле, лидере вигов, премьер-министре и министре иностранных дел (1756 — 1761, с перерывом). Славился как блестящий оратор, поэтому его имя А. Моруа ставит рядом с ораторами Древней Греции и Древнего Рима — Демосфеном (384—322 до н. э.) и Цицероном (106—43 до н. э.).

Альберони, Хулио (или Джулио) (1664—1752); Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — кардиналы, фактические правители при безвольных монархах — испанском короле Филиппе V и французском — Людовике XIII. Их политика способствовала укреплению абсолютизма.

С. 16

Юпитер (*рим. миф.*) — верховное божество, отождествляемое с Зевсом, бог-громовержец. Славился своими любовными похождениями.

С. 17

«Дон Жуан» — сатирическая поэма, вершина творчества Джорджа Байрона.

Меррей, Джон (1778—1843) — английский издатель, печатавший произведения В. Скотта и Дж. Байрона, при содействии Б. Дизраэли издавал ежедневную газету «Репрезентатив».

Роджерс, Самюэл (1763—1855) — английский поэт, автор сборника «Утеха памяти» (1792), эпического сочинения «Колумб» (1814), путевых набросков в стихах «Италия» (1822—1828).

Мур, Томас (1779—1852) — ирландский поэт-романтик.

С. 18

6 июня 48 года до в. э. около греческого города Фарсала произошла битва между войсками Юлия Цезаря и Гнея Помпея во время гражданской войны в Риме (49—45 гг. до н. э.).

С. 19

Каннинг, Джордж (1770—1827) — английский государственный деятель, тори, член парламента с 1793 года, министр иностранных дел (1807—1809, 1822—1827), посол в Лиссабоне (1814—1816), премьер-министр (1827).

С. 20

«Куортерли Ревью» («Quarterly Review») — ежеквартальный журнал, основанный Джоном Мерреем в 1809 году.

Локхарт, Джон Гибсон (1794—1854) — шотландский писатель и издатель. Был женат на старшей дочери Вальтера Скотта Шарлотте Софии (с 1820 г.).

Фруассар, Жан (ок. 1337 — после 1404) — французский хронист и поэт. Приобрел славу как историк ратных подвигов английских и французских рыцарей.

С. 22

Скотт, Анна (1803—1833) — младшая дочь Вальтера Скотта.

С. 23

Крокер, Джон Вильсон (1780—1857) — английский политический деятель и писатель, тори, член парламента (1807—1832), выступал против парламентской реформы, отказался быть членом реформированного парламента.

Маколей, Томас Бабингтон (1800—1859), барон — английский либеральный историк, публицист и политический деятель, виг, член парламента (1839—1847 и 1852—1856), военный министр (1839—1841).

С. 26

Кольбурн, Генри (ум. в 1855 г.) — английский издатель.

С. 28

Тинторетто (наст. фамилия Робусти), Якопо (1518—1594) — итальянский художник венецианской школы.

С. 29

Рец, Жан Франсуа Поль де Гонди (1613—1679) — французский политический деятель, писатель, кардинал (с 1652 г.), участник Фронды, автор «Мемуаров» (опубликованы в 1717 г.) и «Заговора Фиеско».

Ларошфуко, Франсуа де (1613—1680), герцог — французский писатель-классицист, принимал участие в дворцовых интригах против Ришелье.

С. 30

Булвер-Литтон, Эдуард Джордж (1803—1873), 1-й барон — английский писатель-романист и драматург, видный деятель либеральной, затем консервативной партии, член парламента (с 1831 г.), министр колоний (1858—1859). Автор романов «Пелэм» (1828), «Поль Клиффорд» (1830), «Юджин Эрам» (1832), «Последние дни Помпеи» (1834), «Эрнест Мальтраверс» (1837), «Последний барон» (1843) и др.

Булвер-Литтон, Розина (урожденная Уилер) (1802—1882) — английская писательница, жена Эдуарда Булвера Литтона. После разрыва с ним опубликовала в 1839 году роман, в котором изобразила бывшего мужа самыми черными красками.

С. 32

Пиль, Роберт (1788—1850) английский государственный деятель, тори, член парламента, министр внутренних дел (1821—1827, 1828—1830), премьер-министр (1834—1835 и 1841—1846). В июне 1846 года провел отмену хлебных законов в интересах промышленной буржуазии.

Речь идет об Артуре Уэлсли, герцоге Веллингтоне (1769—1852) — английском государственном деятеле, полководце и дипломате. Крайний тори. В 1808—1813 годах командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове. Фельдмаршал (с 1813 г.). В 1814 году получил титул герцога. Командовал союзными войсками в битве при Ватерлоо (1815). Премьер министр Англии (1828—1830), главнокомандующий английской армией (1827—1852),

министр иностранных дел (1834—1835), министр без портфеля (1841—1846) в кабинетах Р. Пиля.

Монтень, Мишель де (1533—1592) — французский философ и писатель, автор «Опытов» (1580—1588).

«Потерянный рай» — поэма одного из величайших поэтов Англии Джона Мильтона (1608—1674), противника монархии.

С. 34

Альгамбра — старинная крепость и дворец мавританских халифов в Испании около Гранады. Дворец, построенный между 1248 и 1354 годами, один из прекраснейших образцов мавританской архитектуры.

Клей, Джеймс (1805—1873) — английский политический деятель, член парламента (1847 — 1873).

С. 35

Тита, Джованни Батиста Фальчери (1798—1874) — гондольер Байрона.

С. 36

Елеонская гора в Иерусалиме — здесь, согласно евангельской легенде, Христос провел ночь перед тем, как был предан Иудой, и с нее же вознесся на небо.

С. 37

Августа Байрон (1783—1851) — сводная сестра Джорджа Гордона Байрона по отцу, замужем (с 1807 г.) за драгунским полковником Джорджем Ли, конюшим принца Уэльского. Сыграла в судьбе брата исключительную роль, была для него самым близким существом на свете. Байрон посвятил ей многие свои произведения.

Августа Ада Байрон (1815—1852) — дочь Байрона и Анны Изабеллы Мильбенк. Последний раз Байрон видел ее в январе 1816 года. Стала известным английским математиком.

С. 38

Виктория Александрина (1819—1901) — королева Великобритании (1837—1901), императрица Индии (1876—1901), дочь герцога Эдуарда Кентского, внучка короля Георга III.

Сигуэл, сэр Осберт (1892 — после 1963) — английский писатель.

С. 39

Тюдоры — королевская династия в Англии (1485—1603).

Стюарты — королевская династия в Шотландии (с 1371 г.) и в Англии (1603—1649, 1660—1714).

Шеридан, Ричард Бринсли (1751—1816) — английский общественный деятель и выдающийся оратор, знаменитый драматург, директор театра «Друри-Лэйн», член парламента (1780—1812), лидер левого крыла партии вигов. Автор комедий «Соперники» (1775), «Поездка в Скарборо». (1777), «Школа злословия» (1777) и др. Умер в бедности.

Ленсдаун, Генри Петти Фитцморис (1780—1863), 3-й маркиз (с 1809 г.) — английский государственный и политический деятель, член парламента (с 1803 г.), председатель тайного совета (1830—1841, 1846—1852).

С. 40

«Хлебные законы» — название законов, регулировавших в XV—XIX веках ввоз и вывоз зерна и других продуктов земледелия. Устанавливая высокие ввозные пошлины и понижая вывозные пошлины, эти законы вели к сокращению количества сельскохозяйственных продуктов на внутреннем рынке и росту цен на них. Законы служили интересам крупных землевладельцев-лендлордов и являлись одним из средств сохранения системы лендлордизма.

Смит, Сидней (1771 — 1845) — английский писатель и журналист, священник, один из основателей журнала «Эдинбургское обозрение», блестящий собеседник и остро слов.

С. 41

Каррингтон, Смит Роберт (1752—1838), барон — член парламента (с 1779 г.), пэр (с 1797 г.), твердый сторонник торийской партии.

С. 42

Полиньяк, Огюст Жюль Арман Мари де (1780 — 1847), граф, затем князь — французский политический деятель, министр иностранных дел (с августа по ноябрь 1829 г.), председатель кабинета министров (1829—1830). Правительство Полиньяка было свергнуто во время Июльской революции 1830 года.

Сент-Джеймский дворец — королевская резиденция в Лондоне. Дворец построен при Генрихе VIII (1491—1547).

Рассел, Джон (1792 — 1878), граф — английский государственный деятель, лидер вигов, член парламента (с 1813 г.), занимал ряд государственных постов, министр иностранных дел (1852—1853 и 1859—1865), премьер-министр (1846—1852 и 1865—1866).

С. 44

Мельбурн, Уильям Лэм (1779—1848), виконт — английский государственный деятель, виг, министр внутренних дел в кабинете Грея (1830—1834), премьер-министр (1834, 1835—1841).

Дэргем, Джон Джордж Лэмбтон (1792—1840), граф — английский политический деятель, член парламента (с 1813 г.), член палаты лордов (с 1828 г.), лорд-хранитель печати в кабинете Грея (1830—1833), генерал-губернатор Канады (1838).

С. 45

Нортон, Каролина Элизабет Сара (1808—1877) — английская поэтесса и романистка, жена (с 1827 г.) адвоката Джорджа Чэпела Нортон.

С. 46

Блэквуд, Хелен Селина (1807—1867), леди Дафферин, графиня Гиффорд — английская поэтесса, автор песен.

Сеймур, Джейн Джорджина — жена (с 1830 г.) Эдварда Адольфа Сеймура, 12-го герцога Сомерсета (1804—1885), члена парламента, вига, лорда казначейства в кабинете Мельбуерна (1835—1841).

С. 47

Вагто, Антуан (1684—1721) — французский живописец и рисовальщик.

С. 49

Эллиот, Гилберт (1782—1859), лорд — старший сын генерал-губернатора Индии, с 1814 года занял его место в палате лордов.

С. 51

Лорд Стэнли, Эдвард Джеффри Смит (1799—1869), 14-й граф Дерби — английский государственный деятель, виг (до 1834 г.), затем тори, член парламента (с 1822 г.), министр колоний (1840—1844), премьер-министр (1852, 1858—1859, 1866—1868).

С. 52

Гренвилл, Ричард Темпл Нюджент Бридж Чандос (1776—1839), 1-й герцог Бэкингем и Чандос — английский государственный деятель, член парламента (1797—1813), 1-й маркиз Бэкингем (с 1813 г.), герцог Бэкингем и Чандос после женитьбы на Анне Елизавете — дочери 3-го герцога Чандоса (с 1822 г.).

Гренвилл, Ричард Плантагенет Темпл (1797—1861), 2-й герцог Бэкингем и Чандос, известен как граф Темпл (1813—1822), а позднее как маркиз Чандос (1822—1839) — писатель, член парламента (1818—1839), лорд-хранитель печати (1841—1842).

Юм, Дэвид (1711—1776) — английский философ-агностик, историк и экономист.

О'Коннел, Даниел (1775—1847) — деятель ирландского национального движения, лидер его либерального крыла, в 1829 году возглавил ирландскую фракцию в английском парламенте. Примыкал к правому крылу чартистов.

С. 53

Грей, Чарлз (1804 —1870) — генерал (с 1865 г.), второй сын графа Чарлза Грея, его личный секретарь в 1830—1834 годах, а затем принца Альберта в 1849—1861 годах и королевы Виктории в 1861—1870 годах, член парламента от Уайкомба в 1831—1837 годах. В 1861 году опубликовал биографию своего отца.

Грей, Чарлз Гоуик (1764—1845), граф (с 1807 г.) — английский государственный деятель, либерал, член парламента (с 1786 г.), министр иностранных дел (1806—1807), глава партии вигов в палате лордов, премьер-министр (1830—1834).

Плантагенеты — английская королевская династия (1154—1399). Основатель династии — король Генрих II.

С. 54

Болингброк, Генри Сент-Джон (1678—1751), виконт — английский государственный деятель, оратор, писатель-публицист, друг Свифта и Вольтера, представитель крайних тори. Его политическая карьера проходила в острой борьбе против вигов и окончилась поражением и длительным изгнанием из Англии. Отличался крайней беспринципностью.

С. 56

Лондондерри, Франсуа Анна, маркиза — жена (с 1819 г.) генерала Чарлза Уильяма Стюарта, 3-го маркиза Лондондерри (1778 — 1854).

С. 57

Веронезе (наст. фамилия Кальяри), Паоло (1528—1588) — итальянский живописец эпохи Возрождения. Его картины отличались изысканностью серебристого колорита.

Блессингтон, Маргарет (1789—1849), графиня — английская писательница и публицистка, автор «Разговоров с лордом Байроном» (1834). Встречалась с Байроном в Генуе в 1823 году.

С. 58

Жозефина (Мария Роза Жозефина Ташер де ля Пажери) (1763—1814) — жена генерала виконта Александра Богарне (с 1779 г.), казненного в 1794 году, а затем с 1796 года — Наполеона I, французская императрица с 1804 года. В 1810 году получила развод в связи с бездетным браком.

С. 62

22 июля 1812 года войска Артура Уэлсли (Веллингтона) и испанские партизаны разбили близ Саламанки французские войска.

Линдхерст, Джон Синглетон Копли (1772—1863), барон — английский государственный деятель, тори, член парламента (1818—1826), трижды был лордом-канцлером.

С. 63

Гладстон, Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный деятель, сначала тори, затем либерал, во второй половине XIX века — лидер либеральной партии, член палаты общин (с 1832 г.), канцлер казначейства (1852—1855 и 1859—1866), премьер-министр (1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894).

Гревилл, Кавендиш Фульке (1794—1865) — английский публицист, автор «Мемуаров, 1817—1860» (8 т., 1875—1887).

Клуб «Карлтон» — один из самых аристократических закрытых английских клубов, основан в 1831 году, неофициальный штаб консервативной партии.

С. 64

В 42 году до н. э. около фракийского города Филиппы произошли решающие бои между армией членов второго триумvirата (Марк Антоний, Гай Октавиан) и войсками Римской республики (Марк Юний Брут и Гай Кассий), закончившиеся разгромом республиканцев.

С. 65

«Спектатор» («Spectator») — английский еженедельник, выходит в Лондоне с 1828 года, сначала либерального, затем консервативного направления.

С. 68

Вильгельм IV (1765—1837) — английский король (1830—1837), сын короля Георга III, герцог Кларенский. Умер в ночь на 20 июня 1837 года (битва при Ватерлоо — 18 июня).

С. 70

В греческой мифологии афинский герой Тесей, убив на острове Крит чудовищного быка Минотавра, вышел из лабиринта при помощи нити, полученной от Ариадны — дочери критского царя Миноса.

С. 74

Ален (наст. имя и фамилия Эмиль Огюст Шартье) (1868—1951) — французский философ и литературный критик.

Кин, Эдмунд (1787—1833) — великий английский актер, исполнитель трагических ролей (Ричард III, Отелло, Яго).

С. 75

Пальмерстон, Генри Джон Темпл (1784—1865), 3-й виконт (с 1802 г.) — английский государственный деятель, член парламента (с 1807 г.), тори, военный министр (1809—1828); перешел на сторону вигов в 1830 году, министр иностранных дел (1830—1834, 1835—1841, 1846—1851), министр внутренних дел (1852—1855), премьер-министр (1855—1858, 1859—1865).

Гренвилл, Джордж Левесон Гоуэр (1815—1891), 2-й граф (с 1846 г.) — английский государственный деятель, либерал, член парламента (с 1836 г.), заместитель министра иностранных дел (1840—1841), министр иностранных дел (с декабря 1851 по февраль 1852 г.), председатель тайного совета (1852—1854), министр колоний (1868), министр иностранных дел (1870—1874, 1880—1885).

С. 77

Питт Младший, Уильям (1759—1806) — английский государственный деятель, виг, ставший в 1783 году премьер-министром в возрасте 25 лет.

С. 80

«Атений» («Ateneum») — журнал, выходивший в 1830—1846 годах; издавался эссеистом и критиком Ч. В. Дилком (1789—1864). Так же назывался художественно-литературный клуб в Лондоне.

С. 85

«Морнинг Пост» («Morning Post») — наиболее влиятельная ежедневная консервативная газета, выходила в Лондоне с 1772 по 1931 год.

С. 88

Согласно Библии, в X веке до н. э. израильско-иудейский царь Соломон и царь Тира Хирам снаряжали совместные морские экспедиции в страну Офир и привозили оттуда золото, слоновую кость, эбенное дерево. Скорее всего, Офир находился в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

С. 89

Берлина — название дорожной коляски, изобретенной в Берлине.

С. 91

Речь идет о греческой богине Афродите (у римлян Венера), полюбившей прекрасного юношу Адониса, сына царя Кипра. Во время охоты Адониса растерзали дикие звери. Тогда по просьбе Афродиты Зевс разрешил Адонису проводить с ней полгода, а остальное время в царстве мертвых у Персефоны.

С. 92

Хардинг, сэр Генри (1785—1856), виконт — фельдмаршал (с 1855 г.), английский политический деятель, член парламента (1820—1844), военный министр (1828—1830 и 1841—1844), генерал-губернатор Индии (1844—1847), главнокомандующий английской армией (1852—1856).

Луи-Наполеон Бонапарт (1808—1873), принц — племянник Наполеона I (сын его брата Луи и дочери Жозефины Гортензии Богарне), президент Французской Республики (1848—1852), французский император Наполеон III (1852—1870).

С. 93

Работные дома — особые заведения, существовавшие в Англии в XVII—XIX веках, куда принудительно помещали людей, не имевших средств к существованию. В работных домах для них были установлены жестокие условия труда и жизни.

С. 94

Уот Тайлер (уб. 15 июня 1381) — вождь крупнейшего в средневековой Англии антифеодального восстания (1381 г.), по профессии деревенский ремесленник.

Джек Стру — руководитель народного восстания в Англии в XV веке.

С. 95

Альберт, Франц Август Карл Эммануил Саксен-Кобург-Готский (1819—1861), принц — сын герцога Эрнста I Саксен-Кобург-Готского, муж английской королевы Виктории (с 1840 г.), член тайного совета, фельдмаршал.

С. 98

Лоуренс (правильнее — Лоренс), сэр Томас (1769—1830) — английский придворный художник-портретист, президент Королевской Академии художеств с 1820 года. Приобрел европейскую известность портретами крупных государственных и военных деятелей, в том числе для Виндзорского дворца (1814—1819).

Кобден, Ричард (1804—1865) — английский промышленник и государственный деятель, один из основателей Лиги против хлебных законов (1838 г.), член парламента (с 1841 г.), сторонник свободы торговли и парламентской реформы.

Брайт, Джон (1811—1889) — английский политический деятель, фабрикант, один из основателей Лиги против хлебных законов, член парламента (с 1843 г.), сторонник свободы торговли и парламентской реформы; министр торговли (1868—1870).

С. 99

Смит, Джордж Август (1818—1857), виконт Стрэндфорд — английский государственный деятель, журналист, тори, член парламента (с 1841 г.), член организации «Молодая Англия».

С. 100

Маннерс, Джон Джеймс Роберт (1818—1906), 7-й герцог Рэтленд — английский государственный деятель, тори, протекционист, член организации «Молодая Англия», занимал ряд министерских постов в консервативных кабинетах.

Ньюмен, Джон Генри (1801—1890) — английский католический теолог, педагог, публицист и церковный деятель, в 1845 году перешел из англиканства в католичество, кардинал (с 1879 г.). Его проповеди считаются литературными шедеврами.

С. 101

Сэр Ланселот Озерный — рыцарь короля бриттов Артура (V—VI вв.), герой рыцарских романов XIII века.

С. 102

Генрих VII (1457—1509) — английский король (с 1485 г.), основатель династии Тюдоров.

Талейран-Перигор, Шарль Морис (1754—1838), князь Беневентский (в 1806—1815 гг.), герцог Дино (с 1817) — французский дипломат и государственный деятель. Последовательно служил Директории, Консульству, Империи, Бурбонам и Орлеанам. Министр иностранных дел с июля 1797 по июль 1799 и с сентября 1799 по август 1807 года. Активно способствовал реставрации Бурбонов. На Венском конгрессе (1814—1815) возглавлял французскую делегацию. Посол в Лондоне в 1830—1834 годах.

С. 103

Ламартин, Альфонс Луи Мари де (1790—1869) — французский поэт-романтик, публицист, политический деятель, член Временного правительства (1848 г.), выступал с резкой критикой якобинцев. Автор сборников «Поэтические раздумья» (1820) и «Новые поэтические раздумья» (1823).

Барро, Одилон (1791—1873) — французский государственный деятель, премьер-министр с декабря 1848 по октябрь 1849 года. Накануне Февральской революции 1848 года возглавил либерально-монархическую буржуазную оппозицию, председатель Государственного совета (1872—1873).

Токвиль, Алексис де (1805—1859) — французский государственный деятель, историк, член палаты депутатов (с 1839 г.), после Февральской революции 1848 года был избран в Учредительное, а в 1849 году — в Законодательное собрание, министр иностранных дел (с июня по октябрь 1849 г.).

Луи (Людовик) Филипп (1773—1850) — французский король (1830—1848) из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов. Возведен на престол в результате Июльской революции 1830 года, правил в интересах верхушки буржуазии, свергнут Февральской революцией 1848 года. Был женат на Марии Амелии, дочери короля Обеих Сицилий Фердинанда I.

Аделаида Евгения Луиза Орлеанская (1777—1847), принцесса — сестра короля Луи Филиппа, оказывала на него большое влияние.

Виктория, герцогиня Немурская (1822—1857) — жена (с 1840 г.) второго сына Луи Филиппа Луи Шарля Филиппа, герцога Немурского (1814—1896), принцесса Саксен-Кобург-Готская.

С. 104

Святой Грааль — согласно легенде, таинственная чаша, служившая Христу для совершения Тайной вечери. В эту чашу были собраны капли крови, вытекшей из тела Христова. Сонм хранителей блюдет чистоту этой чаши, которая передается из рода в род. В рыцарских романах XII—XIII веков рассказывается об искателях и хранителях Грааля.

Манфред — трагический герой драматической поэмы Байрона «Манфред» (1817). Манфред, познав все тайны бытия, живет отшельником, страдая от одиночества, не может примириться ни с людьми, ни с богом. Поэма была написана под впечатлением разрыва Байрона с родиной и семьей.

С. 106

Грэхем, сэр Джеймс Роберт Джордж (1792—1861) — английский государственный деятель, виг, затем пилит, член парламента (с 1818 г.), министр внутренних дел (1841—1846), первый лорд Адмиралтейства (1852—1855).

Имеется в виду Леопольд I Георг Христиан Фридрих Саксен-Кобургский (1790—1865), который был женат на принцессе Уэльской Шарлотте, наследнице английского престола. После ее смерти покинул Англию. Дядя по матери королевы Виктории. Бельгийский король с 1831 года. Пользовался огромным влиянием в правящих кругах Англии.

С. 107

Джон Буль — сатирический образ, созданный английским писателем Джоном Арбетнотом (1667—1735) в серии популярных памфлетов «История Джона Буля». Имя Джона Буля стало нарицательным для обозначения корыстолюбивого, расчетливого буржуа-англичанина.

«Панч» («Punch») — английский иллюстрированный еженедельный юмористический журнал, издается в Лондоне с 1841 года.

С. 116

В 1845—1846 годах неурожай поразил Францию, Ирландию, ряд германских государств, Австрию и другие страны Европы. Ухудшение положения народных масс привело в начале 1848 года к революциям и революционным движениям во многих европейских странах.

С. 117

Тьер, Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк, министр внутренних дел (1832—1836 гг. с перерывом), возглавлял правительство с февраля по август 1836 и с марта по октябрь 1840 года, занимая одновременно пост министра иностранных дел, потопил в крови Парижскую Коммуну (1871 г.). Автор книги «История Консульства и Империи» (1845—1862).

С. 118

Сулейман I Кануни, Сулейман Великолепный (1495—1566) — турецкий султан (1520—1566), в период правления которого Османская империя достигла наибольшего территориального расширения.

С. 119

Лорд Бентинк, Джордж Фредерик Кавендиш (1802—1848) — сын 4-го герцога Портлендского, английский государственный деятель, умеренный виг, член парламента (с 1828 г.).

Бентинк-Скотт, Уильям Генри Кавендиш (1768—1854) — 4-й герцог Портлендский.

С. 120

В 1780 году граф Дерби учредил скачки в Эпсоме в 20 километрах от Лондона. Скачки проводятся в последнюю среду мая или первую среду июня.

«Синие книги» — сборники парламентских отчетов, публикуемых в виде книг в синих обложках.

С. 125

Карлейль, Томас (1795—1881) — английский публицист, историк, философ. Создатель идеалистической концепции «культу героев».

С. 126

Ротшильд, Лайонел (1808—1879) — английский банкир, сын Натана Ротшильда. Основал банкирскую контору в Лондоне.

С. 127

Съеяс, Эмманюэль Жозеф (1748—1836) — деятель Великой французской революции, аббат, один из основателей Якобинского клуба, в 1791 году перешел к фельянам, член Исполнительной Директории (1798—1799), временный консул в 1799 году. После 18 брюмера — председатель Сената, граф. Дюко, Пьер Роже (1747—1816), граф — французский государственный деятель, адвокат, член Конвента, член Исполнительной Директории, временный консул в 1799 году, вице-председатель Сената, затем сенатор. В период Консульства Съеяс и Дюко играли номинальную роль при всесильном первом консуле Наполеоне Бонапарте.

С. 128

Вильгельм I Завоеватель (1027 или 1028—1087) — герцог Нормандии, в 1066 году во главе нормандских войск высадился на побережье Англии и, разбив в битве при Гастингсе войско англосаксонского короля Гарольда, стал английским королем (1066—1087).

Одон (1032—1097) — брат Вильгельма Завоевателя, участник сражения при Гастингсе, епископ Байе (с 1049 г.), граф Кентский (с 1066 г.).

Честерфилд, Филип Дормер Стэнхоуп (1694—1773), граф — английский политический деятель и писатель, автор книги «Письма к моему сыну» (опубликована в 1774 г.). Прославился как остро-слов и законодатель моды.

С. 133

Рашель (наст. имя и фамилия — Элиза Рашель Феликс, 1821—1858) — французская актриса, основу ее репертуара составляли трагедии Корнеля и Расина. «Баязет» — трагедия знаменитого драматурга Жана Расина (поставлена и издана в 1672 г.).

С. 142

Мильвуа, Шарль Юбер (1782—1816) — французский поэт.

С. 144

Гендель, Георг Фридрих (1685—1759) — немецкий композитор и органист. Около полувека работал в Лондоне.

С. 145

Амфитрита (*греч. миф.*) — морская богиня, супруга Посейдона.

С. 146

Георг II (1683—1760) — английский король из Ганноверской династии (с 1727 г.) и курфюрст ганноверский.

Евгения Мария Игнация Августа де Монтихо де Гусман, графиня де Теба (1826—1920) — французская императрица (1852—1870), жена Наполеона III.

Вторая империя во Франции — период правления императора Наполеона III (2 декабря 1852 — 4 сентября 1870). Конец Второй империи положила Сентябрьская революция 1870 года.

Корри, Монтегю Уильям Лоурей (1838—1903), барон Раутон — английский политический деятель, филантроп, личный секретарь Дизраэли.

Лорд Стэнли, Эдвард Генри Стэнли (1826—1893), 15-й граф Дерби — английский политический деятель, старший сын 14-го графа Дерби, министр по делам Индии (1858—1859), министр иностранных дел (1866—1868 и 1874—1878), министр колоний (1882—1885) в правительстве Гладстона. В 1863 году был кандидатом на греческий престол.

С. 148

Геро — жрица Афродиты, жившая на европейском берегу Геллеспонта (Дарданеллы), в то время как ее возлюбленный Леандр жил на малоазийском берегу и каждый вечер, руководясь светом факела, который зажигала Геро, переплывал Геллеспонт. Однажды в бурную ночь факел погас, и Леандр утонул. Геро лишила себя жизни, бросившись с башни.

Минерва (*римск. миф.*) — богиня, покровительница ремесел и искусства. С конца III века до н. э. Минерва, отождествленная с греческой Афиной, почиталась также как богиня войны и государственной мудрости.

С. 150

Бальморал — летняя резиденция английской королевской семьи в Шотландии, дворец построен в 1848—1852 годах. Завещан принцем Альбертом королеве Виктории.

С. 153

Осборн — бывшая королевская резиденция на острове Уайт, дворец построен в 1845—1851 годах. В нем умерла королева Виктория.

С. 154

Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, экономист и политический деятель, виг, член парламента (1865 — 1868).

Альберт Эдуард (1841—1910) — принц Уэльский, впоследствии король Великобритании Эдуард VII (1901 — 1910), был женат на дочери датского короля Христиана IX Александре (1844—1925), сестре принцессы Дагмары (императрица Мария Федоровна).

С. 156

Хэнт, Джордж Уорд (1825—1877) — английский государственный деятель, член парламента (1857—1877), канцлер казначейства с февраля по декабрь 1868 года, первый лорд Адмиралтейства в 1874—1877 годах.

С. 159

Речь идет о принцессе Елене (1846—1923) — дочери королевы Виктории, была замужем за принцем Христианом Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Аугустенбургским.

С. 164

Бёрк, Эдмунд (1729—1797) — английский реакционный публицист, оратор и политический деятель, один из руководителей партии вигов. Автор «Рассуждений о Французской революции».

С. 167

Уолпол, Хорас (Горацио) (1717—1797), 4-й граф Орфорд — английский писатель, остроумец, сын премьер-министра сэра Роберта Уолпола (1676—1745), вождя вигов, 20 лет занимавшего пост премьер-министра (1721—1742). Автор романа «Замок Отранто» (1764).

Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь де (1626—1696), маркиза — французская писательница. На протяжении 20 лет писала письма дочери, в которых рассказывала о жизни Парижа и Версаля, освещая политические и культурные события. Довела до совершенства эпистолярное искусство.

С. 174

Альцест и Селимена — персонажи пьесы Ж.-Б. Мольера «Мизантроп».

С. 176

Лич, Джон (1817—1864) — английский карикатурист и иллюстратор, один из основных сотрудников «Панча».

С. 179

Беатриса (1857—1944) — принцесса, младшая дочь королевы Виктории, была замужем за принцем Генрихом Баттенбергом.

С. 182

«Sanitas sanitatum et omnia sanitas» — перефразированное библейское выражение «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» («Суета сует и всяческая суета»). Лозунг Дизраэли подразумевал заботу о всеобщем здоровье и благополучии нации.

С. 183

Деказ, Луи Шарль Эли Аманьё (1819—1886), герцог — французский государственный деятель и дипломат, сын министра Людовика XVIII, посланник в Мадриде и в Лиссабоне во время Июльской монархии, посол в Лондоне (1873), министр иностранных дел (1873—1877).

С. 184

Фея Титания — царица эльфов, жена Оберона (из комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»).

Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815—1898), князь — германский государственный деятель, министр-президент и министр иностранных дел Пруссии с 1862 года, бундесканцлер с 1867 года, рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 годах.

С. 185

Имеется в виду восстание 1857—1859 годов в Индии против английского колониального господства. В результате подавления восстания английский парламент принял 2 августа 1858 года закон о переходе управления Индией от Ост-Индской компании к короне.

Антонины — римская императорская династия (96—192), названа по имени Антонина Пия. Императоры этой династии проводили политику в интересах рабовладельческой аристократии.

С. 187

Харкорт, сэр Уильям Джордж Гренвилл Винэбло Вернон (1827—1904) — английский государственный деятель, либерал, член парламента (1868—1880), канцлер казначейства (1886, 1892—1894), лидер либеральной партии в палате общин (1894—1898).

Меттерних, Меттерних-Виннебург, Клеменс Венцель Лотар (1773—1859), князь — австрийский государственный деятель и дипломат, посол в Берлине (1803—1806), посол в Париже (1806—1809), министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства (1809—1821), канцлер (1821—1848); после начала революции 1848 года бежал в Англию, затем в Бельгию, вернулся в Австрию в 1851 году.

С. 188

Жид, Андре Пьер Гийом (1869—1951) — французский писатель-романист и драматург, автор романов «Имморалист» (1902), «Подземелья Ватикана» (1904), «Фальшивомонетчики» (1925).

С. 189

Эбердин, Джордж Гамильтон Гордон (1784—1860), 4-й граф — английский политический деятель, один из лидеров партии тори, военный министр и министр колоний (1834—1835), министр иностранных дел (1828—1830, 1841—1846), премьер-министр (1852—1855).

Горчаков, Александр Михайлович (1798—1883), князь — государственный деятель России и дипломат, министр иностранных дел (1856—1882), канцлер (с 1867 г.), представитель России на Берлинском конгрессе, сторонник буржуазных реформ.

«Дейли Ньюс» («Daily News») — либеральная газета, орган промышленной буржуазии, выходила в Лондоне с 1846 по 1930 год.

С. 191

Сталь, Анна Луиза Жермен Неккер (1766—1817), баронесса де Сталь-Гольштейн — знаменитая французская писательница, автор романов «Дельфина» (1802), «Коринна, или Италия» (1804), книги «О Германии» (1813).

С. 195

Мария (Мэри) Аделаида (1833—1897) — принцесса, дочь герцога Адольфа Кембриджского, двоюродная сестра королевы Виктории.

Игнатьев, Николай Павлович (1832—1908), граф — русский дипломат и государственный деятель, генерал-адъютант, военный атташе в Лондоне и Париже, посол в Турции (1864—1877), министр внутренних дел (1881—1882).

С. 196

Шувалов, Петр Андреевич (1827—1889), граф — государственный деятель России и дипломат, генерал-губернатор прибалтийских провинций (1864—1866), шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения (1866—1874), посол в Лондоне (1874—1879), уполномоченный России на Берлинском конгрессе, член Государственного совета (с 1881 г.).

Николай Николаевич Старший (1831—1891) — великий князь, сын Николая I, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией на Балканах во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Кассандра (*греч. миф.*) — дочь царя Трои Приама. Получила от Аполлона пророческий дар, но Аполлон, отвергнутый Кассандрой, сделал так, что ее пророчествам перестали верить. Троянцы не поверили словам Кассандры, что похищение Елены Парисом приведет к гибели Трои.

С. 197

Мольтке Старший, Хельмут Карл Бернхард (1800—1891), граф — прусский и германский военный деятель и теоретик, генерал-фельдмаршал (1871 г.), начальник прусского генерального штаба, один из организаторов разгрома Франции в 1870 году.

С. 198

Орден Подвязки — высший английский орден, учрежден в 1350 году королем Эдуардом III для узкого круга приближенных (25 кавалеров). Кавалеры этого ордена носят ниже левого колена узкую голубую орденскую ленту.

С. 201

Ричард I Львиное Сердце (1157—1189) — английский король (с 1189 г.) из династии Плантагенетов, участник третьего крестового похода (1189—1192), во время которого в 1191 году захватил остров Кипр. В 1192 году на острове было создано Кипрское королевство во главе со французским феодалом Ги де Лузиньяном (1129—1194), который до падения Иерусалима был королем Иерусалимским (1186—1187). В 1489 году Кипр был присоединен к владениям Венеции.

С. 202

Солсбери, Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил (1830—1903), 3-й маркиз — английский государственный деятель, член парламента (с 1853 г.), член палаты лордов (с 1868 г.), министр иностранных дел (1878—1880), лидер консерваторов (с 1881 г.), премьер-министр (1885—1886, 1886—1892, 1895—1902).

С. 203

Виктория Аделаида Мария Луиза (1840—1901), принцесса — старшая дочь королевы Виктории, замужем (с 1858 г.) за прусским кронпринцем Фридрихом-Вильгельмом, сыном Вильгельма I, ставшим в 1888 году германским императором под именем Фридриха III (ум. 1888).

Кара-Теодори (принц Александр) (1833—?) — турецкий государственный деятель, секретарь посольства, помощник министра иностранных дел, министр общественных работ (1878), делегат Турции на Берлинском конгрессе, министр иностранных дел (1878—1879).

Корти, Лудовико (1823—1888), граф — итальянский политический деятель, дипломат, секретарь посольства в Лондоне (1850 г.), министр иностранных дел в кабинете Кайроли (24 марта — 11 декабря 1878 г.), уполномоченный Италии на Берлинском конгрессе.

Ваддингтон, Уильям Генри (1826—1894) — французский политический деятель и дипломат, сын англичанина, принявшего французское гражданство. Археолог. Был сенатором, министром народного просвещения (1876—1877), министром иностранных дел (1877). Представитель Франции на Берлинском конгрессе (июнь—

июль 1878 г.), председатель Совета министров с февраля по декабрь 1879 года.

Андраши, Дьюла (1823—1890), граф — венгерский государственный деятель, член венгерского сейма (1847), участник революции 1848—1849 годов, председатель Совета министров и министр обороны Венгерского королевства (с 1867 г.), министр иностранных дел Австро-Венгрии (1871—1879); уполномоченный Австро-Венгрии на Берлинском конгрессе.

С. 206

Блейхрёдер, Герсон (1822—1893) — банкир, тесно связанный с Ротшильдами, управлял личным состоянием О. фон Бисмарка, был близок к правительству и двору. В 1872 году возведен в родовое дворянское достоинство. Считался самым богатым человеком в Берлине.

«Глоб» («The Globe and Traveller») — английская еженедельная газета. Издавалась в Лондоне с 1803 по 1921 год. До 1866 года — орган вигов, затем — консерваторов.

С. 207

Гогенлоэ, Хлодвиг Карл Виктор (1819 — 1901), князь Шиллингсфюрст — германский государственный деятель, крупнейший землевладелец, баварский министр-президент (1867—1870), посол Германии в Париже (1874—1885), один из уполномоченных Германии на Берлинском конгрессе, наместник в Эльзас-Лотарингии (1885—1894), канцлер Германской империи (1894—1900).

«Журнал де Деба» («Journal des Débats») — французский журнал, основанный в августе 1789 года. В 1799 году был куплен братьями Бертэн, которые превратили его во влиятельный политический и литературный журнал. Прекратил издание в 1942 году.

Нортумберленд, Алджернон Смитсон Сеймур Лувен Перси (1810—1899) — 6-й герцог Нортумберленд.

Сутерленд, Джордж Грэнвилл Уильям Левесон-Гоуэр (1828—1892), 3-й герцог — член парламента (1852—1861), участвовал в делегациях, направленных на коронацию Александра II (1856) и открытие Суэцкого канала (1869).

Аберкорн, Джеймс Гамильтон (1811—1885), 1-й герцог (с 1868 г.) — лорд-лейтенант Ирландии (1866—1868, 1874—1877).

Бедфорд, Фрэнсис Чарлз Гастингс (1819—1891), 9-й герцог — сын лорда Джорджа Уильяма Рассела, член парламента (1847—1872).

Пиль, сэръ Роберт (1822—1895) — английский государственный и политический деятель, дипломат, либерал, затем консерватор, член парламента (с 1850 г.), сын Роберта Пиля.

С. 208

Литтон, Эдвард Роберт Булвер (1831—1891), 1-й граф (с 1873 г.) — английский государственный деятель, дипломат и поэт, вице-король Индии (1876—1880), в 1877 г. провозгласил в Дели королеву Викторию императрицей Индии. Один из виновников третьей англо-афганской войны (1879). Посол в Париже (1887—1891).

С. 209

Робертс, Фредерик Слейг (1832—1914), граф, фельдмаршал (1895) — английский военный деятель, в 1879 году занял Кабул,

командующий войсками в Индии (1885—1893), в Ирландии (1895—1899), в Южной Африке (1899—1900), разгромил войска бурского генерала Л. Боты, главнокомандующий английской армией (1900—1905).

С. 210

Карнарвон, Герберт Генри Говард Молино (1831—1890), 4-й граф — английский государственный деятель, консерватор, член парламента, министр колоний (1860—1868, 1874—1880).

Челмсфорд, Фредерик Август Тесигер (1827—1905), барон — английский генерал, командующий войсками в Южной Африке.

Во время войны против зулусов был убит (1 июня 1879 г.) поступивший волонтером в английскую армию 23-летний принц Луи, единственный сын Наполеона III.

С. 211

Уолсли, сэр Джозеф Гарнет (1833—1913), виконт, фельдмаршал (1894) — участник Крымской войны, командовал английскими войсками во время войны с зулусами (1879 г.), командующий войсками в Египте (1884—1885), в Ирландии, главнокомандующий армией (1895—1900).

С. 212

Кавендиш, Уильям (1808—1891), маркиз Хартингтон — либерал, канцлер Лондонского (1836—1856) и Кембриджского (1861—1891) университетов, сторонник политики Гладстона.

С. 216

Бэринг, сэр Эвелин (1841—1917), 1-й барон (с 1892 г.), виконт (с 1897 г.), граф (с 1901 г.) Кромер — английский колониальный деятель и дипломат. В 1877—1879 г г . — комиссар Англии в Кассе египетского долга, в 1879—1880 г г . — контролер в Международной комиссии египетского государственного долга. В 1880—1883 г г . — финансовый советник вице-короля Индии. В 1883—1907 г г . — британский политический агент и генеральный консул в Египте. Фактически управлял этой страной. Автор книг «Современный Египет» (1908) и «Аббас II» (1915).

С. 217

Калигула, Гай Цезарь (12—41) — римский император (37—41) из династии Юлиев-Клавдиев. Сын Германика. Установил террористический режим и обожествление власти императоров. Убит трибуном преторианцев Кассием Хереей.

С. 218

Лонгман — английская издательская фирма, основана в 1724 году Томасом Лонгманом (1699—1758).

С. 220

Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский политический деятель, социальный реформатор и военачальник. Реформы Солона заложили основы афинской демократии.

Гайндман, Генри Мейер (1842—1921) — деятель английского социалистического движения, адвокат и журналист, в 1881 году основал Демократическую федерацию (с 1884 г. — Социал-демократическая федерация, с 1908 г. — Социал-демократическая партия), направ-

лял ее деятельность с оппортунистических сектантских позиции. В 1911—1916 гг. возглавлял правое крыло Британской социалистической партии.

С. 221

Джэнет Хьюген, герцогиня Рэтленд (1838—1899) — вторая жена (с 1862 г.) Джона Маннерса, 7-го герцога Рэтленда.

С. 222

Феокрит (конец IV — первая половина III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, основатель жанра идиллии.

С. 224

Канова, Антонио (1757 — 1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма. Работал главным образом в Венеции и Риме. Подражал античной скульптуре (статуи мифологических героев «Амур и Психея», «Персей» и др.). Выполнял заказы коронованных особ и знатнейших фамилий европейских государств.

Миллэ (Миллес), сэр Джон Эверетт (1829—1896) — известный английский художник и книжный иллюстратор. Вместе с Россетти входил в «Братство прерафаэлитов». Писал портреты известных политиков и деятелей культуры (Брайт, Гладстон, Дизраэли, Розбери, Солсбери, кардинал Ньюмен, герцоги Девонширский и Аргайль, Карлейль, Теннисон, Диккенс и др.).

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Французскому писателю Андре Моруа (настоящее имя — Эмиль Эрзог) всемирную известность принесли биографические романы, которые он стал создавать с начала 20-х годов. Среди них такие произведения, как «Ариель, или Жизнь Шелли» (1923), «Жизнь Дизраэли» (1927), «Байрон» (1930), «Тургенев» (1931), «Лелия, или Жизнь Жорж Санд» (1952), «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» (1954), «Три Дюма» (1957), «Жизнь Александра Флеминга» (1959), «Прометей, или Жизнь Бальзака» (1965) и др. Писатель сочетает тщательную документальность с глубоким проникновением во внутренний мир своих героев, их психологию, яркими мазками воссоздает эпоху, в которой жили и действовали замечательные люди, ставшие предметом художнического анализа одного из крупнейших французских писателей XX века, еще в 1938 году избранного во Французскую академию.

Роман «Жизнь Дизраэли» посвящен английскому государственному деятелю Бенджамину Дизраэли. Он родился 21 декабря 1804 года в семье писателя Исаака д'Израэли (1766—1848) и сам рано увлекся литературным творчеством, его кумиром был Джордж Байрон. Один за другим появляются романы «Виван Грей» (1826), «Юный герцог» (1831), «Контарини Флеминг» (1832), «Альрои» (1833), «Венеция» (1837), «Генриетта Темпл» (1837), «Конингсби» (1844), «Сибилла» (1845), пользовавшиеся большим успехом. Литературная деятельность Дизраэли продолжалась и после того, как он окупился в мир большой политики. Он написал романы «Танкред» (1847), «Лотар» (1870), «Эндимион» (1880). С помощью знатных друзей, и особенно женщин, Дизраэли в 1837 году впервые был избран в Палату общин, где оставался до 1876 года. Дизраэли стал признанным вождем «Молодой Англии» — организации, причудливо сочетавшей прославление феодальных порядков с признанием необходимости реформ в пользу неимущих классов («феодальный социализм»). Он быстро выдвигается на первые роли в консервативной партии, где после падения Роберта Пиля считается одним из признанных лидеров. В феврале 1852 года Дизраэли впервые вошел в правительство (канцлер казначейства в кабинете

лорда Дерби). Однако уже в декабре того же года правительство пало, не сумев защитить представленный бюджет. Тот же пост Дизраэли занял во втором и третьем правительствах Дерби (февраль 1858 — июнь 1859, июнь 1866 — февраль 1868). Самым важным актом этого правительства была вторая парламентская реформа (1867 г.), увеличившая число избирателей. Впервые пост премьер-министра Дизраэли занял в феврале 1868 года после отставки лорда Дерби, но в декабре того же года консерваторы потерпели поражение и смогли вернуться к власти только в 1874 году. Дизраэли оставался главой правительства до апреля 1880 года. К периоду второго кабинета Дизраэли относятся такие важные события, способствовавшие расширению Британской империи, как покупка у египетского хедива акций Суэцкого канала (1875 г.), противодействие России на Балканах (согласно решениям Берлинского конгресса Англия оккупировала Кипр, добилась уменьшения территории независимой Болгарии). После того как Дизраэли провел акт о провозглашении королевы Виктории императрицей Индии, ему был пожалован титул графа Биконс-филда. Его правительство вело колониальные войны против Афганистана и народов Южной Африки. Умер Дизраэли 19 апреля 1881 года в Лондоне. В Вестминстерском аббатстве ему сооружен памятник.

Роман А. Моруа о Дизраэли печатается в переводе С. Лопашева. Перевод сверен с французским оригиналом и уточнен. Впервые на русском языке роман был издан в 1934 году кооперативным издательством.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

| | |
|---------------------------|----|
| Два поколения | 4 |
| Школы | 7 |
| Бреммель и святой Игнатий | 13 |
| Делец | 19 |
| Уединение | 28 |
| Паломничество | 33 |
| Доктрины | 38 |
| Лондон покорен | 44 |
| Независимый | 51 |
| Женщины | 56 |
| В партийном наряде | 61 |
| Член парламента | 65 |

Часть вторая

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Первая речь | 74 |
| Женитьба | 82 |
| Мэри Энн | 90 |
| Достопочтенный баронет | 95 |
| «Молодая Англия» | 104 |
| Дуб и тростник | 110 |
| Лидер | 123 |
| Препятствия | 130 |
| Жесткая обязанность мистера Гладстона | 136 |
| Тени | 142 |
| На верхушке качающейся мачты | 149 |

Часть третья

| | |
|--------------------|-----|
| Королева | 156 |
| Горе | 163 |
| В обществе бабушек | 171 |
| Вождь | 175 |
| Слово и дело | 181 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Турецкие зверства | 188 |
| Неужели война? | 193 |
| Берлинский конгресс | 201 |
| Афганцы, зулусы и дожди | 208 |
| Внешний мир | 214 |
| Его любимый цветок | 221 |
| Источники | 228 |
| Комментарии <i>В. Н. Попова</i> | 231 |
| От Издательства | 251 |

Моруа А.

- М80 Жизнь Дизраэли. Роман: Пер. с фр. С. Лопашева. — М.: Политиздат, 1991. — 254 с.
ISBN 5—250—01474—7

Роман известного французского писателя Андре Моруа (1885—1967) посвящен жизни Бенджамина Дизраэли (1804—1881) — выдающегося государственного деятеля викторианской Англии. Начав с увлечения романтизмом и Байроном, написав несколько нашумевших романов, Дизраэли с помощью друзей и женщин сделал блестящую парламентскую карьеру, выдвинулся на первый план в консервативной партии. Он дважды занимал пост премьер-министра. С его именем связано приобретение акций Суэцкого канала, успех английской политики на Берлинском конгрессе 1878 года, война с Афганистаном. Консервативная партия чтит Дизраэли как одного из создателей Британской империи.

Андре Моруа

ЖИЗНЬ ДИЗРАЭЛИ

Роман

Перевод с французского *С. Лопашева*

Заведующий редакцией *А. В. Никольский*

Редактор *Н. В. Попов*

Художник *Б. Г. Попов*

Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*

Технический редактор *В. П. Крылова*

ИБ № 9200

Сдано в набор 18.12.90. Подписано в печать 13.05.91. Формат 84X108¹/₃₂.
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура «Обыкновенная новая»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 15,04. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 4000. Цена 3 руб.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография издательства «Горьковская правда».
503006, г. Нижний Новгород, ул. Фигнер, 32.



«Вождь!» Вот как отныне консерваторы называют Дизраэли, и это слово прекрасно выражает перемену в его судьбе. Гениальный авантюрист, чей авторитет более или менее признавался одними и оспаривался другими, кого называли то нежно, то презрительно «Диззи», — этот авантюрист стал предметом уважения.

Помог этому и возраст.

Старость — вообще достоинство для политического деятеля, в Англии же особенно. Ни один народ не восхищается так красотой, наложенной на все временем, англичане любят старых государственных деятелей, истрепанных и отшлифованных борьбой, как любят старую кожу и старое дерево».

А. Моруа

ПОЛИТИЗДАТ